

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1962

4

---

1962

# НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 4

Апрель, 1962 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. КУЛЕШОВ — Новые стихи. С белорусского. Перевели К. Титов, Я. Хелемский	3
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга четвертая	9
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Тишина, роман. Продолжение	64
ВАДИМ ШЕФНЕР — Рядом с небом, Выбор ветра, Донный лед, Высокое равенство, Дом культуры, Праздники, стихи	136
ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР — Два рассказа. Перевели с английского Нора Галь, В. Жельвис	140

### ПУБЛИЦИСТИКА

Б. ЯКОВЛЕВ — Печатается впервые... К выходу 1—26-го томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина	155
Р. ПЕРЕСВЕТОВ — Одна из шести. Из истории ленинских рукописей	165

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МАРИЯ КАСПРОВИЧ — Памятные встречи. Перевел с польского Я. Немчинский	173
---	-----

### В МИРЕ НАУКИ

РУД. БЕРШАДСКИЙ — Ученый, который знает все	177
---	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Д. ДАР, А. ЕЛЪЯНОВ — Там, за поворотом	198
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РОДНЯНСКАЯ — О беллетристике и «строгом» искусстве	226
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	243
<b>Ал. Сурков.</b> Гимн человеку.— <b>Владимир Огнев.</b> Остаться самим собой.— <b>Е. Старикова.</b> Происшествия, встречи, превращения...— <b>А. Письменный.</b> Груз назидательности.— <b>В. Лакшин.</b> Слово — золото.— <b>Л. Тимофеев.</b> Жили три товарища...	
<i>Политика и наука</i>	260
<b>П. Сергеев.</b> Ленинские черты.— <b>И. Миндлин,</b> кандидат исторических наук. Ленинский этап в развитии атеизма.— <b>Дм. Рудь.</b> Когда качество переходит в количество.— <b>В. Твардовская.</b> Новое исследование о Салтыкове-Щедрине.— <b>А. Бельская.</b> Книга борца за свободу.— <b>Геннадий Фиш.</b> Повесть не только о термитах.	
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
<b>История одной пьесы.</b> Публикация и предисловие И. Смирнова	279
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	282
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

А. КУЛЕШОВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

*С белорусского*

### *О вечном пере*

Прислали мне ручку с пером золотым  
Друзья из восточной державы,  
Чтоб мир она скромным служеньем своим  
От бед защищала кровавых.

Перо наострил я, собрался писать,  
На стул у стола примостился,  
Но слышу — решили уже закопать  
Мой стих, что еще не родился.

С лопатою — ненависть, зависть — с колом,  
Враждебность — с секирой-тюпагой  
Застыли в молчанье над острым пером,  
Что мысли сроднило с бумагой.

Ждут — время не даст ли приказ хоронить,  
Засыпать песком бессердечным  
Простые стихи, что на лист положить  
Пером я отважился вечным.

Кто вздумал прислать замогильную знать,  
Какая держава из знатных?  
Что так беспокоит, хотел бы я знать,  
Любителей дел деликатных?

Что в думах таят, посылая давно  
Друг другу зловещие знаки?  
Перо мое их беспокоит — оно  
Мне прислано из Нагасаки.

Пишу заговорщикам темным назло  
Я — жизни и мира посредник,—  
Чтоб зло, что дотла Нагасаки сожгло,  
Ушло злодеяньем последним.

Сначала всех нелюдей ради людей  
 На кладбище стих мой отправит,  
 И пусть тогда вечность на песне моей  
 Печатку невечности ставит.

*Перевел К. Титов.*

## *Про Марс*

Не живут на Марсе марсиане.  
 Видно, за какой-то старый грех  
 Марс в своих глубинах, как в кургане,  
 Схоронил их, упокоил всех.  
 Хворь их извела иль доконало  
 Пламя распрей, полымя войны?  
 Как морщины на челе, каналы  
 Вновь с вопросом к нам обращены:

— Объясни нам, астроном завзятый,  
 Растолкуй, ученый человек,  
 Для кого, мощней широких рек,  
 С полюса седого на экватор  
 Гоним воду мы из века в век?  
 Ты за нами наблюдал всю осень  
 Сквозь трубу подзорную в ночи.  
 Горы пыли над планетой несут  
 Радиоактивные смерчи.  
 Только нас, как видишь, смерть не косит.

Что же мы ответим им, земляне?  
 Может, правда, их существованье —  
 Назиданье для планет иных?  
 Может, в пору противостоянья  
 Долговечным делом рук своих  
 Предостерегают марсиане  
 От беды, что погубила их?

## *На полумиллиардном километре*

Всю жизнь мою умножь на скорость звука  
 И результаты умноженья сверь.  
 Вот и скажи мне, точная наука,  
 Откуда возвращается теперь

Вещуны перелетной кукованье,  
 Что в пору давней юности моей  
 В дорогу позвала рассветной ранью  
 Меня на много-много тысяч дней?

Средь пущи вековой, в пути обветрен,  
 Стою, далеким голосом томим,  
 На полумиллиардном километре,  
 На стыке меж грядущим и былым.



\* \* \*

Как измену солдат,  
что ведет его в гиблые топи,  
Я любовь свою рад  
схоронить в позабытом окопе.

Лишь приказ бы пришел,  
был бы стол, чтоб наладить поминки,  
Отыскал бы я дол  
под лесной плащ-палаткой осинки.

Не жалея труда,  
дерн вскопал бы лопаткой саперной,  
Чтоб не знать никогда  
темных дум о неверности черной.

Чтоб не чувствовать ран,  
чтобы в памяти стерлась их повесть.  
Но молчит капитан,  
командир мой единственный — совесть.

Будто думает так:  
«Мы не мести давали присягу,  
В дни суровых атак  
припадая к солдатскому стягу.

В годы тяжких утрат  
пережить довелось нам немало,  
И лежачего нам,  
знаешь сам, добивать не пристало».

Разве верно любить  
приневолишь измену слепую?  
Без приказа судить  
разве можно неверность такую?

Пусть ей будет во всем  
честь солдата — неструганым гробом,  
Каждый день — судным днем,  
а холодное сердце — окопом.

### *Перед дорогой*

Горят в костре ночлежном ветви,  
Траву усталый шиплет конь.  
А я последнего трехлетья  
Бросаю день за днем в огонь.

В тот плен, что нынче мной разрушен,  
Я был глухой дорогой взят.  
Не я — мой конь, что непослушен  
И неподкован, виноват.

Леса б моих скитаний выжечь,  
На соснах бы распятыя тут  
За сотни дней, за сотни тысяч  
На ветер пущенных минут.

Они виски мои летучей  
Запорошили сединой.  
Не лед души, а пламень жгучий  
Бросаю я в костер лесной.

В нем жгу остатки дней безвестных,  
Но не за трудный поиск их —  
Гражданской чести у бесчестных,  
Святой любви у несвятых.

И не за то, что днем и ночью  
До боли обжигался сам,  
Что за мечтой уж не охочусь  
И лет скитаньям не отдам,—

Жгу их с решимостью суровой,  
Чтоб сталь добыть к началу дня  
И закаленную подковой  
Надежно подковать коня.

Горит мой горн лесной, и к сроку  
Куется в нем дорожный дух  
Для горных круч, для волн высоких  
И для жестоких бурь и вьюг.

*Перевел К. Титов.*

## *К поэзии*

Я узник твой, а ты — моя тюрьма,  
Любовью я приговорен сурово.  
Напрасно срок мой, заманив другого,  
Ты сократить торопишься сама.

Напрасно стражу уменьшаешь вдвое,  
Намерений обидных не тая.  
Бесмысленно решение такое,  
Смешна предусмотрительность твоя.

Я и при малой не сбегу охране,  
Все так же буду цепью я греметь,  
Прогулки совершать по расписанью  
И в карцере студеном леденеть.

Ты слов меня лишить неправомочна,  
Распорядиться всей моей судьбой.  
Не ты меня избрала — узник твой  
Избрал тебя пожизненно, бессрочно.

*Авторизованный перевод Я. Хелемского.*

## *Элегия*

Вся жизнь моя — с годами трудный бой,  
 Чем дальше — продолжительней привалы,  
 Стихи буксуют, будто самосвалы,  
 Но знаю я — настанет миг такой,

Когда не снами сосны боровые  
 Мой осенят дорожный непокой,  
 А склонятся злорадно надо мной  
 Лет отшумевших бороды седые.

Чем встречу я вопросы их немые?  
 Каких им надо от меня чудес?  
 Я отстраню их бороды густые,  
 Дремучие, как вековечный лес.

На посох обопрись и честь по чести  
 С дорогой разочтуй остатком дней.  
 Последний час, как кость, швырну я смерти —  
 За тот порог, где все подвластно ей.

*Перевел К. Титов.*

## *Последняя книга*

Для книги последней, привычный к труду,  
 Осенние глыбы вздымаю.  
 Весенних чудес от нее я не жду,  
 По пашне за плугом шагая.  
 Июнь мой в броне громыхал по полям,  
 Мой август покончил с бедою.  
 Навстречу октябрьским торжественным дням  
 Сентябрь мой идет бороздою.  
 Как память о мертвых тревожит живых  
 Еще не избытыми снами,  
 Так отзвуком всех испытаний былых  
 Мою взбудоражили память.  
 Ключи журавлиные, пожни в дыму,  
 Разлука с погожестью летней...  
 «Тогда нам ответь, — говорят, — почему  
 Назвал свою книгу последней?  
 Неужто изведаль ты все на веку  
 И только покоя желаешь?  
 И в книгу, как гвоздь в гробовую доску,  
 Глухую строку забиваешь?»  
 Друзья мои, как вы смириться могли  
 С такими наветами злыми?  
 Последними были все книги мои,  
 Когда я трудился над ними.

*Авторизованный перевод Я. Хелемского.*



---

---

И. ЭРЕНБУРГ

★

## ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

*Книга четвертая*

1

**В** 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку — искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я — Леня Мильштейн из Кишинева...»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни...» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: старая книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские...»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и крошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом — худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить... Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?..»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутин, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер...»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но он добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне. (Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливицах, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столов, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнел; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей, писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылая боевые корреспонденции в «Известия» — словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокадвухлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня-завтра фашистский режим рухнет — так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажда мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революцион-

ного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. И на каждом дереве висит фашист...» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Андре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид походил на ибсеновского пастора; он говорил проповедь — доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву», — радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо все время перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маки. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жолио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загрозил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка — Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями — с Кассу, Авелином, Даби. С одним из его последователей я подружился — с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» — один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов — простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или, как говорят французы, расщепить каждый волос на четыре части. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, нежным и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаявался, строил планы и театральные пьесы и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов», «Патриотической молодежи». В отличие от Германии среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охранную грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сельвинского. Мне казалось, что наша литература набирает высоту

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дриеля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал добротные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал, что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дриель Рошелль был куда значительнее — талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточинкой. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидел Дриеля. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм... Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я — интеллигент и вечный свободолюбец...» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его отсвет помогает нам жить... Мы не последовали их примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример — вот почти вся наша надежда, вся наша радость...» Теперь Геенно думает иначе. Но из песни слова не выкинешь. Можно вырвать страницы из учебника истории, а заново историю не перепишешь...

В конце 1933 года французские фашисты приподняли головы. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Раскалывались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой. Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К. А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе» и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь он — академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся, мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходил С. Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Десно, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожелъ. Он был снобом не по программе, а по природе — сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А. А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожелъ, мягкий в жизни и свирепый в отзывах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел, как на суждения людей влияют сугубо личные дела, успехи или неудачи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю новым годом Ирина». С Б. М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. О нем я расскажу позднее — я лучше его узнал, когда мы жили в одной квартире на Лаврушенском. А телеграмма меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными — были в этом и характер Ирины и характер эпохи.

Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было сорок два года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932—1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу — я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что составлюсь, а развязки не увижу.

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двена-

дцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов...»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках «гагов» участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «ИльфПетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенки, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают...» За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осточертела война...»

Нет, Ильф и Петров не были сиаемскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то, что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенки, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу — умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что

как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»...» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. — «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ, сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета...»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женья, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы...»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в ужасе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород...

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался «Копир-учет». Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов». «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Че-

хова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть по скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал, что автор, которого звали ИльфПетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычайной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала...»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, может для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое посылало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа и свалился. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хороши людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей. А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче: хорошие были друзья.

## 3

Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый brunet, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Алек-

сандр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник...» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Ставиский действительно родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахапал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверьем дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Ставиский подкупал радикалов, а радикалы отвечали, что чеки перепали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Ставиского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа — довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Санга». Ну еще один... Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами — у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль-Бонкур был сторонником сближения с Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма — за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил: большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабравшись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае надобности «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканием. Полицейские вели себя непривычно мягко: многие из них были преданы своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»; однако эти «якобинцы» струсили; Даладьё подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петэна и Лавалья.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу: говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразие...» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многое решили: различным профсоюзам — тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты,— удалось прийти к соглашению: на понедельник 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вышла: печатники забастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суrowой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флажком; статуя большая и на высоком цоколе; сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев — беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира...

12 февраля стало для Франции большой датой. Казалось бы, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел, как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета — Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступят и кого они прочтут в фюреры. Все поняли, что сила у народа. 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потрясет Францию.

Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

12 февраля меня окрылило: я видел повсюду победы. Вслед за Парижем — Вена... Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя тоже стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента...

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да еще неизвестно кто победит...» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флорисдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки — белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнихрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шуцбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шуцбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десятки газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?..» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем — ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов...

Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гёте, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами...

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савоие», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбундовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не струсили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись...»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразил разлад

между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека — жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречьями; он был в Испании во время гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись — он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садилов и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий»; получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например, создали боевые дружины — шуцбунд, даже скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?..

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами; это было ясно и в то время любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на самом деле потеряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шуцбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык — Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флорисдорфа забастовали и раздобыли припрятанное оружие, руководители шуцбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны — право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демо-

краты проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись...» Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они хорошо знали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шуцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «насильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч рабочих, во второй и третий дни сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шуцбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше — Париж или Вена, отпор или капитуляция.

1934 год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты — от Латвии до Испании. Осенью рабочие Астурии попытались повернуть ход событий и были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шуцбундовцы разбиты, и в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое — беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карлика, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини — хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в паровой компании. Канцлером был осторожнейший Шушниг; он знал, что нельзя гневать ни господ-бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушниг предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты его все же посадили в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

## 5

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапеком. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...»

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идилическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память — с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага—Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекечевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает все запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белокрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добрыми глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказал: «Я не хочу инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал уверять, что, находясь в Нюрнберге, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены... Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки...» Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня

к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумаю, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию—Югославию—Италию. Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток... Привередничать, однако, не пришлось, и я поблагодарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт — никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений.)

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с неменьшим любопытством разглядывали меня — советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности — министра народного просвещения Ангелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер — о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «13 трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташи, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и униительности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится...»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!..» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед — по площади, блестящей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи — «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объезжать полушепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на стенах «дуче, дуче», мне хочется кричать от стыда...»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колочей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки

и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашистская чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествие по европейским джунглям, я говорил: «Проезжому кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флорисдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы...

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты», — они пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни, — Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон Поль Фарг, много других.

Жан-Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон—Ленинград. Со мною поехал Мальро — у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел по Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия... На берегу стояли торговцы с большими сачками — предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак — салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак — приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

## 6

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки — у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем...»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах, с пышными наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преображенным: там продавались солонки с резными петушками, скверные иконы суздальских богомазов и васнецовские богатыри на ларчиках, на брошках, на блюдах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге...»

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибывает большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка»...»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. На них смотрели с почтением и обед им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать советскую страну за старый русский трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка», только потому, что налево стоит очередь... В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить... Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследия, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились... Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок...» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там еще жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы; словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнушно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть — разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скванности еще не было, и редакция «Известий» напечатала мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье.

«Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Газета меня защищала. Я не знал о различных телефонных звонках — был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другие события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал: мне хотелось верить, что речь идет об унижительном поведении некоторых людей вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жюлио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, Элюар не походил на Ги Молле, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад?..» Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая Советская Энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фразу в моей статье о том, что Эдуард Манэ был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкопоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»...

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство — не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста», еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска — так называлась до революции Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юманите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают...» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают и в Советском Союзе», — она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника анютины глазки.

Комплекс неполноценности часто бывает связан с комплексом превосходства, и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы; они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полураба, полузазнайки.

## 7

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие их моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников — Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне — молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял: «Расписаны были кулисы пестро, я так декламировал страстно. И мантии блеск, и на шляпе перо, и чувства — все было прекрасно...» Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами, с овощами; узбеки привезли Горькому халат и тубетейку, матросы — модель ка-

тера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью, — стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей — из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло двадцать семь лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую женщину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год — председателем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж — рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд — извольте его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не справишься — трудней не дам. Если еще не справишься — из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут — расправилась с мужем, и нам легче будет...» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Двадцать семь лет не прошли бесследно... Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря»!)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее спеть, стихи о съезде: «Приветный знак ашугу дан, и вот я, Стальский Сулейман, на славный съезд певцов пришел». А. М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б. Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский — страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю. К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на

мне майка, я стал молод — мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь — впереди». Может быть, в тот же день, может быть, завтра или через неделю я с ним обедал, он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: «Была плохая погода», — мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»... Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике...

А. М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шуцбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэй-сэн был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя — он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвиг Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших — Андерсена-Нексе, Мальро, Жан-Ришара Блока, Якуба Кадри, Бределя, Пливье, Ху Лань-чи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис и слал приветы отсутствовавшим — Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Эптону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Художник должен давать уют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жан-Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбэ».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы:

«Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература... Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно. и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А. М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников; работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделывать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры могут помочь осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале среди тушей и овец? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы в свою очередь поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимо-

вич, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других — Тынянова, Леонова, Федина. А молодые... Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться...» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося Литературного института. Обидно мне другое — что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал замер: все знали, что Алексей Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить — устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький...» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков. «Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен... Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония... А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья...»

«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт... Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести... Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы... Рабочий справедливо протестует против дома-казармы... Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?.. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки...»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна

легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачу как реабилитацию.

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях. Речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло двадцать семь лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О. Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг нашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчал. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминая старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околоточный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не дождался того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют...

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стояло на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрее! Еще быстрее! Вперед, вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы». Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на Север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш». Пароходы шли медленно; люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врзается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье — кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы — лес шел по тихой Сухоне, по капризной

Вычегде, по широкой Двине — вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский Север, он меня сразу покориł нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотях, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью — не вечно улыбающихся ударников с доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами, порой воображаемыми, я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно попал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии Севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, но все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, я видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе — на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно — организовано. Помню разговор с И. Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению, — все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На Севере я увидел, с каким иступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого — семнадцатого веков, в которых сказался творческий ге-

ний русского народа. В таких церквях хранили картошку, сено, и, простоявшие триста — четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На Севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко; чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некоторых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости — все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров — «чистянка», «мизгиречек», «речка», «медведка» — изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготавливать безвкусные браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика на кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготавливать те же браслеты. Потом Чирков умер.)

1934 был годом героики. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюскинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва: солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление — другого слова не подберу — перед мужеством, перед братством.

Один из челюскинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина; они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения?

В клубе «Красный лес» комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета: «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре — в столице коми, которых прежде звали зырянами.

К одним приходил трудный Тютчев. От других уходили обыкновенные человеческие чувства. Проводили партийную чистку. На собрании обсуждали работу Краснова (фамилия, как и последующие, вымышленная). Его сослуживец Смирнов сказал: «А между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова...» Шелгунов присутствовал на собрании; он налил в стакан воду, но не выпил. Краснов начал оправдываться: «Она сама лезла...» Его перевели из членов в кандидаты.

В Тотье устраивали курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под потускневшей богородицей висел плакат: «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки».

Церковное кладбище разрыли. Я видел человеческие останки. Заведующий, с глазами идеально пустыми, гладил свои свисавшие щеки и равнодушно отвечал: «Уберем, до всего руки не доходят. А начнут гонять мяч и замечать не будут...»

Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шостаковича «Катерина Измайлова». На премьере «Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледельца» Заболоцкого; стихи меня удивили, потом прельстили; я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с А. П. Довженко; он был, как всегда, взволнован, страстен, терзался над «Аэроградом». А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором гусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии: Сталин на трибуне, Сталин на скамейке, «Заседание сельсовета», «Митинг в литейном цеху». Рядом с гостиницей «Националь» построили дом в ложноклассическом духе; о нем говорили: «Вот это наш, советский стиль, никаких формалистических выкрутасов...» В Мосторге продавали вазоны, кошелечки, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырывалась модная песенка «У самовара я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров, но Маша у самовара устраивала и членов коллегий, и председателей горсоветов, и делопроизводителей: вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты.

Контрастов в жизни было куда больше, чем в моих книгах, не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на баобаб, о крапиве, не выполотой, а выхоленной. Я говорил и о сорняках; они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое — первые побеги нового сознания, подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрик или домов, но и своего сознания. Давно я уехал с Севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями, а я все видел юношей и девушек, которые на далекой запани говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье.

Полгода спустя я написал повесть «Не переводя дыхания», действие которой разворачивалось на Севере.

Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся: я вложил в нее многое из того, что не поместилось в «Дне втором», и, не замечая этого, повторял самого себя.

Все же для меня повесть была полезной: в ней наброски героев, к которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Лясс, жизнерадостный, умный, ворчливый, — первый черновик профессора Дюма из «Падения Парижа» и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жаннетой, Валей. Непризнанный художник Кузмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства, — родной брат француза Андре и героя «Оттепели» Сабурова.

Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу; он проходит по книге беглой тенью — это немец Штрем. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала, он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил: «Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность... Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь... Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал — раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны...

А если ты распоряжаешься чужой жизнью — «расстрелять», — как-то сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертья...»

Монологи Штрема не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвалством, за ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав «Не переводя дыхания», я вижу, что, если говорить о сюжете повести, Штрем попал в книгу случайно, без билета, без прописки. Его облик недорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желания автора поскорее убрать со сцены противного человека, а главное — мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрем попал в Архангельск, почему ночью в городском сквере беседовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штреме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на запани, о любви комсомольцев, о горе молодой женщины, потерявшей сразу и ребенка и веру в мужа, сказалось нечто другое: мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская ночь фашистского мятежа, развалины Флорисдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались нестерпимыми.

## 9

Жан-Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма; но методы фашизма были понятны всем: он сулил книгам костры, авторам — концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей.

Я поехал в Париж снова кружным путем: на советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мною греческие писатели Глинос и Костас Варналис. Мы подружались. Варналис соединял в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Салониках греческая полиция не разрешила Глиносу и Варналису сойти на берег — их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции только и говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. «Они нас хотят сожрать», — говорил Варналис. Год спустя его арестовали.

Из Афин мы поехали в Бриндизи и пересекли Италию; снова я услышал вой чернорубашечников.

Газеты сообщали, как наемники-марокканцы умиряют астурийских горняков. Я уж не мог относиться к Испании, как к одной из стран Европы, вспоминал ее гордых и добрых людей; в тоске спрашивал себя: неужели и таких поставят на колени?..

С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам: в Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы; он удивил меня молодостью мыслей — ему ведь было за семьдесят, — с блеском говорил о Мирабо, Дантоне, Сен-Жюсте. Был он страстным библиофилом, я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели: Барту, хотя был он человеком правых убеждений, отстаивал необходимость сближения с Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство Барту все поняли как один из симптомов наступления фашизма.

Помню большой митинг в зале «Мютюалитэ», посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Вайян-Кутюрье, Андре Жид,

Мальро, Виоллис, рабочие-коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор; они скандировали: «Советы повсюду!» Виоллис, которая сидела рядом со мной, шепнула: «Советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми...»

Был у меня разговор с Жан-Ришаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму извилистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного — борьбы против фашизма, иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными.

Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения.

Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям, — многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей О. Ю. Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил: «Писатель — счастливый человек. Я ему глубоко завидую. Ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает «озарение». В тот самый год, когда мы встретились в Колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность; начиналась эпоха ядерной физики. Я (как, наверно, большинство писателей) не имел об этом никакого представления.

Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Лирики читали и не улыбались.

Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения Ромена Роллана, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместье Парижа Вилльжюиф одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Вайян-Кутюрье объявил, что предоставляет слово Андре Жида. Рабочие, наверно никогда не читавшие книг Жида, устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием «писатель». Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал, заработанный литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейне, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов.

С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников мира стал Жолио-Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пэн-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли «учителей жизни» или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличенным то значение, которое придавал я (да и не только я — ответственные политические деятели) антифашистскому объединению писателей.

(Разгадка происшедшей перемены скорее всего не в успехах науки, разумеется бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевидном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существование, — в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни чита-

телей, а физики способны и улучшить жизнь и усовершенствовать смерть. Спираль — одна из распространенных форм развития и живых организмов и человеческого общества; наверно, лирики будут «в почете», когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо — и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков.)

Это размышления о настоящем и будущем, а заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Котантен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхания», когда мне позвонил наш новый посол В. П. Потемкин и попросил зайти к нему — дело срочное. Владимир Петрович сказал мне, что в связи с моим письмом о настроениях западных писателей меня просят приехать в Москву — со мною хочет поговорить Сталин.

В Москву я приехал в ноябре; погода была препротивная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой — написала книгу «Записки французской школьницы». А теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький, и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал «Записки» за ночь. Читал я, понятно, с особым интересом: Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое, мне неизвестное, — Ирина была скрытной.

В ожидании встречи со Сталиным я встречался со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели — Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали мне «Чапаева». Я проводил вечера у Всеволода Эмильевича; он не сдавался, рассказывал о постановке «Горе уму». Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Декабрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к редактору; на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»... Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?.. Я заметил, что большим испытаниям почти всегда предшествуют недели или месяцы безмятежного счастья — и в жизни отдельного человека и в истории народов. Может быть, так кажется потом, когда люди вспоминают о канунах беды? Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолкли, насторожились.

Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК А. И. Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться; меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма.

В Париже я успел написать еще несколько глав повести.

Я разговаривал с Мальро, с Вайяном-Кутюрье, с Жидом, с Жан-Ришаром Блоком, с Муссиаком, с Геенно. После долгих споров группа французских писателей решила созвать весной или в самом начале лета международный конгресс. Писатели — не рабочие: объединить их очень трудно. Андре Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фейхтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать конгресс. Писатели, близкие к троцкистам, — Шарль Плинье, Маделен Паз — предупреждали, что выступят — «разоблачат» Советский Союз. Барбюс опасался, что конгресс по своему политическому диапа-

зону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен дю Гар и английские писатели Форстер, Хаксли, напротив, считали, что конгресс будет чересчур узким и что дадут выступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции.

Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции: в Сааре плебисцит, я должен туда выехать. Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро: не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы.

Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то рыжий Ромка, строил «рабочие гипотезы». Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уж не так силен фашизм, как кажется, — он держится на всеобщем оцепенении! Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера?..

Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции «Известий». Кто убил Кирова?..

В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым — желтый, густой, едкий.

## 10

Я приехал в Саарбрюкен вечером. Сквозь туман мерцали площадки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастика из сосисок; прохожие смотрели и восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплектическая женщина, кричала в коридоре: «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни: «Мы идем, раз-два...» Я плохо спал. Ночью стреляли; я приоткрыл дверь, и коридорный, собиравший для чистки выставленные ботинки, объяснил: «Наверно, убрали еще одного предателя...» Утром хозяйка мне сказала: «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я — немка, сударь! Понимаете?..»

Я все понял; но, может быть, молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню. В 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемансо хотел, чтобы саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что пятнадцать лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит, жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно: в Сааре живут немцы, следовательно, они выскажутся за присоединение.

Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединения к Германии или статус-кво, то есть сохранения автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение: нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли: «Мы — немцы, наше место в Германии!»

«Свободное волеизъявление» походило на трагический фарс. В теории всем была предоставлена свобода слова, собраний, печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрания коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывавшихся против присоединения: продавщицы испуганно отвечали: «Они предупредили, что сожгут киоск...» Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой: если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется «хорошая немецкая пуля».

Подлинный хозяин Саарского бассейна, Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, ослушникам—голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в «Германский фронт», тотчас лишали пособий.

(Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить «свободными выборами», я вспоминаю плебисцит в Сааре...)

В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка. Этого крестьянина заподозрили, что он намеревается выскататься за статус-кво, и бык был объявлен «быком статус-кво». Никто не смел слушать его с честной арийской коровой.

Помог мне попасть и в деревню Пикар и в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Саарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем.

Еще до плебисцита я написал для газеты очерки и последний из них кончил словами: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».

Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений, и не пал духом.

Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать: в Женеве должна была собраться Чрезвычайная сессия Совета Лиги наций.

Швейцарцы тянули с визой. Наконец советник посольства показал мне телеграмму из Берна; я переписал ее: «Советскому гражданину Илье Эренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на Чрезвычайной сессии Совета Лиги наций при условии, что названный Илья Эренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые отношения с соседними государствами». Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии — того требует нейтралитет.

Что же, нейтралитет (как, впрочем, и все на свете) можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта-антифашиста Якоба и увезли его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло. Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами; никаких подписок с них не брали; у них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что «для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начать с России».

Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилище, описанное в «Рейнеке-лисе». Тогда же я был новичком и многому удивлялся. Лига наций была черновиком ООН; американцы в ней не участвовали, и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 году вышла из Лиги наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвиге я видел, как датчане боятся немецких дивизий. А в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия; ко всему — этот адвокат фашизма был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами — в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор, и Леррус вдруг почувствовал нежность к третьему райху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки.

Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями.

Выступил М. М. Литвинов; говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера: «Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина щадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действие в остальных кварталах...»

В кафе «Бавария», где собирались журналисты, корреспондент «Фигаро» кричал: «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину...»

В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от кафе «Бавария», висела большая карта Европы, на ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии.

Весна была холодной, ненастной; но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы: «Мир торжествует...» Германия продолжала вооружаться. Лига наций рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах.

Я поехал в бельгийский город Эйпен, принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мытарил с визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервельде, Спаак. Еще недавно Спаак считался «красным». Я помнил, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринаже. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейерхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году; несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, «умеренные»; но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь: они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими пожарниками. Вандервельде был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спааком; ему тогда было семьдесят лет. Он написал статью о моей повести «День второй». Не знаю, что на него подействовало — мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания: «Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу к звездам. Самая законная из всех революций дала ему веру и надежду — чудодейственное обновление всей социальной жизни». Однако идеи министра Вандервельде никак не отражались на будничной политике: в Эйпене я увидел картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа; никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенер цайтунг»; там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирецу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинения Розенберга.

Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозила выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отведал его до границы — он был в тяжелом душевном состоянии, несвязно отвечал на вопросы пограничников.

Опять Париж. Писатели, разговоры о конгрессе. Мальро доволен — Бенда обещал выступить. Уолдо Франк прислал из Америки длинное письмо; он приедет на конгресс. Джойс пришлет приветствие...

Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы — на нор-

мандском побережье или в Савойе. Все было как всегда. Но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна.

Я поехал в Эльзас. Там было все то же: гитлеровцы, ухмыляясь, говсрили о «близком освобождении», «автономисты», вдохновленные Сааром, требовали плебисцита, люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов спасти их в час «освобождения». Вечером на глухой улице я встретил десяток парней, они злобно горланили «Вахтам Рейн».

Я писал тогда: «Последние месяцы я занят изнурительным занятием: езжу по различным областям, находящимся в непосредственном соседстве с Германией... Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме: если змея проглатывает кролика — это, в конечном счете, обед. Но нельзя долго глядеть на кролика: остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами...»

Недавно в Риме состоялась встреча «Круглого стола». Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм — историю фашизма. Дуче на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии. Рушились дома Мадрида. Несли мертвых детей. По улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали в концлагерях. Еврейских девушек вели в газовые камеры... Потом была победа, и вот снова на экране буянят недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток. Сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал: да ведь это история моей жизни! Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв...» Наверно, и тогда это было только мечтой: Рылеева повесили, Кюхля изнывал в ссылке. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть по мечтать он мог...

Весной 1935 года я меньше всего думал о «сладких звуках». Мы трагитили дни и ночи на подготовку конгресса. Жизнь казалась идилической, но жить по-прежнему я не мог: воздух стал другим. Еще не было ни мобилизаций, ни учебных тревог, ни пробных затемнений. А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней.

## И

Часто в моей тесной квартире на улице Котантен собирались французские писатели, занятые подготовкой конгресса: Андре Жид, Жан-Ришар Блок, Мальро, Муссиак, Низан, Рене Блек.

У меня был пес Бузу, нежный и лукавый, помесь спаниеля со скотч-терьером; на выставку его не взяли бы, но он был умницей — самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты. Бузу любил Андре Жида, любил не бескорыстно: Андре Жид брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой; Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жид, не замечая происшедшего, брал другое печенье; так повторялось раз десять.

В те годы я часто встречал Андре Жида, бывал у него на улице Ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось бы, я мог его хорошо узнать, но я его не узнал: он оставался для меня человеком с другой планеты.

Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой: Андре Жид был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма; но даже в то время я добавлял, что до шестидесяти лет Андре Жид «не видел перед собой ничего другого, кроме отсветов собственной страсти». Одну только свою книгу он назвал романом — «Фальшивомонетки»; в 1933 году я писал о ней: «Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетки». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях... Это книга о книге: жизни в пустыне не оказалось».

Я не был одинок в моем восторге перед «обращением» Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал: «Ромен Роллан, Андре Жид имеют законнейшее право именовать себя «инженерами душ», — а Луи Арагон кончил свою речь словами: «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга — Андре Жида». Год спустя на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.

В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз, всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло: чужая душа — потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью — он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его «стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью». Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути.

Конечно, я ошибался, и когда прославлял его приход к коммунизму и когда называл его ренегатом: порхание мотылька я принял за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях: слишком часто принимал свои желания за действительность.

Может ли человек, прожив шестьдесят лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбом, защитником социальной справедливости? Андре Жид не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе; эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я мог поверить в стойкость, в длительность таких чувств только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над путем Жида. В годы первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком: «Ты меня опередил!» Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия — злейший враг человека. Он походил на проповедника; у него были умные глаза, тонкие выразительные руки; его окружали книги, рукописи; он всегда носил в кармане маленький том Гёте или Монтэня; говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью, другие, напротив, упрекали его в чрезмерной осторожности; а мотылек летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен, он не герой и не шкурник, он только мотылек.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум Жида. Однажды в своем дневнике он записал: «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда, сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям...» Жиду, когда он это писал, было семьдесят два года; он считал, что сделал свое. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке, не знаю; но образ удачен: он был грандиозной ночной бабочкой с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога и мальчишку с сачком. (Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек.)

Сколько я ни встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своем здоровье: боится простудиться, теперь грипп, не может победить в этом «быстро» — печень, печень... В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного — Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен дю Гар, который оставил «Записи об Андре Жиде», написанные с любовью, в них я нашел подтверждение моих куда более беглых наблюдений: «Он живет, погруженный в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями...», «Он еще более сосредоточен на самом себе...»

О чем бы он ни писал — о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции, — он видел себя, собой восхищался или ужасался.

У него был превосходный язык — ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, стиль способствовал его успеху — он ведь выступил, когда всем опостытели нарочитые туманности эпигонов символизма; другие подражали Малларме, Жида прельстил Монтэн.

Блистательный стилист, писатель большой эрудиции — все это бесспорно, и все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали Жида учителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком.

Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлениям; смутно помню одну из книг этой коллекции — рассказ о женщине, замурованной своими близкими.

Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андре Жид сделал из патологического казуса боевую программу. Он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху.

Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе: «Меня, наверно, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам...» Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил: «Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов...» Я едва удержался от улыбки; стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином не только по формации, но и по характеру, и вот он стал фанатичным моралистом аморальности.

Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма — самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидел мимоходом, в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды; зато, преклоняясь перед собой, он себя не щадил.

Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам: «Так как здоровье мое слабое и я не могу надеяться на долгую жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя, к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китсом или Рембо... Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, ведь я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу...» Как странно это перечитывать! Андре Жид узнал долголетье: он умер в восемьдесят два года. Да он и не принадлежал к тем авторам, которых открывают потомки, — его читали и почитали при жизни. Шведская королевская академия присудила «аморалисту» Нобелевскую премию. Теперь и во Франции читатели редко возвращаются к его книгам. Он видел себя пирамидой, а был он, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло...

Я говорил, что время все ставит на свое место. А я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о «коммунистическом братстве», пока Бузу поглощал печенье, и мне становится почему-то жалко Жида. Он был очень одинок; его чтили, и никто его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женится он в молодости на кроткой, богобоязненной девушке и, женись, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он записал в дневнике: «В течение целой недели я плакал с утра до ночи... Я себя сравнивал с Эдипом...» Я не сомневаюсь в искренности этих слез; он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями — это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, «с беспечального детства» искал «сочетания слов». Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы; 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал: «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость... Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню; зачем биться о решетки клетки? Для того, чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посредине». Три недели спустя он себя утешал: «Если завтра, чего я опасаясь, нас лишат свободы мысли или по меньшей мере свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль потеряют от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может принизить лучших; что касается остальных, то это несущественно. Да здравствует подавленная мысль!»

Я убежден, что в 1930—1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов; как бродяга, он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместье Вилльжюиф; он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не обманывал, разве что самого себя.

В 1934 году Роже Мартен дю Гар после беседы с Жидом записал: «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе не годен для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне! Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасаясь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются...» Мартен дю Гар хорошо знал Жида. А я поверил... Говорю это спокойно, без горечи: время — хороший врач.

А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне; мы вместе готовили антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушьем, восстаивая те годы, вырезать из них тень шестидесятишестилетнего мотылька в крылатке, то с «Капиталом», то с томиком Эврипида в руке.

## 12

На московском съезде писателей я был рядовым участником; Парижский конгресс я подготавливал. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался, как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется; писателей с именем отговаривали: конгресс — затея коммунистов; участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей.

Мы готовили конгресс по-кустарному — почти без денег, без помещения, не было ни секретаря, ни машинисток, приходилось самим переписывать

сывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан-Ришар Блок, Мальро, Гийу, Рене Блек, Муссинак.

В своем выступлении на конгрессе М. Е. Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже — в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать с их западными собратьями по-другому — за их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров.

На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, А. Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабея, Арагона, Андерсена-Нексе, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум Ассоциации, которую конгресс создал, вошли Ромен Роллан, Горький, Томас Манн, Бернард Шоу, Сельма Лагерлёф, Андре Жид, Генрих Манн, Синклер Льюис, Валье Инклан, Барбюс.

Конгресс был очень пестрым: рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел Вайян-Кутюрье, после скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Арагон, испанский индивидуалист Эухенио д'Орс беседовал с Бехером, семидесятилетний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследия молоденькому Корнейчуку, друг и единомышленник Кафки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Табидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлис.

Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал «Мютюалитэ» был переполнен; громкоговорители передавали речи в вестибюль; люди на улице стояли и слушали. Газетам, сначала решившим замолчать конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры!»

Мне невольно вспоминается другой конгресс — тринадцать лет спустя во Вроцлаве; там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский конгресс назывался «В защиту культуры», вроцлавский — «В защиту мира». Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием.

Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов конгресса, Андре Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Советском Союзе, жал руку Вайяну-Кутюрье. Это не могло никого удивить: три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Даладьё обнимал Тореза. Фашизм наступал. Просматривая в дни конгресса газеты, мы узнавали, что пятнадцать тысяч фашистов прошли по улицам Алжира, а над ними кружили фашистские самолеты и что очередной «вождь» воскликнул: «Клянусь, не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции!..» В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после второй мировой войны положение было куда более сложным — страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась «охота за ведьмами». Все же, мне кажется, дело не только в этом.

Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат,

биолог Хаксли; право же, он был настроен ничуть не правее, чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали, ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом.

Во Вроцлаве я встретил очень мало участников Парижского конгресса: Андерсен-Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корнейчук, я — вот, кажется, все. Эссеист Бенда, неистовый рационалист, как-то сказал мне: «Видите, я все-таки приехал. Но я больше ничего не понимаю... Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают... Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра, О'Нейля «шакалами». Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны. Я против политики Соединенных Штатов. Я ишу объединения, а мне предлагают присоединение... Но мне семьдесят восемь лет — для начальной школы это поздновато...»

Вернусь к Парижскому конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях и новаторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой; он говорил о значении сатиры в советском обществе: «Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же». Лахути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться «нахи данат» — «поясом проклятья» и что теперь все народы Советского Союза объединяет «нахи вахлат» — «пояс братства».

За несколько дней до открытия конгресса французские писатели, организаторы конгресса, обратились к нашему послу: они хотели бы увидеть Бабеля и Пастернака, не вошедших в состав делегации. Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Исаак Эммануилович речи не писал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психостению, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал.

Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонного и комедийного стихового театра... Багрицкий! Вот стих пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил природу... Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!»

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: «Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил «капать»

на товарищей, объявил, что я в Париже будто бы приветствовал Пастернака и сказал, что «совесть только у него одного». Эта басня понравилась, и «Комсомольская правда» осудила не Тихонова, не участников Парижского конгресса, легкомысленно аплодировавших Пастернаку, да и не самого Пастернака, а меня. Во французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: в чем дело? Это было четверть века назад — еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить.)

На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка. В моем выступлении я сказал: «Мы прожили трудные годы — наши дни были окопами. Чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию. Но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов. Но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она ролилась в арсеналах буржуазии. Твердя о «чистом искусстве», буржуазия писателей-отщепенцев и баловала прирученных. Не «проклятые поэты», а прирученные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе... Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей...» Два старейших писателя — Генрих Манн и Андре Жид, — сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы позвать мне руку; это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил.

Мне то и дело приходилось уходить из зала: было много кропотливой работы. А возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе — они исходили от различных писателей Запада: от Шамсона, католика Мунье, Манна, Жида, Геенно и других.

Были патетические минуты. Неожиданно на эстраде появился человек в черных очках с наспех приклеенной черной бородой; это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши; и зал неистовствовал; Андре Жид, переводивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения.

Стояли на редкость знойные дни — духота, грозы. В переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для «Известий», а то утешать литератора, которому не дали слова.

В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку. Почему-то полночи мы проспорили в маленьком кафе о социалистическом реализме; с нами сидел А. С. Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал: «Ну зачем спорить? Ведь все сказано в уставе...» Лахути поднес Андре Жиду таджикский халат, тубетейку, и, увидав автора «Коридана» в непривычном одеянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе купил редкие издания Бодлера и Рембо; по-французски он не читал, но любовно глядел страницы. Брехт и Мальро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле «Мютюалитэ», куда мы заходили, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались; а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман; и я глядел на па-

рочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лева, антрепренер бродячего цирка, любил говорить: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит...»

В кулуарах вдруг стало тихо: сейчас выступают сюрреалисты — они решили сорвать конгресс...

Накануне открытия конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кревеля. Я с ним иногда встречался, знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали: отравился, оставил короткую записку: «Все мне опротивело...»

Потом от его друзей — от Клауса Манна, от Муссинака — я узнал, что, сам о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе, я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил: в чем дело?.. Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне это тяжело вспоминать.

На конгрессе Арагон прочитал речь Кревеля. Все встали. Ему было всего тридцать пять лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства...

Элюар потребовал слова. Зал всполошился: начинается!.. Кто-то истошно кричал. Муссинак, который председательствовал, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистом. Элюар прочитал речь, написанную Бретоном; в ней, разумеется, имелись нападки на конгресс — для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет — все кончилось благополучно: мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере.

Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил: «Будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом... Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать, мы будем ржавыми иголками класть заплаты, пока не разразится катастрофа». (И молодой Хаксли и пожилой Форстер пережили вторую мировую войну. А если «ржавые иголки» теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения.)

Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографию ее сына, погибшего на Волге.

(Я прервал работу над этой главой почти на месяц: Рим, Варшава, Лондон; встречи, заседания, конференция — разоружение, ядерные бомбы, Бонн, реваншисты... Передо мною были не писатели, а самые различные люди — американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, Жюль Мок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убедить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то бог с ней, с книгой, — куда важнее судьба подростков: перед ними их люди, их годы, их жизнь.)

Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат; из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне: «Поскольку

секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам». Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: «Ругать будут тоже вас...»

О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты — в Париже, в провинции. Время благоприятствовало: это был медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле.

На Парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой...»

Секретарем Союза чешских писателей был тогда поэт Гора; он предложил включить в нашу Ассоциацию чешский союз. Я был на съезде писателей Словакии, они тоже вошли в Ассоциацию.

В Испании с нами были почти все молодые писатели: Лорка, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де ля Серна, который чурался политики; мне удалось уговорить его войти в Ассоциацию.

В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата. Мы были настроены радужно; обсуждали всевозможные проекты: создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая, по замыслу Бенда, Мальро, Блока, должна была стать тем, чем были энциклопедии Дидро, Вольтера, Монтескье для людей второй половины XVIII века.

Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче М. М. Литвинова. Беседуя с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало — он не любил, чтобы действительность шла вразрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальновзорким: если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта, а когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой, а к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича, озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым.

Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и тотчас вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала.

Конечно, в своем скептицизме он был прав: мы не составили и первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий. Мы даже ничего не сделали для переводов. Бергамин предложил созвать второй Международный конгресс в Мадриде в 1937 году; это предложение приняты. Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная, разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили

только одно: конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали, обстреливаемые фашистской артиллерией.

Ассоциация сделала свое дело: она помогла понять писателям, да и многим читателям, что начинается новая эпоха — не книг, а бомб.

## 13

Ранней осенью 1935 года я писал в «Известиях» о Франции и Париже: «Я долго думал, почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. Белые крестьянские домики обвиты глициниями... «Жизнь так коротка» — это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натошак «Жизнь так коротка»... Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря... Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей... Кружится голова: черна ночь Европы. Грусть веков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов; они как будто повторяют: «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее!..»

О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с «блошиного рынка» (так зовут парижскую толкучку), кувшинами, глядя на пейзажи Р. Р. Фалька. Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы чужой ему город.

Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года: тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещала легкая стыдливая улыбка, и я, восхищаясь живописью, по-новому видел окружающий меня мир — людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века.

(Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто, оставляя рукопись, я глядел на него — дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича.)

Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился; я валил все на эпоху, а может быть, виноват я. Ведь Фальк — мой современник (он был всего на три года старше меня), а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный, у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти, иступленно, мучительно,

уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как стручья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал, и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери, работал не думая, выставят ли его холсты, — говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать.

Есть художники, которые легко, быстро пишут, — я говорю сейчас не о халтурщиках, а о подлинных художниках; они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них «хорошо поставлены глаза». Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк в каждой работе преодолевал живописное косноязычие. Но его трудолюбие не похоже на пот Брюсова, назвавшего свою мечту «волом»: мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства, своим мыслям. Он любил стихи Баратынского о скульптуре: «Глубокий взор вперив на камень, художник Нимфу в нем прозрел, и пробежал по жилам пламень, и к ней он сердцем полетел. Но, бесконечно вожделенный, уже он властвует собой: неторопливый, постепенный резец с богини сокровенной кору снимает за корой».

Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых предшественников — Сезанна — невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи и другой земли. Он говорил о Сезанне: «Величайший художник! У него было абсолютное зрение... А если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна...»

Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человеческим, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни — волновался, страдал, радовался.

Он любил Врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в Художественном училище был К. А. Коровин. (Фальк рассказывал, что в Париже встречался с Коровиным. Константину Алексеевичу было уже семьдесят пять лет, но он работал, искал и говорил Фальку: «Знаешь, кто теперь самый большой художник во Франции? Сутин!») Начал Фальк выставляться в группе «Бубновый валет» вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто бубновоевалетцы слепо подражали французам, а это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя. Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией; они были выражением чувств молодого художника.

Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего девять лет и за это время сменил четырнадцать адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую; объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в четырнадцати различных городах.

Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города — охотно колесил. Отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы, исповеди.

Роберт Рафаилович любил труд преподавателя; учившиеся у него — и в двадцатые и в сороковые годы — говорят, что он делился с начина-

ющими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроки душу.

В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию — я часто говорил с ним о стихах; он сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть, потому, что в живописи искал ритм.

Поль Сезанн, необычайно зоркий в своем ремесле, ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезанн тоже не понял Золя, перевернувшего строение романа, пробовал почитать и бросил — показалось скучным. А Фальк и многое знал и многим интересовался. Париж на его холстах («не город, а пейзаж») был таким, каким он его и видел и понимал. В 1935 году он говорил: «Франция обречена. Трудно работать, не хватает воздуха. Пора домой...» Ему тогда жилось хорошо: его выставляли, критики много писали о нем, коллекционеры покупали его холсты. Но, равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда, после падения Парижа, я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях — самую историю он знал давно и не только по сообщениям газет.

Он как-то сказал мне: «Я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней газете... Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал...» Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина «изобразительное искусство» — предпочитает «пластическое искусство»: живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте.

Фальк писал в одном из писем: «Произведения Сезанна не подобья жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками. С моей точки зрения, они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности... Элементарно говоря, я — реалист... В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо...»

Фальк недолюбливал декоративность в живописи; о таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом. Он искал раскрытия предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущности модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк это достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография.

В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в «формалисты». Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. «Формалиста» решили поставить на колени; помню заявление одного из тогдашних руководителей Союза художников: «Фальк не понимает слов, мы его будем бить рублем...» Вот это изумило меня даже в то время: человек «рубля» не знал, с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника,

столь безразличного к различным благам, к удобствам, к достатку. Фальк сам варил горох или картошку; годами ходил в той же протертой куртке; одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной, прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дорожил только красками и кистями.

Его перестали выставлять. Денег не было. Он считался заживо похороненным. А он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники; он всех впускал, объяснял, стыдливо улыбался.

Он писал в 1954 году: «Только теперь, мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна... Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше...» Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе — до последнего часа.

Все больше и больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы-реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался — до самой смерти. (Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте семидесяти шести лет. Роберт Рафаилович умер в семьдесят.) Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа, вскоре после выставки, привезли Фалька — в гробу. Люди стояли и плакали — знали, что потеряли.

Теперь выходят книги стихов, которых никогда не издали бы десять лет назад; строят современные дома. А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке...

## 14

Четырнадцатого июля 1935 года, вскоре после конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию: это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил по улицам, иногда забежал в кафе — писал отчет, который должен был на следующий день пойти в «Известиях». Демонстрация началась утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади; столько, однако, было народу (газеты потом давали различные цифры, в зависимости от направления, — шестьсот — семьсот — восемьсот тысяч), что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партий шли рядом — Торез и Блюм, Даладьё и Кашен. Шли также ученые, писатели: Ланжевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок.

На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты; они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев; кричали: «Да здравствует де ля Рокк!» — так звали полковника, вождя «Боевых крестов».

«Де ля Рокка к стенке!» — скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял юркий Лаваль; он подписывал соглашения с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт и де ля Рокка, отодвинуть хотя бы на год-другой развязку.

Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще год назад утром я прежде всего читал письма; теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее читал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее незнакомыми людьми, спешившими

поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными; речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой — радиовещание еще было в руках различных частных компаний; почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства «Бальдофлорина», забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять, но меня это слово «Баль-до-флорин» между криком дуче: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!» — и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя.

Седьмого сентября Париж снова вышел на улицы: хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией.

Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе: они знали, что Барбюс был смелым товарищем, коммунистом, автором книги о Сталине; пятидесятилетние помнили «Огонь», рассказавший о судьбе верденского поколения. Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее...» Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе «скромных знаменосцев», к которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках. Женщины подымали к небу грудных детей. Из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры, георгины — цветы Подмосковья.

Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище: «Рабочие Лана не потерпят фашизма!» Скептик мог бы усмехнуться: Лан — небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда: Франция переживала необычайный подъем, каждый верил, что будущее зависит и от него.

В феврале 1936 года «королевские молодчики» (так называли одну из крайних правых организаций) напали на Леона Блюма, избили его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук.

Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок. Сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки.

В одной из колонн я увидел Марсея Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали: «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался.

(Однажды я встретил Кашена в кафе — это было в 1932 или 1933 году, — он сидел с Ланжевром и художником Синьяком, рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал: эти люди пришли в наш век издаелека, все понимали и ничего не растеряли... Кашена любили: он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в вожди.)

Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андре Жид, Ланжевен или Мальро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофинэ, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими

жилками на лице попросил слова; поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом запел: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года: «Надежду видел я, и, розы тоньше, как мягкий воск, послушная руке, она рождалась в кулаке поденщиц и сгустком крови билась на древе».

В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась, как бабочка, надежда тех месяцев. А для надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лилле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы «Франция — СССР». Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубэ; там была большая льнопрядильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалу: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми... Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности». Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Рабочий с седыми усами сказал мне: «Я читал в «Юманите», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это ведь народное добро. По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт...»

На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер «Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела: театральные режиссеры Жуве и Дюллен, художник Вламник, писатели Жид, Мальро, Шамсон, Геенно, Жионо, Дюртен, Вильдрак, Кассу. Мне самому теперь это кажется неправдоподобным.

Рабочим удалось (ненадолго) заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго — хозяева хотели взять горняков измором. Стаечный комитет помещался в здании мэрии; туда приходили крестьянки — брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки: картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку.

Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали из-за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя «насистами»; у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали «франсистами». Открыли в Париже «Синий дом» — в Берлине ведь имелся «Коричневый».

Германия ввела войска в прирейнскую демилитаризованную зону. Лига наций обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики: «Мемель наш! Страсбург наш! Брюнн наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что Народный фронт приведет к войне, что пора унять левых «крикунов». Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии; фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига наций применила к Италии экономические санкции; по существу это осталось резолюцией; но фашисты в Париже каждую неделю устраивали

демонстрации под лозунгом «Долой санкции!». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили: «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера...» А по радио стоял вой: «Средиземное море наше! Корсика наша! Ницца наша!» На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы.

Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела, в буржуазных многие зрители аплодировали. Иногда в темном зале начиналась драка.

Спорили друг с другом незнакомые люди — в кафе, в метро, на улице. Раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения.

Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир. Хлеб. Свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. «Патриотическая молодежь» пела «Марсельезу», требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций, и одновременно устраивала демонстрации с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии (они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера), и писатель Анри Бери опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство!». Рабочая молодежь предпочитала «Марсельезе» «Интернационал» и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала «двести семейств», которые хотят предать Францию.

Были и неприкаянные. Как-то утром раскрыв газету, я нашел в ней манифест, старавшийся оправдать нападение Италии на Абиссинию «культурной миссией»; под текстом было много подписей писателей, известных своими правыми убеждениями, но вдруг я увидел имя человека, которого считали левым и с которым в двадцатые годы часто встречался, дружил. Я тотчас ему написал — спрашивал, как он мог подписать такой текст. Он прислал мне длинное растерянное письмо, в нем были следующие строки: «Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений, я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти на жертвы... Я меняю убеждения по двадцать раз в день...» Это хороший писатель и добрый человек, но на этом наша дружба оборвалась; больше я его никогда не встречал.

Я жил в каком-то непрестанном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее «Вне перемирия». Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что судьбы людей, с которыми я был связан, не подпадают под условия этого перемирия. В статье для «Известий» я писал: «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос...»

Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главные испытания впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами: «Надежда мира — Красная Армия».

Во Франции в тот год стояла удивительная осень; гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть обреченный, глядел из окна вагона — газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву.

Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: «Великому Сталину ура!» — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: «Сталину слава!» Мы вскочили и зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко посвечивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что и другие заняты тем же.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на шамана, которого я видел в Горной Шории... Тотчас я себя оборвал: наверно, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени! «Интеллигентик», «путаник», «гнилой либерал»... И все-таки непонятно: «мудрейший руководитель», «гениальный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»... Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже.

На совещании И. В. Сталин сказал: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодородное дерево». Эти слова приподняли всех — ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно...

Прошло несколько дней. Я встретил живых, интересных людей. Долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой. Она оказалась умной и удивительно скромной; почести, оvationи, фотографии не вскружили ей головы. Я решил, что оvationи в Кремлевском зале — своеобразное выражение чувств, своего рода присяга. Ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца скандируя: «Ле совые пар-ту!» Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывала, что я посмеялся над собой: до чего глупо было огорчаться!

Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор — искусство оставалось для меня кровным делом, ввязался с горячностью, да и неуклюже: плохо разбирался в положении, принимал свои желанья за действительность.

Побывав в клубе «Динамо», в университете, у тимирязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести, я писал:

«Я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши писатели». Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями.

Может быть, в моих словах сказало и недовольство собой, повестью «Не переводя дыхания», которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана как-то зелено, с нарочитым упрощением, будто автору не сорок три года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому.

В статье я выступил против обязательной «доходчивости» — слово тогда входило в обиход: «Наши читатели растут, как трава в сказках, — бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого «среднего читателя», сплошь да рядом оказывается в дураках: пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит: «Скучно, плоско, давно известно, шаблонно...» Секрет нашей удивительной страны в том, что у нас нельзя ставить на «сегодня»: тот, кто ставит на «сегодня», оказывается во «вчера». Надо ставить на «завтра».

«Известия» статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хуренито». Некоторые критики меня поругивали; я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается.

Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искания нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит: «Нужно еще раз прийти — посмотреть получше...» (Эти слова я как-то подслушал в Музее западной живописи.) Некоторым художникам мои мысли не понравились; один выступил с разоблачением: «Эренбург так рассуждает потому, что его жена — ученица Пикассо». (Люба была польщена — она ведь никогда не училась у Пикассо.)

В Доме кино я сказал, что мне очень нравится «Чапаев», но этот фильм — завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии; я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета «Кино» определила мои мысли как «старые заблуждения по новому поводу» и сердито меня одернула.

Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился: Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте: за длинным столом сидели расфуфыренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть кровавая, сплетня гуляла вдоль стола. Я писал: «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных. Они еще барахтаются в тине канцелярий, они переменяли костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства». Долго в моих

ушах стояли слова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно...» Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью.

До чего я был тогда наивен! Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра.

Когда я был в Москве, И. В. Сталин объявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых формах, о разрыве с рутинной.

Месяца два спустя я прочитал в «Правде» статью «Сумбур вместо музыки»: Сталин пошел на оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за «кривляние», даже за «цинизм».

С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали «простоты и народности». Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому — «простого и народного». (В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера: «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать и не только уши.) Началась кампания «против формализма, левацких уродств, вывертов»; кампания велась яростно, ей отводили много места.

Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршака с рисунками В. Лебедева — рисунки были объявлены «мазней», и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить «формалистов»; нападали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставке, не только на конструктивистов — Леонидова, Гинзбурга, но и на «сочувствующих формализму» — на Веснина, Руднева. Еще хуже пришлось художникам; критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, Фонвизин, Штеренберг — «пачкуны со злостными намерениями».

На собраниях театральных работников поносили Таирова и особенно Мейерхольда. Его покаяние было признано «туманным», «неискренним», начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Эйзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в «формалистических вывертах» оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Линдл, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабея, до Кукрыниксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В «Красной нови» появилась статья, призывающая в борьбе против формализма «биться за классические рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное развитие сюжета».

Я думал, что спор начинается, а он кончался: его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниями стать «простым и доходчивым», с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию».

Меня много раз обвиняли в «барском отношении к читателям», обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели и позднее в часы сомнений, печали они неизменно меня поддерживали своим пониманием, зрелостью. Редактор «Литературной газеты» писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев.

«Эта мысль, — писал редактор, — выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей». Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую: я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад.

Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. «Массы читателей» не существует, даже если книга выходит массовым тиражом: читатели читают по-разному — бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызывали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбэ до гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем арифметическая «масса», не старается сказать людям нечто новое, им еще неизвестное, то он вряд ли кому-нибудь нужен.

Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. А. Н. Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. Бабель говорил, улыбаясь: «Через полгода формалистов оставят в покое — начнется какая-нибудь другая кампания». Мейерхольд томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с А. П. Довженко. Он был большим художником, достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 году. Александр Петрович хорошо рассказывал — с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показывал ему «Чапаева» и приговаривал: «Вот так нужно и вам...»

Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя, но я был в лучшем положении — шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя.

Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в «Книге для взрослых»: «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». (О том же я говорил позднее в стихах: «Не зря я слепоту зову находкой. Тоску зажечь, как мертвого птенца, пройти своей привычною походкой от детских клятв до точки — до конца».)

Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться — писать статьи для «Известий», выступать на различных собраниях, работать в Ассоциации писателей. «Книга для взрослых» была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное: решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе, о своей жизни с другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным, может быть, это неправильно — просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими, а вследствие этого я сам порой казался условным литературным персонажем.

В книге много страниц было посвящено литературе, искусству; я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя: «Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристаут к писателю, только те, что должны к нему пристать... Гоголь умер среди мертвых душ; вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тому подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством, немотой, убогой смертью?.. Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?»

Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выбранном мною пути. «Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью... Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты».

Может быть, в 1935 году я слишком рано взялся за рассказ о своей жизни: недостаточно знал и людей и самого себя, порой принимал временное, случайное за главное. В основном я и теперь согласен с автором «Книги для взрослых», но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы.

Многое в книге было скорее предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи нестарым и далеко не умудренным, написать такие строки: «Я пережил в жизни все, что пережило большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачи в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда не отрываясь смотришь на лампочку или на буквы газеты, которой не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить».

Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мною жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью.

«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале; потом решили выпустить отдельным изданием; издавали долго — шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не любящим садовникам, а лесорубам. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неудобными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один листок блее и короче других, его вклеили: нужно было изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.

А писал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций: борьба разгоралась. Теперь я твердо знал: что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения (не в правоте идеи, а в

разуме людей, стоявших на командном посту), нужно молчать, бороться, победить.

В конце марта я отослал рукопись в «Знамя». А седьмого апреля в испанском городе Овьедо я разговаривал с горняком Сильверию Кастаньоном; он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией: цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гюго. Судьи одобрили кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни: он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил: «Пятнадцать месяцев. Только я ждал не смерти, а революции...» Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками: «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод — детское лицо...

Вернувшись в сырую, мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал: нет, жизнь не одна — за одну приходится прожить не одну, не две жизни, а много; в этом, кажется, вся беда, да и все счастье.

*(Продолжение следует)*



---

---

ЮРИИ БОНДАРЕВ

★

## ТИШИНА

Роман \*

Глава десятая

**Я** пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас. — Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения... Капитан запаса? Так. Ну что ж... За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.

— И только-то? За этим вы меня и вызвали?

Был Сергей сдержан, корректен, но настрожен, говорил медленно.

— Вас не устраивает? — Майор милиции внимательно глядел на кончик пера. — Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека — за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?

Майор был молод, розовощек, холоден, на ранней лысине ровно начесаны волосы; сидел он, крепко расставив локти, за столом, отгороженным от Сергея деревянным барьером. Неприязненный голос, отчужденно официальное лицо его не вызывали в Сергее желания доказывать свою правоту. Видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил лишь фактам, а не словам, как верит большинство людей. И Сергей сказал сухо:

— Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.

— Так, значит? — Майор бросил ручку, вложил пальцы меж пальцев. — Так... Не больны, гражданин? Или думаете: милиция — игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! — обратился он к милиционеру, стоявшему возле дверей с хмурым видом. — Ему штрафа мало, ему суд подавай. Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?

— Я понимаю, что говорю, — сказал Сергей. — Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить...

— Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени... Кажется, все ясно, — служебным тоном перебил майор и придвинул раскрытую папку, взял ручку. — Благодарите судьбу за сча-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

стливую звезду. Этакую несерьезность своротили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.

В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появились сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего на десятки других дел; и Сергей с ясностью понял это — и все сразу стало мелким, унижительным и неприятным.

— Хотел бы вам сказать, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке, — уже нехотя сказал Сергей. — И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!

Он вышел на улицу, шагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и белизна солнечной мостовой, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми бойко торговали на углах, — все было предпразднично на улицах. «Что ж, — думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором. — У меня свои счеты с Уваровым. Это мои личные счеты! Еще ничего не кончено...»

Он сел на автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда, по рекомендации Константина, несколько дней назад подал документы.

Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возникло на минуту. Но лишь вышел он из одноэтажного — в конце двора — домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул себя.

Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком пошел до Зацепы по каким-то неизвестным ему переулочкам. В безветренном воздухе зимних сумерек падал редкий снежок, легко и шекотно скользил по лицу, остужал. В позднем закате розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, с тропками меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.

Мальчишки в глубине узких переулков скользили на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в тихие переулки как из-за тридевяти земель.

Сергей остановился на углу возле вывески фотографий.

Фотографии незнакомых людей тянули его — чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы — стоят, сжав друг другу руки.

Задумчивое лицо молодого капитана рядом с завитой, в мелких колечках головой девушки с застывшим взглядом. Сергей стоял, угадывая характеры этих людей, их судьбы, их покой. Кто они? Где они? Кого они любили или любят?

«Что же я, несчастлив? — думал он. — Не то слово — «несчастлив»... Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться — счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»

#### Глава одиннадцатая

— Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!

Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнувшей зимней улицей шинели.

— Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.

— Кто же у тебя? — обняв и не отпуская ее, спросил Сергей. — Кто у тебя?

— Идем, — повторила Нина, — в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там...

Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя, внезапно остановился: тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте. Сергей быстро обернулся к Нине, проговорил растерянно:

— Кто это?

— Сережа!.. — испуганно сниженным голосом воскликнула Нина. — Это Таня, познакомься, пожалуйста, — уже в полный голос сказала она и стремительно подошла к женщине, выпрямившейся на тахте. — Это Сергей!

— Мы знакомы, кажется, — сказал Сергей.

Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, жалко плачущее лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане тихонько вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него тогда при виде ее заплаканного лица.

— Здравствуйте, — официальным тоном произнес Сергей. — Я не хотел бы...

Она скинула подбородок, губы внезапно перекошились.

— Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста... Я не могу! Не могу слышать...

— Я извиняюсь не перед ним, а перед вами, — сказал Сергей, хмурясь.

— Вы... вы молчите лучше!..

Она встала, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, бросила ненавидящий, прижмуренный взгляд на Сергея, на Нину и, кусая губы, вдруг кинулась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она торопливо протолкнула руки в рукава, накинула платок, оглянулась затравленно.

— Удивляюсь тебе, Нина!

И выбежала, стукнув дверь в коридоре, в передней.

— О господи! — со вздохом проговорила Нина и опустилась на тахту, сжав ладони коленями. — Как странно все, господи!

Сергей стоял возле, не снимая шинели.

— Что это? — спросил он после молчания.

Нина взглянула на него умоляюще, по лбу пошли морщинки, потом встала и щелкнула ключом в двери, сказала виновато:

— Не дуйся, слышишь?

И не приближаясь к нему, подошла к зеркалу и, передразнивая его, нахмурила брови, потом, наклонясь и надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, отойдя осторожно, глядя на него в зеркало, сказала тихо:

— Ну посмотри... — И улыбнулась. — Ну иди и посмотри на себя... Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня — моя подруга, еще с института. Это тебе ясно?

Она подошла и с уверенностью сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту возле себя.

— Ну что тут особенного? Вообще я не люблю объясняться, доказы-

вать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?

Он сказал:

— Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?

— Нет! — решительно ответила она. — Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан — так это было. И! больше ничего... Ну, хватит, пожалуйста! Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.

— Я хочу, чтобы все было ясно.

— А именно?

— Потому что просто хочу ясности.

— Какой ясности, Сережа?

— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Мне непонятно. Неужели война делает людей жестокими?

Он спросил, не отвечая ей:

— Нина, кто были те, в ресторане... с тобой?..

— Это были мальчики, Сережа, — сказала она протяжно, — мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты... Просто не такие. Они не воевали...

— Но ты ведь меня не знаешь.

— Я догадываюсь. А разве — ты меня знаешь, Сережа?

Они помолчали.

— Ты всегда такая? — спросил он неловко. — Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.

Она с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? — Нина строго свела брови над переносицей, покосилась на Сергея, сказала хриловатым голосом: — «У вас, товарищ Сидоркин, опять лотки не в порядке? Где ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!

Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он с любопытством наблюдал за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, притянув ее за плечи, сказал:

— Услышишь твой голос — и хочется встать «мирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.

— Как иногда мы все ошибаемся! — проговорила Нина. — Нет, ты меня не знаешь.

— Я просто подумал: что ты любишь и что ненавидишь? Подумал — не знаю почему.

— Я ненавижу то, что и ты.

Откинув голову, она взглянула на него через силу спокойным взглядом.

— Я до сих пор ненавижу громкий стук в дверь.

Встав, она шагнула к двери, подняла руку и, точно прислушиваясь, постучала медленно, негромко, три раза, повернулась к Сергею, проговорила:

— И голос: «Откройте, почта!..»

— Почему?

— В войну мне принесли две похоронки. И обе — ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?

— Да.

— Что же ты не понимаешь во мне? — спросила Нина с досадой и говорила: — Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я

платья и туфли,— это тебе понятно? Мне не так легко жилось... И живется...

Она снова села на тахту рядом с ним.

— Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? — Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятно грубой штетки, проговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней:— Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..

Она потерлась щекой о его подбородок и молчала.

Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, все громче, и Сергей не сразу понял — тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и ровно отсчитывая. И, на секунду ясно ощутив тишину в комнате, Сергей подумал, что что-то придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал,— и, подумав так, он почувствовал дыхание Нины на своей шее, неожиданно услышал ее голос:

— Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...

— Нет...— сказал он.

— Я поняла.

— Меня не могли убить на войне.

Она прижалась к нему молча и замерла так, глядя через его плечо.

— Подожди. Ох, иногда как страшно подумать...

— Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.

Не ответив ему, она поднялась с тахты, подошла к окну и отдернула занавеску. Подышала на стекло, потерла пальцем скрипучий иней, сказала:

— Как ты думаешь жить, Сережа? Дальше...

— Я тебе говорил — шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.

— Ты можешь быть и шофером,— сказала Нина.— Но я знаю, в Горном институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. Я кончала этот институт.

— Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок.— Сергей усмехнулся.— Не усижу за партой. А что это — шахты?

— И шахты.

— Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?

— Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов,— сказала Нина.— Seriously, без экзаменов. Ты подумаешь... Я не хочу тебе ничего советовать.

— Я сейчас не хочу об этом думать... Я просто не могу.

Он встал и притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штетки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.

— Не знаю, что же это...— проговорил он неровным голосом.— Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто такая. И вообще — что происходит?

— Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа.— Она улыбнулась.— И больше ничего.

— Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю,— сказал Сергей намеренно шутливым тоном.— Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?

— Нет.— Она, смеясь, тряхнула головой.— А кто ты такой?

— Кто я? Бывший командир батарси, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.

Она, не смеясь уже, проговорила после молчания:

— Это я знаю. А дальше?

— Что ж... Значит, ты сама не знаешь, что это такое...

— А если это нельзя?

«Что я говорю? Зачем стал говорить об этом?»— подумал он с мгновенно возникшей тревогой, однако преувеличенно спокойно проговорил:

— Значит, ты меня не очень любишь, а?

— Сережа-а,— шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в лицо.— Я тебя вот так...— И наклонилась, чуть прикоснувшись губами к своей руке.— Не понял?

— Нет.

— Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?...— проговорила она, тронув пальцами борт его пиджака.

— Я этого хочу.

— У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла...

— Почему ушла?— спросил Сергей тихо, следя за ее пальцами, теребящими борт его пиджака.

— Не будем портить друг другу настроение.— Ее пальцы уместились на его рукаве, погладили его с ласковостью.— Ты же не изменишь свое отношение ко мне?

— Я просто этого не знал,— сказал Сергей вполголоса.

Два часа спустя он возвращался домой; он шел один по улице, ночной, безмолвной, с темными окнами; сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет, чудилось, накалял воздух холодом.

«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас,— думал он.— Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо... Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне...»

#### Глава двенадцатая

Константин, увидев Сергея на трамвайной остановке, затормозил грузовик, торопясь, опустил стекло, махнул рукой из кабины.

— Куда тебя несет? Тысячу лет тебя не видел! Садись!

— А ты куда? Привет шоферам!— Сергей залез в кабину, пахнущую теплым маслом, сбоку вопросительно взглянул на Константина.— Кажется, не виделись неделю? Как жизнь?

Константин, в короткой кожанке, лицо непривычно сосредоточено, сказал с усмешкой:

— Кой там неделю! Куда исчез? Заходил раз десять! Ася в расстроенных чувствах: дома нет. В чем дело? Женщина?

— Чувствуется служба в разведке.

— Кто она?

— Помнишь ту, с которой я танцевал в «Астории»?

— Ох ты!.. Вздернутый носик? Неужто она? Когда представишь?

— Когда захочешь.

— Принято. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте компанию. Дым коромыслом, милые люди. Приходи с ней. Но ты все же меня забыл, бродяга! Забыл вдрызг! Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?

Он со скрежетом передвинул рычаг, насупленно покусал усики. Машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов; подсакивая, трясся, гремел кузов.

В воздухе сыпалась изморозь. Задумчиво откинувшись на сиденье, Сергей смотрел на торопливо шелкающий по стеклу «дворник». Констан-

тин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом:

— А, Сережка? Вдребезги?.. Все вниз макушкой? Стойка на лысине?

— Если есть время, давай на Большую Московскую. Мне туда,— сказал Сергей.— Если нет, слезу.

— Вот ты уже откололся!— крикнул Константин, вглядываясь через стекло.— Ты уже... А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много. Их почти нет! Сейчас к ней?

Сергей хорошо знал: то, что он должен был ответить, будет обидным для Константина; он также знал, что особенно обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы, и этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако он еще сам не представлял ясно, что такое подготовительное отделение, Горный институт, о котором все время говорила она. Это неизвестное и новое вызывало лишь любопытство у него. Сергей проговорил нетвердо:

— Сейчас на Большой Московской ты сойдешь со мной, и мы посмотрим. С гобой, понял. Костька? Ты куда едешь, на базу?

— Что посмотрим? Что ты из меня лепишь?— Константин с силой нажал на завизжавшие тормоза, полуобернулся.— Я зачем?

— Останови возле бульвара.

— Не понял. Я зачем?

— Останавливай,— спокойно приказал Сергей.— Зайдем в одно заведение. Посмотрим.

На худощавых щеках Константина набухли желваки, но тотчас с независимым выражением он остановил машину возле бульвара. Потом сдернул рукавицу, бросил папиросу в рот и первый прыгнул на мостовую.

— Ну? Без пол-литра не разберешься?— произнес он выжидающе.— А дальше?

— Пошли.

Это была тихая улица Москвы, с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром.

— Где здесь... подготовительное отделение Горного института?

Они поднялись на второй этаж. Коридоры института были пустынные, солнечны, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света, справа тянулись двери с незнакомо академичными надписями: «Аудитория № 1», «Аудитория № 2». Одна из дверей приоткрыта. В щелку тек красиво бархатистый профессорский голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренной формулами. И сразу повеяло на Сергея чем-то приятно знакомым, как четыре года назад в полузабытой школе перед экзаменами.

— Понял?— сказал он.

Константин с папиросой в зубах заглянул в аудиторию, приложил ухо к щели, пожал плечами.

— Синусы, косинусы, тангенсы. Боже мой, убийство днем! А что, из них можно шить костюм? Ты мене не пуж-жай, а скажи — я уважаю образцованность!

— Прекрати к черту! Где здесь... подготовительное?

Навстречу по коридору шел прыгающей походкой очень высокий, худой, в длинном пиджаке, с длинной шеей человек, сутулясь, как все высокие люди. Лицо молодое, нервное, в маленьких зорких глазах — строгость.

— Направо. За угол. Вторая дверь,— сказал он, уставив подбородок на Константина.— Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изо-

бражуете из себя горняка! Бросьте папиросу! Не курить! Зарубите на носу: здесь не фронт, не атаки, не «ура», а Гор-ный инсти-тут... Шагом марш!

И, наклоня шею, двинулся дальше, в солнечные полосы коридора.

— В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали,— заметил Константин и не бросил, а упрятал папиросу в ладонь.— Куда попали, бож-же мой! В филиал зоопарка?

В небольшой комнате деканата — сдержанный говор и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые с виду парни в шинелях, в старых, с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, стояли возле столика. За столиком — свежее личико белокурой девушки-секретаря; личико это взволнованно, взгляд мечется по сапогам, по шинелям с выражением неуверенности.

— Товарищи, товарищи, всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала: подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи, все в Горный институт бросились? Мало институтов? Приходите завтра с документами: аттестат или справка об образовании, биография... Ну, и все остальное.

Сергей не знал точно, что это за понятие «декан» (слово звучало академически), однако сейчас же понял, что делом приема занимается именно декан, и спросил громко, с излишней уверенностью:

— Кто последний к декану?

На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в солдатской шинели с нелепо пришитым заячьим воротником, сидя на диване, расплылся широким, каким-то белесым радостным лицом, выкрикнул приветливо:

— Я крайний. За мной, кажись, никого.

— Деревня! — вполголоса сказал Константин. — А ну, подвинься, «крайний»! Еще в институт, как паровоз, прешь! Сэло, сэло!

— А я тебе что? — забормотал круглолицый, подвигаясь. — А ты зачем ругаешься?

Тотчас секретарша с растерянным личиком поднялась от стола, глядя на Константина, сказала:

— Я предупредила, товарищи. Всех декан не примет. Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие... Вы слышали?

— Милая девушка, мы подождем,— игриво ответил Константин.— Как видите, нас — рота.

— Вперед! Пополнение прибыло! Давай вливайся в нашу роту, братцы!

Вокруг засмеялись охотно.

Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола; смелые золотистые глаза глядели прямо, дружески, нос с горбинкой, в зубах пустая трубка с железной крышечкой; посасывая трубку, спросил Сергея с любопытством:

— Из каких родов?

— Семидесятишестимиллиметровая. Дивизионка.

— Тю, земляк!

На трубке вырезана голова Мефистофеля — змеиные волосы, зловещие брови, узкая борода; трубка была трофейная; такие не раз попадались Сергею на фронте.

— С Первого Украинского,— сказал Сергей и также с любопытством спросил, указывая взглядом на трубку: — Дейтше, дейтше юбер аллес?

— Яволь.— Танкист вынул трубку из зубов.— Где закончил? В каком звании?

— В Праге. Капитан.

— Ого! — Танкист удивленно козырнул, поднеся руку с трубкой к виску. — Нахватал чинов! Лейтенант Подгорный, командир тридцать-четверки. В Карпатах под Санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко...

— Кто кому прокладывал, не будем уточнять. Особенно в Карпатах, — сказал Сергей. — Если помнишь Санок, то не будем.

— Не будем! — блеснул глазами Подгорный.

— Земляки-и! — насмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и танкистом. — Дело доходит до лобызания. Братцы! — в полный голос сказал он. — Кто хочет лобызаться, ко мне! Я тоже с Первого Украинского!

На него не обратили внимания. Вокруг Сергея и танкиста сгрудилось несколько человек в шинелях, кто-то спросил весело:

— Кто сказал с Первого Украинского, тому жменя табаку дам.

— А с Третьего Белорусского? Есть?

К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате; под ним на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново-накаленный морозом треугольник кожи. Весь этот слитый из мускулов, в огромных клешах паренек заметно выделялся среди армейских шинелей, и выделялся особенно своими пронзительно синими глазами.

— Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков! Ну, кто?

— Морячок как будто нема, — сказал танкист, посасывая трубку и оглядываясь. — Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля.

— Вижу, — кивнул морячок. — Ориентиров нет. — И поднял светлые глаза, уставясь на трубку танкиста. — У тебя много таких дьяволов, лейтенант?

— Пара.

Перевалясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата, сделал лицо загадочным.

— Махнем, как после войны, на голубом Дунае? Есть?

— Махнем, как в Праге.

Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар с зажигалкой, протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку. И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, парком над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения. Спросил, обращаясь к секретарше:

— Так, говорите, девушка, декан всех не примет?

Из-за столика она смотрела на них, с изумлением подняв плечики.

— Товарищи, это просто какой-то клуб! — проговорила она. — Я же сказала: всех — нет.

— Накурили! Дым коромыслом! Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?

— К вам, Игорь Витальевич... Я предупреждала... Я говорила.

В дверях стоял, почти касаясь головой притолоки, очень высокий человек в длинном пиджаке, тот самый, с нервным лицом, которого встретили в коридоре; зорко оглядел, пригнувшись, комнату, указал пальцем на морячка с трубкой.

— Почему дымите, как труба? Вы кто — журналист, корреспондент. Илья Эренбург? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить в Горный институт, запомните: курить бросать! Горняк — это жизнь под землей. Сколько вас тут? Взвод? — И не ожидая ответа, неуклюже и решитель-

но махнул длинной рукой.— А ну, заходите в кабинет. Все! До одного! Выясним отношения!

В кабинет, расплосованный лучами солнца, с высоким окном на бульвар, вошли с осторожным шумом, шаркая сапогами, расселись на кожаных креслах, на стульях вокруг стола. Озирались на стены с разрезами шахт, с чертежами врубовых машин, глядели на модель отбойного молотка на столе — все здесь отдаленно напоминало Сергею кабинет матчасти военного училища. Константин толкнул Сергея ногой, смешно скривил щеку, будто зуб болел, прошептал:

— Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в два часа быть, как часы. Закон. А я тут болван болваном. Ужасаюсь твоей наивности.

— Езжай,— сказал Сергей.

— Нет уж! — Константин покосился на стены.— За друга готов я хоть в воду...

Декан потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал молоток, изучающе посмотрел на пальцы: есть ли пыль? Значительно повернул ко всем табличку на столе: «Курение для шахтера — вред».

— Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? — внезапно четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком.— Это что ж, по-фронтовому?

— Совершенно верно,— смиренно ответил Константин.

Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, оперся на них подбородком.

— Так вот какие пироги. Подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали Горный институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей — каменноугольная пыль, мокрые забои, газ метан. Грохот. Все время грохот, шум конвейера, машин. Частенько — жизнь в медвежьих уголках. За тридевять земель. И все время опасность, риск — бывают завалы и подземные пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? А? Есть? Молчите? Так вот...

Декан отнял руки от подбородка, с торопливостью оглядел себя, щелчками сбил пылинки мела с бортов пиджака. Его руки были в постоянном движении.

— Так вот. Другое дело — бухгалтер. Отработал восемь часов — портфель под мышку, а дома жена, горячие щи и не кровля, а крыша над головой. Хочешь — жену под руку и в кино, хочешь — валяйся на диване с газеткой, слушай радио. А? Заманчиво? Весьма! — Декан одернул галстук, привалился грудью к столу.— А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя! Только насел на щи, тут тебе звонок: бросай щи, беги в шахту — конвейер остановился. Только жену собрался поцеловать, ан нет — стук в дверь, телефонные звонки, паника: завал! Ну как, радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке, что вас манит в Горный институт, что греет? Какое солнышко?

Константин, по-прежнему положив ногу на ногу, глядя на кончик покачивающегося сапога, переспросил:

— Меня лично, товарищ декан?

— Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот.

— Очень приятно, Игорь Витальевич,— вежливо наклонил голову Константин.— Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит.

— Не манит? — переспросил Морозов. — Вас? Лично? Не манит? Прекрасно!

Он выпрямился за столом, чуть поднял голову на длинной шее, внезапно стремительно указал в сторону двери.

— Тогда прошу вас выйти немедленно! И взять у секретаря документы. Если вы их сдали!

— Спасибо. Но я не сдал документы. — Константин встал, воспиганно и невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо: — Хрен с тобой. Я все же подожду тебя. Пропадай база!.. Прошу прощения, Игорь Витальевич.

И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, независимо покачивая широкой спиной.

Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея, в золотистых глазах заиграл отчаянный огонек; локтем толкнул морячка. Морячок вытер рукавом бушлата трубку, открыл крышечку, шелкнул ею и снова шелкнул, будто играл. Парнишка в шинели с нелепым заячьим воротником — белесое круглое лицо его было влажно — глядел на декана, испуганно, уважительно мигая.

И в эту минуту Сергей отчетливо понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам.

А Морозов четко говорил, пальцем постукивая по краю стола:

— Смеем заметить, профессию выбирают, как жену, один раз. И на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому: открываются подготовительные отделения в Строительном и Авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более, что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?

Он задержал взгляд на морячке.

— Косов. Григорий. Разрешите вопрос?

Морячок, оттолкнувшись от кресла, поднялся, прочно расставил ноги — носки ботинок накрывали огромные клещи, — и, когда заговорил, заметно напряглась грудь под расстегнутым бушлатом, синие глаза смотрели с усмешливой недобротой.

— Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?

— Мое имя, отчество Игорь Витальевич. Декан — не военное звание. Я воевал две недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем. В Караганде. Вопрос не исчерпывающ. Но добавлю: в этой войне, Косов, воевали все, и я не разрешу прикрываться шинелью, как броней. Так-то. И никаких поблажек. И никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!

— Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения? — простуженным, низким голосом спросил Косов. — Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?

— Конкретнее! — перебил Морозов. — Вас устраивает профессия горняка?

— Конкретнее, при всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу! — договорил Косов и сел крепко, плотно, сунул трубку в рот, откинул борт бушлата.

— Благодарю вас. Вы можете идти, Косов, — сказал Морозов.

Косов произнес твердо:

— Я посижу.

— Ну что ж. — И Морозов быстро обежал взглядом комнату, спросил: — Все разделяют точку зрения Косова? Все будет стучать

кулаком по столу? Все будут требовать? И звенеть медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о «тыловых крысах», о «тыловых бюрократах»? Вот вы, что думаете вы? — Декан мотнул головой в сторону Сергея. — Ну, ну! Давайте!

Было декану лет за тридцать, на бледном лице морщинки утомленности; его манера говорить и неприязненно отталкивала и в то же время притягивала: все менял взгляд — подчас иронически умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев короткий жест Морозова в свою сторону, ответил:

— Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать. Почему же не требовать?

— Вы будете требовать?

— Я — нет, — сказал Сергей уже спокойнее. — Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали: есть другие подготовительные отделения. Мне все равно.

Он не лгал ни самому себе, ни Морозову, но, сказав это, увидел повернувшиеся к нему с удивлением лица и вдруг почувствовал, что будто разрушил что-то.

Морозов колюче спросил:

— Зачем вы пришли сюда?

— Из любопытства. Узнать.

— Адрес подготовительного отделения Авиационно-технологического института: Москва, Земляной вал. — И Морозов движением головы указал на дверь. — Вы свободны. Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть. Много проясняется. Так. Прекрасно. Великолепно, — заговорил он размышляюще. — Так, прекрасно, — снова повторил он, барабанив пальцами по столу.

— Я говорил только о себе, — пояснил Сергей.

В комнате — молчание. Потоки солнца лились в окна, и потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова. Пальцы его все барабанили по краю стола. Всем был слышен их стук.

— Нет, нет, не слушайте их! — внезапно из глубины комнаты раздался похожий на петушиный вскрик голос, и вскочил в углу парнишка с заячьим воротником на шинели. Вскочил, ладонью махнул по сразу вспотевшему носу, с растерянной озлобленностью вытаращил глаза. — Это что же? Все тут говорят?.. Героев из себя ставят! А сами небось... Кулаками, ишь, будут стучать! Знаю таких! А я из Калуги... Пусть они не хотят. А я хочу! У меня отец на шахте...

Оборвав бестолковую свою речь, парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, договорил оттуда:

— Морковин моя фамилия.

— А я бы с тобой, мальчик, в разведку бы вдвоем не пошел! — невнятно, не вынимая трубку изо рта, произнес Косов.

— Та у него ж мыслей гора, — сказал с иронией Подгорный.

— А я — с тобой! Пусть я не воевал! — с петушиной колючестью выкрикнул из угла парнишка с заячьим воротником. — Вы здесь не командуйте! Думаете, только вы воевали!

Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику с карандашами. С лица его сошла серая усталость, оно оживилось.

— Так! Все ясно. Все хотят курить? Озлобились, не куривши? Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить — голова распухнет! А ну, у кого табак?

Он угловато, по-мальчишески выдвинулся из-за стола, вытянув шею, выискивая, у кого бы взять папиросу, сейчас же перевернул объявлении-

це перед чернильным прибором — исчезло «Курение для шахтера — вред», появилась надпись «Можно курить». Вытянул у кого-то из пачки дешевую папиросу, удивленно спросил:

— Гвоздики курите? Не богато, но зло!.. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра.

И, закашлявшись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистойшую пепельницу, замахал рукой, как веером, разгоняя дым,скомандовал:

— А ну, курить в коридор! Марш!

Сергей вышел.

В приемной Константин, уже по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, таинственно рассказывал что-то (видимо, «выдавал светский анекдот»). От улыбки полукруглые бровки секретарши напоззли на лоб; но тотчас, заметив выходящих из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала шепотом Константину:

— Оставьте меня смешить.— И взяла из его рук линейку.

— Я вас приветствую, Людочка! До встречи! — Константин запахнул куртку, победно щелкнул молнией.

«Очередной флирт»,— подумал Сергей и сказал:

— Поехали, Костыка. Все.

Когда вновь прошли тихие, с запахом табачного перегара институтские коридоры и вышли из подъезда на студенький декабрьский воздух, Константин с нетерпением сплюнул, хохотнул:

— Ну, цирк! И что ж ты решил?

— Это сложное дело.

— А именно? — настойчиво повторил Константин.

Сергей молчал.

— Запутал ты все, Сережка,— недовольно заговорил Константин, садясь в кабину,— то, се, пятое, десятое. Сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе, шофером денег не хватило бы?

— Хватит убеждать! — оборвал Сергей.— Как-нибудь сам разберись.

Замолчали. Константин включил мотор.

#### Глава тринадцатая

— Тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя... фифочка.

— Нужно говорить сразу. А не расспрашивать кто и что.

— Возьми трубку, а то брошу.

Ася недовольно передернула плечами, видя, как он повернулся спиной. тихо сказал в трубку «да»; и в спине его, в чуть оттопыренных светлых волосах на затылке, и в голосе было что-то настораживающе новое, чужое, незнакомое ей, будто Сергей обманывал всех и обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, попросивший: «Пожалуйста, Сергея».

— Его спрашивает женщина, радуйтесь! — Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито одернула джемпер.— Вы ее знаете?

— Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены, есть? — невозмутимо сказал Константин. с небрежностью листая толстый учебник по литературе.— А ну, Евгений Онегин — продукт какой эпохи?

Был новогодний вечер, сильно пахло в комнате хвоей — свежим негородским духом леса, наступающего Нового года.

Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробки с игрушками, вытащила из одной огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место, куда повесить его.

— Какой еще экзамен? — спросила она строго.

Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен, модные тупые полуботинки, носки в полоску — весь праздничный, гладко выбритый, пахнувший одеколоном. Положив ногу на ногу и на колено учебник, он хмыкал, взглядывал на Асю загадочно.

— Значит, продукт какой эпохи? А, Ася Вохминцева? Продукт кр-репостничества... А? Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость.

В этот новогодний вечер был Константин в отличном расположении духа, говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его с возмущением.

— Сами фронтовики, а разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном... Евгении Онегины какие нашлись — рестораны, компании, дома не бываете! Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите? Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым? — спросила она, темнея глазами.

И Константин, удивленный, пригасил улыбку медленно.

— Ненавижу деньги, Ася... Но без денег — пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного, обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?

— Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что. — Ася осторожно покосилась на дверь, из-за которой доносился ровный голос Сергея. — И он разрядился, без конца носит новый костюм. Это вы влияете?

— О, Ася, нет! — Константин покачал головой. — На Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь. Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за четыре года. Но хорошие ребята, понюхавшие пороху, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Эх, Асенька, вы другое поколение. Мы — отцы, вы — дети. Вечный конфликт. Вы в восьмом классе учитесь?

— Вы всегда шутите, всегда цинично говорите! И распускаете хвост, как павлин! — заговорила Ася быстро. — Вон усики какие-то противные отпустили, для цинизма, да? Фу, противно смотреть, и бакенбарды косые — все, как у парикмахера! Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?

Он, закуривая, вопросительно поднял голову, в упор встретился с ее огромными, нелгушими, черными, чуть раскосыми глазами, ответил:

— Мою физиономией не так трудно высмеять, Асенька.

И рукой, в которой была сигарета, подпер подбородок, некоторое время спрашивающим грустным взглядом смотрел на Асю, наконец сказал:

— За что же вы меня так ненавидите, Ася? — И еще раз спросил: — Вы меня очень ненавидите? За что?

Она, не отвечая, независимо откинув голову, стала ходить вокруг елки, все еще держа блестящий шар, поднималась на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви руками, угловатая и неловкая, в очень широком зеленом джемпере. И Константин со вздохом поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность, оттого что она молчала, сказал, дружески улыбаясь, желая разрушить ее непонятную неприязнь к нему:

— Дайте я повешу, Асенька, у меня длиннущие руки. И улыбнитесь, пожалуйста. Девочкам не идет хмуриться, ей-богу!

— Уйдите! Я вас не просила!

Она отдернула вместе с шаром руку, спрятала за спину, и Константин, точно натолкнувшись на что-то острое и жесткое, помолчал озадаченно, приложив палец к усикам.

— Что ж, Асенька... У вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?

— Как вам не стыдно! Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю! — опять быстро заговорила она, держа руку за спиной. — Мы получаем хлеб по карточкам. Все получают, а вы мандарины приносите! Откуда они у вас? Быков дал? Я видела... видела, Быков утром мандарины на кухне мыл! Вы у него взяли?

Константин взглянул на маленький чемодан с мандаринами возле елки — мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка — и развел руками, блеснули запонки на манжетах.

— Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. За что вы меня упрекаете?

Она перебила его:

— Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди, а у вас откуда? Значит, вы нечестно живете! Разве шофер столько денег получает? Нет, нет, я знаю! Если бы папа узнал, что вы принесли! — Она кивком указала на чемодан. — Он бы вас выгнал!..

Все лицо ее истощало брезгливость, презрительно опустили края рта. Она, мотнув волосами, отвернулась, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом:

— Не ходите к нам больше! Поняли?

— А-а-а, — жалобно проговорил Константин. — Зачем резкости?

Нарочито громко вздыхая, он стоял позади ее с непонимающим видом и, пытаясь нащупать путь примирения, удивленный ее злой прямой, не знал, как говорить с этой девочкой.

Он услышал голос вошедшего в комнату Сергея: «Н-да, черт побери!» — увидел, как он рассеянно, хмуро похлопал себя по карманам, достал папиросу. Константин сел на диван, откинулся, говоря:

— Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону? — спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней и сразу же понял — говорить этого не стоило.

— Ася, выйди в другую комнату, — непререкаемым тоном приказал Сергей и сделал несколько шагов от буфета к дивану. — Ну, что ты стоишь? Выйди. У нас мужской разговор, — повторил он резко, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея вздрагивала худенькая в широком джемпере спина молчавшей Аси, как опутились руки ее и наклонялась тонкая шея.

— Давай мы оба выйдем, поговорим в коридоре, — миролюбиво предложил Константин, вставая шумно.

И тотчас мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси — подбородок прижат к груди, глаза опущены, — и дверь в другую комнату хлопнула, оттуда донесся непримиримый голос:

— Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином! Понятно тебе? — И все стихло там.

Они переглянулись.

Чуть пожав плечами, Сергей в новой праздничной сорочке, с новым галстуком, съехавшим набок, прошелся по комнате, сказал все так же резковато:

— Все не так, как задумано! Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом, кто-то там хочет видеть меня. Люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно! — Сергей сунул руки в карманы, круто повернулся на каблуках, поторопил: — Ну? Не раздумывай! Звони в свою компанию, скажи — не будем. Поедем к Нине. — Сергей вынул руку из кармана, взял Константина за локоть, подтолкнул к двери. — Давай!

— Решил. Серега, за меня? Как в армии?

— А что тут решать!

— Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию? — поинтересовался Константин, пощипывая усики. — Спросил, куда моя душа тянет — в ту компанию или в эту? Или эгоизм разъял уже и твою душу? А, Серега?

— К черту, еще будем разводить нежности! — с досадой проговорил Сергей. — Решай по-мужски: туда или сюда?

— Сюда. Конечно, сюда! — Константин кивнул, проведя пальцами по кирпично заалевшим скулам. — Поедем. — И добавил сожалеюще: — Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метро-строевской. Ладно. Снимаю предложение. Поедем к Нине.

— Другое дело, — сказал Сергей. — Звони!

Когда на Ордынке вышли из троллейбуса, когда с чувством радостной свободы вырвались из запаха морозных пальто, из толчеи новогодних разговоров, из окружения уже хмельно оживленных и красных лиц, когда на остановке сошли — вся улица была в плывущем движении снегопада.

На троллейбусной остановке свежая пороша была вытоптана — чернела длинная очередь. Здесь вспыхивали огоньки папирос; компания молодых людей с патефоном, будто укутанным в пушистый чехол, топталась под фонарем, острились, громко хохотали. Был канун 1946 года. И везде — в мелькающих в снегопаде огнях троллейбуса, в окнах домов с красновато-зеленоватым мерцанием горевших в них елок — была особая, праздничная чистота, легкость, ожидание. Редкие прохожие бежали навстречу в побеленных шапках, пальто, неся авоськи со свертками, с бутылками полученного по карточкам вина. И хотелось верить в долгие дни этой праздничной возбужденности и доброты.

— Мне-е в холо-одно-ой земля-нке-е тепло-о, — затынул Константин глубоким басом.

— От твоей негасимо-ой любви-и, — подхватил Сергей.

Огромные окна аптеки на углу были пустынно-желтыми.

Свежие сугробы возле подъездов темнели следами.

Переходили улицу; около тротуара — какая-то изгородь, сплошь забитая снегом, мутно блестел красный фонарь на изгороди. Фигура, укутанная в тулуп, в женском намотанном на голове платке двигалась возле фонаря, лопатой расчищала горбатый навал снега, наметаемого к изгороди. Видимо, замерзли водопроводные трубы, и в эту новогоднюю ночь шли тут работы.

— С Новым годом, мамаша! — сказал Сергей, шутливо козырнув с чувством праздничной доброты ко всем.

— Какая я т-те к шуту мамаша? — густо прохрипела фигура, укутанная в тулуп, выпрямилась, мужское лицо с недовольством глядело из-под платка. — Глаза разуй, поллитру хватил?

— А платок, платок зачем? — захохотал Константин. — У жены напрокат взял? Тебя тут в упор в бинокль не различишь!

— Ладно, ладно! — обиженно загудел тулуп. — Давай дуй, справляй! К девкам небось бежите? Чего хохочете-то, ровно двугривенный нашли? — И, сплюнув себе под валенки, неуклюже метнул облако снега

в сторону тротуара, в сторону длинных полос электрического света, льющихся из мерзлых окон.

Оба снова засмеялись, шагнув на тротуар, в развеянную снежную пыль. Константин, с улыбкой удовольствия стряхнув налипший пласт с рукава кожанки, посмотрел на часы, пропел басом:

— Уж полночь близится, а Германа...— И, ударив Сергея по плечу, заорал: — Мы рано премся! Не люблю приходить до разгара! Далеко топтать?

Когда через темную арку ворот, дующих сквозным холодом, вошли в маленький двор с шумящими на ветру липами, когда Сергей увидел над дымящимися крышами сараев ярко-красное окно в стареньком трехэтажном домике Нины, он с внезапной острогой почувствовал, что связан с этим двором прочно и радостно, как в то тихое утро после проведенной ночи у Нины, когда, проснувшись в ее комнате, он увидел четкие крестики ворон на розовой крыше сарая. И то, что Константин, войдя в Нинин двор, лишь с некоторой заинтересованностью оглядывался по сторонам, не зная того, что чувствовал сейчас Сергей,— буднично отдаляло его и принижало что-то в нем.

— Куда идти? Какой этаж? Однако твоя Ниночка живет не в хоромах...— Константин, задрвав голову, прижмурясь от снега, летящего ему в глаза, оглядывал горевшие во дворике окна.

И Сергей ответил:

— За мной! Не упади на лестнице, наступив на кошку. Лифта не будет!

По полутемной лестнице поднялись на второй этаж, позвонили и, стоя в ожидании под тусклой лампочкой на площадке, услышали из-за двери, обитой клеенкой, смешанное гудение голосов, смех, потом: «Ниночка, звонят!» — и затем побежал к двери перестук каблуков вместе со знакомым голосом:

— Сейчас открою!

Щелчок замка, свет неестественно яркой передней, из квартиры отчетливо вырвались звуки патефона, в проеме двери вырисовывались узкие плечи Нины.

— Вы просто молодцы!

Весело улыбаясь, она протянула руку: «Быстрее, быстрее!..» — и втащила Сергея в переднюю, и в передней, заставленной галошами, женскими ботами, заваленной пальто, он увидел в открытую дверь за ее спиной незнакомые ему мужские и женские лица и, оглушенный хаосом смешанных голосов, на какое-то мгновение почувствовал растерянность оттого, что в этой комнате с ее обычной зимней тишиной было нечто непривычное и новое. И он, пересиливая себя, улыбнулся Нине.

— Ну, раздевайтесь, быстро! Хотя есть время... Сами знаете, мужчины не умеют терпеть, когда стоит вино на столе! Быстро, быстро! — Она засмеялась, подала Константину руку. — Мы еще не знакомы, Нина. Я, кажется, чуть-чуть вас знаю со слов Сергея...

— Костя... Константин. Я тоже чуть-чуть, — попав в луч ее взгляда, произнес Константин, бережно сжал ее пальцы и тотчас вынул из карманов две бутылки вина, поставил их на тумбочку, меж валявшихся кучей мужских шапок, договорил с шутливой галантностью: — Прошу вас, Нина, без ненужных слов. Живем в тяжелое время карточек, лимитов и прочее... А кажется, — он кивнул на дверь, — мужчин здесь хватит. Простите, вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Нина. — Хорошо, идемте. Я вас сейчас познакомлю со всеми.

— Только ни с кем нас не знакомь,— остановил ее Сергей.— Мы сами познакомимся.

Их встретили оживленным гулом, обрадованными возгласами полусутивных приветствий, как встречают даже в незнакомой компании новых гостей; в плавающем папиросном дыму лица повернулись к ним. Очень молодой человек в очках, неудобно сидя у края стола, заплотировал, понимающе косясь на Нину, заорал с ожесточением и азартом:

— Горько!

И в полутени абажура пара, топтавшаяся в углу комнаты под звуки патефона, обернулась с любопытством. И кто-то поднялся с дивана, поднял руку в знак приветствия. Стоя среди движения, шума, Сергей мгновенно понял, что их ждали здесь, в этой, видимо давно знавшей друга друга компании; и он, неприятно оглушенный, скованный шумом, неловко наклонил голову, представляясь всем сразу:

— Сергей.

— Костя, он же Константин,— услышал он голос Константина.

И тут же Нина, встав между ними, спросила: «Все познакомились?» — потом взяла обоих под руки, подвела к столу, поворачивая голову то к одному, то к другому, говоря:

— Мы сядем здесь. Я — посредине. Будете ухаживать оба.— И говорила шепотом: — Видите, я уже многих посадила за стол: негде танцевать. Пусть сидят. Я сейчас. Садитесь! — Она отпустила их руки, с улыбкой скользнула глазами по лицам гостей.— Товарищи геологи и горняки, прошу всех к столу! Мальчики, посмотрите на часы. Свиридов, оставьте патефон и включите радио!

Патефон не сразу смолк. Шипела пластинка. Потом загремели стулья, пододвигаемые к столу, послышались возгласы:

— Пора, пора, терпезу нет! Включить радио!

И сейчас же за столом стало теснее, заколыхались незнакомые лица, девушки со смехом стали разбирать разномастные, собранные со всей квартиры тарелки, парни с бывалым видом пьющих людей взялись за бутылки, изучающе рассматривая этикетки; кто-то потребовал роко-чущим басом:

— Штопор мне, Ниночка, штопор! Дайте мне орудие производства!

— В углу! Сдерживайте Володьку и отберите у него селедку! Сожрет все в новогоднем восторге! — крикнули в конце стола.

Возникло то оживление, когда садятся за стол, и прежней растерянности, появившейся вначале у Сергея при виде этой толчеи незнакомых людей, уже, казалось, не было. Он закурил, поискал глазами пепельницу и не нашел ее рядом, но тотчас сосед справа, парень в очках, некстати заоравший давеча «горько», подвинул к нему чистое блюдечко, сказал решительно:

— Сойдет! В этой компании — сойдет, верно, Сергей?

Был он навеселе — видимо, выпил перед тем, как идти сюда,— и был пьян смешно, как-то неряшливо, очки странно увеличивали его по-мальчишески косящие глаза, а лицо, худое, с острым носом, имело обалделое выражение.

— Я вас знаю и понимаю! — сказал он с категоричной хмельной прямоотой.— Огонь, дым, смерть... и студенческая скамья, карточки и профессора в пальто на кафедре. Поколение, выросшее на войне, и поколение, выросшее в тылу. Вы — воевали, мы — учились. Два разных поколения, хотя разница в годах... с воробьиный нос. Вы презираете наше поколение за то, что оно не воевало?

— Пожалуй, нет,— сказал Сергей, подвигая блюдечко к парню в очках.

Локоть парня, как по льду, оскальзывался на краю стола, пепел с папиросы сыпался в тарелки.

— Бросьте! — Парень в очках взъерошился, хлопнул несильным кулачком по столу. — Поколение, испытывавшее дыхание смерти, не может быть объективным к тем, кто не воевал! А я не воевал!

Стекла его очков ядовито сверкали, Сергей с интересом глядел на него.

Парень пьяно помахал папиросой перед своим носом.

— Откровенность за откровенность.

— Только на равных началах. Вы уже громите стол кулаком. Равенства нет, — ответил Сергей. — Вы меня запугиваете.

Взрыв смеха раздался за дальним концом стола — разговор, видимо, был слышен там. И удивленный вниманием к себе, Сергей поднял голову и сразу увидел в полутени абажура, среди молодых возбужденных и смеющихся лиц. чье-то очень знакомое лицо — оно кивало ему. И рядом было женское лицо, которое искоса смотрело в направлении Сергея с вымученной гримасой.

«Уваров? Он здесь?» — мелькнуло у Сергея, и пальцы его смяли, стиснули сигарету. Было что-то противоестественное в том, что, войдя в эту комнату, он сразу не заметил их — Уварова и его девушки, кажется, ее звали Таня... И еще большая противоестественность была в том, что, зная друг о друге то, что не знали другие, они сидели за одним столом. Уваров, усмехаясь, кивал ему сейчас, и он, нахмурясь, все сильнее стискивал сигарету в пальцах.

— Тиш-ше!

— Радио, радио включите!

— Петька, поставь бутылку, кто открывает вилкой?

— Ша, пижоны, как говорят в Одессе!

Крики эти, смех, толчея в комнате уже проходили мимо, не касались сознания Сергея. Он, соображая, что ему делать, видел, как Уваров ножом, с шуточной требовательностью стучал по бутылке. Он устанавливал порядок на своем конце стола, и две девушки, сидя напротив Уварова, что-то весело говорили ему через стол, а он отрицательно качал головой.

«Что это? Зачем это? Как он здесь?.. — спрашивал себя Сергей. — Его знают здесь?» — соображал он, ища решения, и, медленно затувив сигарету в блюдечке, глядел пристально на обуглившийся окурочок, не подымая глаз.

Услышал удивленный шепот Константина над ухом:

— Ты ничего не видишь? Куда мы попали, маэстро? Ты видишь того хмыря, ресторанного? Твой фронтовой дружок? Что происходит?..

— Сиди и молчи, Костя, — вполголоса произнес Сергей.

— Так что ж вы замолчали? — просочился сбоку из папиросного дыма нетерпеливо задиристый голос, и к Сергею придвинулось лицо парня в очках.

— Мы разве с вами не dospорили? — плохо понимая смысл своих слов, ответил Сергей. — Кажется, все ясно.

В это время возник жестковатый голос:

— Прошу прощения, разрешите с вами лично познакомиться?

Сергей обернулся. За его спиной стоял невысокий старший лейтенант средних лет, лицо сухое, болезненно желтое, с впалыми щеками. Новый китель аккуратно застегнут на все пуговицы, свежий подворотничок педантично чист, темные глаза с цепкой колючестью глядели прямо; левой рукой он опирался на костылек.

— Свиридов. Рад познакомиться с фронтовиком. Тем более — со своим будущим студентом.

— Не понимаю.— Сергей встал, почувствовал, как плотно, с дружеской силой сжал его руку Свиридов и в то же время слыша смутный шум за спиной, там, где сидел Уваров, спросил:— Но почему «студентом»?

Губы Свиридова слегка раздвинулись — улыбался он неумело, некрасиво,— он, четко выговаривая слова и округляя их, сказал:

— Вы подавали документы в Горный институт и разговаривали с доцентом Морозовым. Вчера списки утвердились. Я присутствовал от партбюро и отстаивал фронтовиков. Я преподаю в институте военное дело. Вас отстояли. Поздравляю. Списки сегодня утром вывешены.

— Отстояли? — переспросил Сергей.— От кого отстояли?

Свиридов снова улыбнулся короткой жесткой улыбкой, взгляд был немигающ, крепок.

— Это неважно сейчас.

Рука Сергея нащупала спинку стула, ставшие влажными пальцы сжали ее.

— Спасибо.— Сергей сел, машинально потянулся за сигаретой, но спичку не зажег.

Константин, опередив, быстро чиркнул зажигалкой, поднес дрожащий на венце зажигалки огонек, прошептал Сергею на ухо:

— Держи хвост пистолетом, Серега.

И в эту же минуту Сергей ощутил, как чья-то рука мягко легла сзади ему на плечо, повернулся — Нина наклонилась над ним и, глядя ему в глаза, сказала тихонько:

— С тобой хочет поговорить один человек. Иди сюда, сядь на тахту. Он хочет... Здесь никто не будет мешать.

— Кто он?

— Узнаешь...

Сергей сел на тахту с неприятным чувством от ожидания какого-то нового знакомства — не хотелось сейчас отвечать кому-то на вопросы или спрашивать, желая показаться вежливым, приятным человеком, как это надо было делать в гостях.

— Здорово, Сергей! Очень рад тебя встретить здесь!

И Сергея будто толкнул этот знакомый рокошущий басок. И, еще не веря, увидел: рядом сел Уваров в очень просторном, плотном, с опущенными плечами пиджаке; синего цвета галстук выделялся на новой полозатой сорочке с тесным воротничком, сжимавшим крепкую шею.

Он быстро взглянул на неопределенно улыбающиеся губы Нины, на сдержанно веселое лицо Уварова и, криво усмехнувшись, выдавил хрипло:

— Ну?

Уваров, наморщив брови, заговорил удивленно, смеющимся голосом человека, любящего пошутить:

— Ну что ж.— Он пожал плечами.— Будем физиономию друг другу бить или братья? Ну... здорово, что ли? Ниночка, вы можете нас не знакомить. Мы знакомы.

Он со скрытым напряжением и нарочитой уверенностью протянул руку. Сергей, сунув руки в карманы брюк, смотрел в его лицо, как бы ища следов после той встречи в ресторане, вспомнив его вскрик: «Он изуродовал меня», — поморщился, проговорил громко:

— Однажды я тебе сказал... я не люблю братских могил. Это — все!

— Так, — произнес Уваров и как бы в раздумье потер подбородок сильными пальцами; вдруг, обращаясь к Нине, засмеялся.— Мира не получается. Что ж будем делать? Может быть, кому-нибудь из нас

нужно умереть, чтобы другому было свободнее? Остроумнее не придумаешь!

Нина взяла Сергея за локоть, кивая ему просительно, и тотчас взяла за локоть пожавшего плечами Уварова, легонько толкнула их друг к другу. Проговорила сразу обоим:

— Ну, мир? Перемирие? Сидите.

— Я готов,— с принужденностью сказал Уваров.— Но перемирие может состояться тогда, когда его хотят обе стороны.

— Он прав,— насмешливо сказал Сергей и в то же время думая: «Мелодрама! Чем кончится эта мелодрама? Зачем он хочет поговорить со мной?..»

И положил ногу на ногу со спокойным видом.

— Нет, нет, только мир,— уверенно повторила Нина.— Мир, мир. Прошу вас обоих.

Уваров расстегнул пиджак, пятна румянца цвели на его полных щеках.

— Боюсь наболтать банальщины, Ниночка, но один в поле не воин.

Сильный, голубоглазый, в своем клетчатом, сшитом, видимо, в Германии костюме, Уваров бесцеремонно начал оглядывать полочки возле тахты и, добродушно улыбаясь, стал трогать фигурки тунгусских богов, образцы кварца на полках, не глядя на Сергея.

— Геологи, в особенности женщины,— говорил он своим четким баском,— удивительные люди. Стоит им хотя бы на полгода обосноваться в городе, как окружают себя тысячами вещей. Это что же — тяга к уюту? А, Ниночка? Или — ха-ха! — геологическое мещанство? Хм, что это за сопливый слон? Не положено. Мещанство. На партийное собрание вас.

— Я беспартийная, Аркадий.

— На суд общественности вас. Экую настольную лампу в комиссионном огорвали! Мещанство первой марки!.. Да, да, Ниночка! Верно, Сергей? — обратился он к Сергею дружески просто, как к близкому знакомому, от его манеры гладко говорить повеяло чем-то незнакомым. Этот Уваров был не похож на другого, фронтового, на того Уварова, которого три месяца знал он, Сергей, и которого встретил в ресторане недавно.

Широкая фигура Уварова. в просторном немецком костюме раздражающе лезла в глаза, и какая-то непонятная сила сдерживала Сергея, заставляла сидеть, наблюдать за ним с особым интересом. «Нет, в ресторане он был другим. Тогда в нем было то, фронтовое: взгляд, осанка, тогда он был в кителе...» Он чувствовал испарину на лбу, на висках, но не вытирал ее — не хотел выказывать скрытого волнения. Неподвижно сидел на тахте, облокотясь на валик.

— Мещанство надо понимать иначе — когда человек трясется только за свою шкуру,— сказал Сергей.— Это известная истина.

— Сережа,— осторожно остановила его Нина и вздохнула.— Ну, я прошу...

Уваров же, подняв одну бровь, подкинул на ладони кусочек породы, спросил:

— Не остыл еще? Ну скажи, Сергей, признаешь объективный и субъективный подход к вещам? Мы с тобой воевали, но некоторые штуки оценивали по-разному.

— Ты воевал? — спросил Сергей и с силой раздавил окурок в пепельнице на гумбочке.— Правда одна. Ты хочешь две!..

— Значит...

— Значит, братская могила?

— Какая могила?

— Вали все в одну яму? Все, кто были там, воевали?

— Вот что, Сережа...— медлительно проговорил Уваров, румянец сошел со щек, голубые глаза посветлели, и так же медленно и нехотя он вынул офицерскую книжку.— Может, ты посмотришь мой послужной список?

— Я знаю его,— сказал Сергей.— Ты пришел к нам из запасного полка и ушел в запасной полк.

— У каждого судьба складывается по-своему. В войну — особенно.

Слыша голос Уварова, Сергей снова потянулся за сигаретами — было горько, сухо во рту, но в эту минуту сигарету не достал, рука осталась в кармане пиджака, сжав пачку; локоть оперся о валик тахты. И сидя так, в полутени, в этом неудобном положении, с возникшей тяжестью во всем теле, он думал, не отвечая Уварову: «Не так, не так говорю с ним! Он уверен, спокоен... И мне надо говорить... Только спокойно!..»

С мгновенным усилием он изменил неловкую позу и неожиданно для себя — руки по-прежнему в карманах — придвинулся к Уварову. Тот вскинул подбородок, настороженно подняв плечи, но взгляд был весел.

— Не забыл лейтенанта Василенко? — негромко спросил Сергей.— Ты помнишь его?

— Но откуда ты все можешь знать? — Уваров с изумленным лицом шумно выдохнул из себя воздух, как спортсмен после длительного бега.— Тебя ведь увезли в госпиталь, насколько я помню?

— Я встретил в госпитале писаря из трибунала. Это тебе ничего не говорит?

Уваров махнул рукой с выражением тяжелейшего утомления.

— Ниночка,— сказал он смешливо, почесав нос,— я уже бессилен... Я уже не могу!..

Сергей молчал. Было ему неприятно, что Уваров обращался к Нине, как будто искал у нее поддержки и как будто знал заранее, что эта поддержка будет. Он взглянул на Нину и будто только сейчас вернулся в обстановку этой комнаты.

За столом хаотично шумели, кричали, крики эти и смех смешивались в оживленный гул, заглушая шипение патефона. Но в эти секунды не было мира в этой комнате. Он был и не был. Мир был фальшив.

— Мальчики, садитесь за стол! — поспешно сказала Нина, положив обоим руки на плечи.— Хотите — для вас я найду водку? Старую бутылку. Привезла из Сибири. С довоенной маркой!

— Подождите, Ниночка! — мягким баском бросил Уваров, мельком глянув на Сергея.— Мы не договорили.

— Мы договорили,— сказал Сергей.

— Нет, Сережа,— перебил Уваров и обратился к Нине: — Простите, Ниночка, можно нам один на один?

— Да, да, я ухожу, говорите.

Сергей сознавал всю глупость, всю неестественность своего положения и хорошо понимал, что не может, не имеет права быть сейчас здесь, сидеть на одной тахте с Уваровым, но что-то сдерживало его, и он, как бы помимо воли своей, старался дать себе отчет, что же он не понимал в этом новом, все забывшем, казалось, Уварове. И Сергей, услышав голос Уварова, посмотрел на него: лицо Уварова потно, голубые глаза чуть покраснели, в них по-прежнему — добродушие, веселая искристость, желание мира.

— У тебя, Сергей, странные подозрения. Основанные на слухах. У тебя нет никаких доказательств. Остынь и рассуди трезво. Я не хочу

с тобой ссориться, Сергей, честное слово. То, что было,— черт с ним, забудем. Я не навязываю тебе дружбу, хотя был бы рад... Пойми, Сережа, нам учиться в одном институте, только на разных курсах. Я стою за то, чтобы фронтовики объединялись, а не разъединялись. Нас не так много осталось. Ей-богу, ты во мне видишь другого человека. Хотя, я понимаю, это бывает...— Уваров положил горячую ладонь Сергею на колено.— Я хочу, чтобы ты понял... Я сам себя часто ловил на том, что сужу о людях не так, как надо.

— Товарищи фронтовики, прекращайте секреты! — крикнул Свиридов, привставая над столом и улыбаясь своей неумелой, короткой улыбкой.— Занимайте места!

И в эту минуту Сергей понял, что надо кончать этот разговор. Слова, которые говорил сейчас Уваров, и то, что они сидели сейчас здесь, на тахте, близко друг к другу,— все противоестественно объединяло, сближало их, а он не хотел этого. Сергей резко поднялся, сказал:

— Значит, все дело в психологии?

И следом за ним горопливо встал Уваров, застегивая пиджак, заговорил серьезно:

— Подумай обо всем трезво, честное слово, ты неправ. Ну подумай.— И бодрым голосом крикнул, обернувшись к Свиридову, глядевшему на них: — Иду, иду, Павел! Нам необходимо было поговорить!

И Сергей вдруг почувствовал: что-то изменилось, странно изменилось здесь, в этой комнате.

#### Глава четырнадцатая

«Я знал, что надо делать тогда в ресторане, но что делать сейчас? Улыбаться, разговаривать с соседями, с парнем в очках? Развлекать девушек, как это делает Константин, показывая какой-то фокус с рюмкой и вилкой? Новый год — я разве забыл об этом? Тогда зачем я пришел сюда? Что я делаю? Знаю, что нельзя прощать, но сижу здесь, за одним столом с ним?.. Значит, прощаю?»

Уваров сел рядом со Свиридовым, что-то сказал ему и с обрадованной улыбкой кивнул Сергею, и Сергей, не ответив ему, внезапно подумал, что после ресторана, после этого разговора он не испытывал прежней ненависти к Уварову, а оставалось лишь чувство усталости, неудовлетворенность собой.

Он искал в себе прежней ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить для себя точно, почему это произошло, почему это незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив впервые после фронта Уварова, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притуплялась, казалось, против его желания. Но, может быть, это и произошло, потому что никто не хотел верить, возвращаться к тому прошлому, которое было недавно, — ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто разговаривал сейчас в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что было в Карпатах. Он спрашивал себя: что изменило все — время или наша победа отдаляла войну? Или желание — плюнуть на то, что не давало покоя ему, мешало жить? Он не хотел соглашаться с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядываются назад, пытаются жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь... Если бы каждый из сидящих за этим столом помнил о погибших — о разорванных животах, о предсмертном хрипе на бруствере окопа, о фотокарточках, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал у убитых солдат, — кто бы смеялся, улыбался сейчас? Но улыбаются, смеются... И он тоже все время жадно хотел какой-то новой

жизни, полновесной, праздничной, которая в тысячу раз окупила бы прошлое... Уваров... Разве дело только в Уварове? Никто не хотел верить, никто не хотел копаться в прошлом, а у него не было доказательств... Но есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое стиралось уже...

— Ты что хмуришься? Перестань курить!

Будто ветерком овеяло его: Нинины пальцы легли на руку, скользнули, мягко вынули из его пальцев сигарету, бросили в блюдечко. И она повторила шепотом, указывая глазами в сторону Уварова:

— Ну? Будем хмуриться?

— Нет, я могу даже улыбнуться, — сказал Сергей. — Хочешь?

И она на мгновение благодарно прижалась к нему плечом.

— Ты посмотри на Костю. Он молодчина.

Константин в это время, взяв на себя команду на своем конце стола, возбужденный новой компанией, вниманием девушек, которые уже называли его Костенькой, мигнул, как давнему знакомому, парню в очках, налил в его рюмку водки, затем с понимающим видом — Сергею, потом весело прищурился на Нину.

— Вам? — И спросил так галантно, что Нина засмеялась.

— Конечно, водку, Костя. Пожалуйста.

— Нина — не женский монастырь, нет! — пробормотал парень в очках.

— Петенька-ка-а, — протяжно сказала Нина и ласково взъерошила волосы парня в очках. — Петенька, ты пьян немножко? Да, милый?

Тот мотнул головой, угрюмо блеснули стекла очков.

— Не надо... не хочу... ты не надо... так... Не люблю...

— Братцы! Разговорчики! Внимание, даю площадь!..

Все замолчали. В тишине комнаты возник отдаленный, отчетливый шум Красной площади: гудки автомобилей в снегонате, шорох шин — звуки новогодней ночи. Приемник был включен на полную мощность. И там, в метели, рождаясь из гула площади, вдруг ударил бой курантов.

— Тише приемник! У всех налито? Сергей, у тебя налито? Приготовиться, братцы!.. Сережа, налито у тебя? Ухаживайте за фронтовиками там, на том конце! Первый тост фронтовикам!

Неожиданно командный голос Уварова, перекрикивая мощность приемника, будто ударил, окунул Сергея в ледяной сумрак октябрьского рассвета в тусклых Карпатах — этот командный голос был связан только с тем, в нем было только то...

«Нет! Не хочу думать об этом! Все — новое, надо жить новым», — стал убеждать себя Сергей, и, стараясь найти это непостижимо новое, он быстро посмотрел: праздничные лица, улыбки, головы повернуты к Уварову.

Уваров стоял за противоположным концом стола, в двубортном, с широкими плечами костюме, держал, не улыбаясь, а хмурясь, стакан с водкой; снизу поднял к Уварову строгое лицо Свиридов; глядела с ожиданием, подперев пальцем щеку, белокурая девушка, которую, кажется, звали Таня...

У Уварова изменилось лицо — губы его на секунду каменно сжались, взгляд посветлел.

— Я предлагаю тост... Первый тост...

Губы Уварова шевелились, слова, тяжелые и железные, срывались с них, падали в тишину. Все напряженно молчали, лишь сопел, кривясь досадливо, тыкая папироску в блюдечко, парень в очках.

— Я предлагаю тост... как бывший солдат. Тост за того... с именем которого мы ходили в атаку... стреляли по танкам, умирали... С име-

нем которого мы защищали родину. и победили... — Уваров помедлил, поднес на уровень подбородка бокал, из-за плеча остро взглянул на Свиридова, договорил страстно звенящим голосом: — За великого Сталина!

И в следующее мгновение увидел Сергей — встал обтянутый новым кителем худощавый Свиридов, без улыбки, безмолвно чокнулся с Уваровым. Все с неловкостью вставали, отодвигая стулья; зазвенели стаканы. И Сергея вдруг хлестнуло едкое чувство чего-то фальшивого, неестественного, исходящего от Уварова; встал, сжимая в пальцах рюмку, — стекло ее стало скользким. Рядом — голоса, не голоса, а еле различимый шепот и прикосновение руки на плече.

— Сережа... Я с тобой чокнусь, милый...

И голос Константина прошелестел над ухом:

— Старик...

Он ясно увидел улыбающееся лицо Уварова, строгий, нахмуренный лоб Свиридова, опущенные уголки рта белокурой девушки, и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?»

— Я хотел сказать... — внезапно проговорил Сергей, и голос был не его — чужой, отдаленный, отдававшийся в ушах, и, глядя на Уварова, в его крепкое лицо, от которого словно пахло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил глухо: — Я с тобой пить не буду. Не тебе говорить от имени солдат!

Была плотная тишина, неясно желтели лица в оранжевом свете абажура, и лицо Уварова сейчас же поднялось в тень абажура, потеряв резкость черт, лишь очень ясно были видны в одну полоску собранные губы.

— Послушайте, послушайте, что он говорит!.. Вы все слышали?.. Он преследует Аркадия! Он сводит свои счета, — с отчаянием, рыдающим голосом выкрикнула полная белокурая девушка, ненавидяще глядя на Сергея.

— Товарищи дорогие, прекратите свои распри! — громко и умиротворяюще сказал кто-то. — Новый год! Портите все настроение!

— Bravo! — пьяно воскликнул парень в очках и заплодировал. — Это я люблю! Драма в благородном семействе!

— А может, помолчишь ты, друг любезный в благородных очках! — выплыл вежливо недобрый голос Константина, и рука его опустилась на плечо Сергея. — Садись, Сережка, посидим и выпьем ради приличия...

Сергей стоял не двигаясь, сказал только:

— Подожди, Костя!

— Все это оч-чень странно! — донесся с того конца стола скованный и тяжелый голос Уварова. — Особенно для фронтовиков... Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы... Я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне. — Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и Сергей заметил губы его, как на холоде, еле двигавшиеся. — Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, — с деревянной улыбкой оглядывая стол, проговорил Уваров. — Понимаю: бывает неосознанная неприязнь...

Глядя на улыбку Уварова, Сергей вдруг ощутил знакомое чувство, испытанное им в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди осуждали его, Сергея, а не Уварова. «Ему стоит позавидовать — умеет себя держать. Он умеет...» — подумал Сергей, с усилием сдерживая себя, и сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:

— Да, конечно, не стоит портить праздник. Но я не буду мешать всем. Он повернулся, увидел перед собой увеличенные, останавливающие

глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнув через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку; в эту минуту голос за спиной хлестнул по нему:

— Сергей, подожди! Подожди, я говорю!

Нина выхватила из его рук шапку, спрятала за спину и, подымаясь на носках, повторяла:

— Подожди, подожди! Ты только подожди...

— Ты хочешь помирить меня с ним? — грубо спросил Сергей. — Зачем?

— Я ничего не хочу, — сказала она.

— У нас с тобой прелестные общие знакомые! Но тебе придется выбирать.

— Что выбирать?

— Знакомых.

— Но ты не должен...

— Ты не должна! Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи, — жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и отстранился, рывком потянул шинель со спинки стула.

Она стояла, по-прежнему держа шапку за спиной, и, уже не останавливая его глазами, прямо глядела на него. Молча покусывала губы. Он повторил:

— Тебе все ясно?

Она молчала.

— Дай, пожалуйста, шапку, — сказал он и неожиданно для себя шагнул к ней, внезапно отдалившейся и как бы ставшей чужой, с силой притянул ее к себе. — Пойдем со мной или оставайся! Слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты это понимаешь?

— Ничего не слышу, ничего не вижу, где мои галоши? — раздался предупреждающий голос в передней, и Сергей недовольно обернулся к вышедшему из комнаты Константину; тот сейчас же наклонился, старательно ища что-то на полу. — Я с тобой, Сережка, — пробормотал он, не разгибаясь. — Потопали. Разбит выпивон вдрызг.

— Костька, подожди! — торопливо сказал Сергей.

С досадой щипнув усики — движение это было похоже на щелканье пальцев, — Константин, насвистывая, поспешно прошествовал в комнату, тщательно закрыл дверь.

— Ты будешь раздумывать? — Сергей снова резко притянул ее за плечи. — Ну?

— Это все? — спросила она.

— Где твое пальто?

— Вон там..

Отпустив ее, он с непонятной себе грубой решимостью стал снимать с вешалки и кидать на тумбочку, на спинку стула холодноватые чужие пальто и сейчас же услышал за спиной сдавленный смех, оглянулся, не понимая: Нина, прислонясь затылком к стене, опустив руки, странно, почти беззвучно смеялась, снизу вверх с изумлением следила за ним, говоря:

— Они останутся здесь, а я... Просто девятнадцатый век! Тройка, снег, новогодняя ночь... Ты понимаешь, что делаешь?

Он, не отвечая ей, подал пальто. Она, подставляя плечи, повернулась к нему спиной, и Сергей увидел на ее шее, окаймленной шерстяным воротом свитера, легкие завитки волос.

— Нина, только быстрее!

— Хорошо. Иди вперед, я закрою...

И она осторожно, с закушенной губой щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, потом прикрыла бесшумно

дверь. Они несколько минут стояли в тишине под неяркой, запыленной лампочкой на площадке. Дом праздновал. Где-то внизу, под ногами, на нижнем этаже, приглушенно звучала музыка.

— Идем...

— Быстрее! Внизу тройка, медвежья полсть и бубенцы!

Тихо смеясь, она схватила его за руку, они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестницы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, не освещенном лампочкой, Нина, переводя дыхание, остановилась, выговорила, притянув Сергея к себе:

— Куда ты хочешь меня вести?

— А ты куда хочешь?

— Куда ты.

#### Глава пятнадцатая

Константин вернулся на рассвете — серели окна, — пошатываясь, ощупью поднялся по лестнице, стараясь не греметь ключом в замке, с пьяной осторожностью открыл дверь в свою комнату. Не зажигая света, долго пил из графина большими, жадными глотками. Потом спиной упал на диван, не сняв костюма, несколько минут лежал неподвижно в темноте. Была последняя в пачке папироса, смятая, сломанная, кислая — табак лез в рот, было отвратительно, болело, ломило в висках. Он выкурил папиросу и уснул.

Проснулся утром с трещащей головой, с пороховым вкусом во рту.

— Э-э, идиот! — сказал он, сплюнув и болезненно поморщась, потер лоб, будто был в чем-то смертельно виноват.

Угнетало, мучило то, что остаток ночи провел в какой-то незнакомой компании — уже возвращаясь после встречи Нового года домой, неожиданно вспомнил адрес Зои, с которой недавно познакомился, поехал на окраину Москвы. Там, в чужой компании, много пил, ругался с какими-то крикливыми парнями, потом вывел робко отталкивающую его Зою в переднюю, целовал ее шею, грудь сквозь расстегнутую кофточку, и Зоя говорила ему, что сейчас не нужно, что сюда войдут, а он убеждал ее куда-то поехать.

«Что я там наделал? Что я там натворил?» — с отчаянием стал вспоминать Константин, ворочаясь на диване.

Он помнил только смутные лица последней компании, крик, хохот, ощущение своих плоских, тогда казавшихся блистательными острот, потом эта передняя, испуганно сопротивляющиеся глаза Зои, ее испуганный шепот: «Костенька, потом, потом...»

«Что я наделал, идиот в квадрате! — И он с брезгливостью сжал пальцами гудевшую голову. — Зачем я живу на свете таким непроходимым ослом? Именно ослом, животным...»

С наслаждением уничтожая себя, он сам казался себе глупым, плоским, ничтожным и не искал, не находил оправдания тому, что было вчера. В его памяти лишь ясным пятном проступало начало вечера: елка, Ася, мандарины, потом приход в студенческую компанию. Но все это затмевалось, все было убито поздним, черным, ядовито-черным, уже пьяным, бессмысленным.

Хотелось пить.

Он потянулся к графину, который почему-то стоял на полу, начал пить, разливая воду на грудь, переводя дыхание, обессиленно поставил графин на пол. Потом лежа долго искал по карманам папиросы, пачка оказалась разорванной, смятой, без единой папиросы. Он швырнул ее

на пол, стал вспоминать, где можно найти окурок. «Бычки» могли быть на книжных полках, где-нибудь в уголке: читая, загасил папиросу, положил на всякий случай.

Константин приподнялся, пошарил на полках над диваном, с удовлетворением нашупал «бычок». Потом следил, как дымок вился, таял в солнечных полосах, пронизывающих комнату. Лежал в утренней тишине дома, слышал все звуки с болезненной отчетливостью, старался понять смысл вчерашней пьянки, этого утра, тишины и этой омерзительной минуты похмельного лежания на диване.

«Что делать? Что делать?» — думал эя, глядя в потолок, на эту однообразную простоту электрического шнура, на сеть извилистых трещинок, освещенных тихим зимним солнцем.

Внизу, в безмолвии дома, на кухне глухо, как из-под воды, загремела кастрюля или сковорода, донеслись голоса — должно быть, художник Мукомолов жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно ссорился с женой. Константин представил запах подгоревшей яичницы, и его затошнило.

Он застонал, оглядывая комнату, громоздкий книжный шкаф, пожелтевшие от табачного дыма шторы, разбросанные американские и английские журналы на стульях, увидел валявшиеся на полу окурки и вновь потер лицо, обросшее, несвежее. «Побриться бы, помолодеть, почувствовать в себе уверенность. Надеть свежую сорочку, галстук...»

С трудом встал покачиваясь, нашел на подоконнике бритвенный прибор, налил в мьльницу холодной воды из графина (в кухню за горячей не было сил идти). Подошел к зеркалу, взгляделся. Фальшиво чужое, неспянное, с тонкими усиками, с косыми бачками лицо глядело на него с неприязнью и отвращением.

«Зачем? Для чего я живу? Что делать?» — спросил он себя и бросил бритву на подоконник, упал грудью на диван, мысленно повторяя в пыльную духоту валика: «Зоенька, не ломайтесь, не надо осложнять, дорогуша! Дорогуша? Как я сказал: не надо осложнять? Пошлак, глупец! Зоенька, не ломайтесь!..»

Не сразу услышал — не то поскреблись, не то слабо толкнули дверь из коридора. Прислушался — тишина. И тотчас в дверь преувеличенно громко постучали, и он, вздрогнув, крикнул:

— Не заперта! Вваливайтесь! — И в то же мгновение вскочив на диване, проговорил осевшим, неверящим голосом: — Ася? Зачем вы ко мне?..

Ася вошла боком, каблучком закрыла дверь, решительно повернулась.

И ощутив ее внимательный взгляд на себе, он сразу с ненавистью снова почувствовал свое лицо, вспомнил ее слова о парикмахерских бачках, растерянно метнул взгляд по беспорядочно разбросанным вещам в комнате, наступил ногой на окурочок возле дивана. Сказал отрывисто:

— Уходите, Ася! Закройте дверь с той стороны! (И сейчас остроу с плоскостью болвана!) Уходите! — повторил он.

Она не уходила — стояла, нахмутив брови.

— Где Сергей? — спросила она.

— Не знаю. А что стряслось? Пожар? Потоп?

— Он опять не ночевал дома, — сказала она подозрительно. — Я не знаю, что... происходит, не понимаю... Где вы с ним были вчера? Ответьте, пожалуйста, Константин. Где Сергей? Может быть, случилось что?.. Пожалуйста, ответьте прямо! Отец послал меня к вам... я и сама хочу знать! Почему вы дома, а его нет?

— Случилось? Ну что с ним может случиться, Ася? — сказал Константин смешливым тоном, однако ощущая все время, как он противен, неприятен ей, в неприбранной комнате, сидящий на диване с помятым лицом. — Ну, может, он влюбился, Ася. Вероятно? Вполне. Какие могут быть тут испуги, опасения и прочая дребедень? Асенька, не надо волноваться. Может быть, он встретил такую женщину... девушку, с которой можно броситься куда угодно очертя голову! И если такую встретил — его счастье. Вы должны просто радоваться, в воздух чепчики бросать...

— Влюбился?

Она приблизилась к дивану, худенькая ее фигурка выжидающе напряглась, а он, проклиная себя, понял, что его защита Сергея была неловка, неубедительна, и, прикрыв ладонями небритые щеки, проговорил почти беспомощно в ладони:

— Асенька, родная, вы ведь знаете, что я крупный осел и остряк-самоучка. Ничего не знаю, наболтал, не думая. Но только с Сергеем все в порядке. Это я знаю.

— До свиданья! — Она отошла и через плечо высокомерно сказала ему: — И обрейтесь хоть. И не обманывайте меня! Я люблю правду, а вы все врете! Почему вы врете?

Константин отнял ладони от лица, помолчал, потянулся за «бычком» в переполненную пепельницу, «бычок» курить уже было нельзя — раскрошился в пальцах.

Он вдруг почувствовал пустоту оттого, что она уйдет сейчас.

— Ася, подождите, — тыча окурочек в пепельницу, хрипло, торопливо сказал Константин. — Посидите, а? Ну посидите просто, и все. Не глядите на мою противную рожу, я сам готов по своей витрине трахнуть кулаком, поверьте, я отношусь к ней без удовольствия. А вы просто посидите, полистайте журналы, ведь никогда у меня не были. А я побреюсь, и — хотите? — эти баки к черту! Вы ведь ненавидите эти гвардейские баки. Посидите. Хотите, я эти баки... Посидите, Ася...

Слова привычно подбирал полусерьезные, ернические, но тон звучал просительно-мальчишески — ему нужно было живое дыхание в комнате. Он боялся одиночества, боялся остаться один на один с собой, казнясь воспоминаниями вчерашней липкой нечистоты, которую хотелось содрать с себя.

Ася независимо отвернулась, оглядывая полки с пыльными книгами, шевелилась темная коса за спиной.

— Как вы живете странно! Как будто вы здесь не живете! Поставьте графин на тумбочку, ему не место на полу. Возьмите и поставьте! — приказала она.

Он поставил. И она спросила все так же строго:

— У вас есть какой-нибудь тазик, тряпка, швабра? Ну какие-нибудь орудия производства? — Она сказала это тем тоном, который не разрешал ему улыбнуться.

— Ася, ничего не надо!

— Это мое дело. Не командуйте.

— Там, в коридоре, под столом, кажется.

— Я сейчас. А вы брейтесь хоть. У вас ужасно неприятное лицо. Наверно, так и думаете, что вы нравитесь женщинам? — спросила дерзко и внезапно покраснела.

— Асенька, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, — произнес Константин, привычно пытаясь обратить все в шутку.

Но она пошла к двери, покачивая за плечами косой, стукнула дверью.

— Неприятное лицо... — бормотал он, делая злые гримасы в зеркале, намыливая щеки. — Пакостная физиономища... Парикмахерская вывеска... О, как я тебя ненавижу! Баки косые отпустил, болван!

Когда услышал скрип двери, он не пошевелился — увидел в зеркале Асю: она внесла ведро, швабру, милое лицо неприступно хмурилось, и Константин готов был на то, чтобы она хмурилась, ненавидела его, но была, двигалась сейчас здесь. Он смотрел на нее в зеркало, все медленнее вода бритвой по щекам, — и неожиданно ее голос:

— Думаете, я все делаю это с удовольствием? Нет! Мне просто жаль вас — погрязли, утонули в окурках!

— Ася, я сбрил баки, видите, я вас послушался, — с грустным вельем проговорил Константин. — Я не такой уж пропащий человек.

— Поздравляю! Бурные аплодисменты, все встают. Кстати, у вас есть какие-нибудь тапочки? Вы думаете, я буду портить единственные туфли?

С намыленной щекой он чрезвычайно поспешно бросился к дивану, вытащил из-под него стоптанные тапочки. Неуверенно стал крутить их в руках. Ася, стоя возле ведра, поторопила:

— Ну, давайте! Что вы их разглядываете? Брейтесь!

Он с непривычным смущением пожал плечами и, подойдя к зеркалу, увидел: она, опираясь о швабру, быстро сняла туфли, надела тапочки. Потом подтянула юбку, заправила за поясок. Ноги были прямые, высокие, с сильным подъемом. И тотчас узкие черные глаза испуганно-гневно встретились с ним в глубине зеркала. Она крикнула, одергивая юбку:

— А ну, отвернитесь! Как вам не стыдно!

— Ася, милая... — сказал Константин.

— Какая я вам «милая»?

— Ну хорошо, просто Ася, почему вы меня так терпеть не можете? — спросил Константин, напряженно глядя не в зеркало, а в стену, боясь услышать треск двери за спиной.

Она помолчала. Она даже как будто замерла, перестала дышать.

— Вот что. Идите к окну и добривайтесь наизусть! — вдруг по-взрослому опытно приказала Ася. — И не смейте смотреть в зеркало, что я буду делать! Я не люблю, когда за мной наблюдают.

— Я буду так... как приказано... Только приказывайте.

Послушно двинулся к окну с морозно-солнечной насечкой на стекле. Вздохнул облегченно, стал добриваться ощупью, «наизусть», слыша ее несильные движения позади, плеск воды, мокрый шорох швабры по полу, ее возмущенный голос:

— Понимаю: у вас пол заменял пепельницу! Журналы — половую тряпку. А это что за бутылки у стены? Это вы все выпили? К вам что — приходили всякие женщины?

— Ася!.. — взмолился Константин с полупопыткой обернуться.

— Пожалуйста, молчите! Я вас не спрашиваю, я все знаю. Если бы я была вашей сестрой, я бы всех ваших знакомых разогнала на четыре стороны. Не разрешила бы гадостей!

«Она девочка! — подумал он с тоской. — Сколько лет мне и сколько ей? Страшная разница!»

— Если бы вы были моей сестрой, Ася!

— Я не хочу быть вашей сестрой!

Замолчала. Отодвинула с грохотом стул, швабра стукнула о плитус рядом с Константином. Зашуршала бумага. Снова скользнула швабра о плитус, наступила тишина. И сейчас же удивленный голос Аси заставил его повернуться к ней.

— Что это?

Прислонив швабру к подоконнику, Ася неуверенно взяла с этажерки маленькую пожелтевшую фотокарточку.

— Ваша мама? Я ее не знала такой... Это ваша мама?

— Мама. Тоже не помню ее такой. Фотокарточку отодрал от какого-то старого документа,— сказал Константин.— Двадцать шестого года.

— Где ваши отец и мать?

— Исчезли.

— Куда исчезли? — еле слышно спросила Ася, не отрывая взгляда от молодой женщины с оживленным лицом и подстриженной под мальчика.— Она очень красивая, мама ваша... Куда они исчезли?

— Люди исчезают тогда, когда умирают или когда их заставляют умирать,— ответил Константин.

— Костя, Костя, Костя, здесь что-то не так, вы что-то не говорите, вы что-то скрываете! — заговорила Ася.— Пожалуйста, объясните, слышите? Это секрет? Секрет? Я — никому...

— Ася, спасибо за полы,— вдруг тихо, с хрипотцой выговорил Константин, несмело взял ее руку, смуглую, худенькую, прижал к губам, повторил: — Спасибо.

— Зачем? — задохнувшись, прошептала Ася.— Вы... зачем? — И, краснея, крикнула уничтожающе:— Никогда этого не делайте! Не смейте!

Он молчал, глядя в пол. Она выбежала, не закрыв дверь.

Он проверил все карманы старых брюк в шкафу — в это утро у него не было денег. Так начинались все утра после праздников.

Спустя полчаса он надел свежую сорочку, галстук, насвистывая, небрежной походкой сошел по узкой лестнице на первый этаж.

Было одиннадцать часов утра. Было солнечное утро нового года. На кухне возле крана стоял художник Мукомолов в стареньком халате, испачканном красками, скреб ложкой по сковородке. Вода хлестала из крана, брызгала на халат. Пахло жареной селедкой, от этого запаха Константина чуть подташнивало.

— А-а! — воскликнул Мукомолов, улыбаясь как бы одними заспанными, припухшими веками.— Добрый день, здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом, Костя! Как праздновали?

— Все так как-то,— ответил Константин и повернул в коридор, полутемный, теплый, пахнущий пальто и галошами. Постучал в дверь к Быковым.

Быковы завтракали. Сам Быков, красный, распаренный, в полосатой пижаме, пил, отдуваясь, короткими глотками крепкой заварки чай и одновременно заглядывал в газету. Жена, Серафима Игнатьевна, полная женщина в годах, намазывала сливочное масло на край пирога, умытое лицо было умиротворенно-добрым, приветливым. На столе — графинчик с водкой, голубого стекла рюмки, колбаса в тарелке, раскрытые банки консервов, начатое рыбное заливное — остатки праздника, вчерашнего новогоднего вечера.

— Костенька! — певуче сказала Серафима Игнатьевна.— Родной вы наш, голубчик, я вас таким холодцом угощу, вы что-то к нам не заходите! Забыли нас совсем?

Быков зашуршал газетой, отхлебнул из стакана, значительно двигая бровями.

— Немчишки опять шевелятся. Нда-а! А, Константин, голова-то небось трещит? Перегулял, что ли? Не за холодцом он, мать, — с юнниванием, басовито проговорил Быков, взглянул на Константина.— Завтракал? Дай-ка, мать, чистую рюмку. У добра молодца глаза красные.

— Водки не хочу,— сказал Константин.— Чаю выпью. Пришел за папиросами. Знаю, у вас были папиросы.

Быков крякнул, покачал головой с удивлением.

— Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! Была бы мать, конечно, жива, деньги-то для нее бы берег. Ну ладно, ладно, ничего, я тоже в молодости на боку дырку крутил! Кури, кури на здоровье!

Быков вытер салфеткой пот с красного лица, шумно отдуваясь, поднялся, вытащил плотное тело из-за стола, нагнулся к этажерке, достал откуда-то из-под книг коробку папирос, раскрыл, положил на скатерть перед Константином.

— Кури, дыми,— сказал Быков.— «Северная Пальмира». Что, неужто денег-то на папиросы нет? Это как же ты ухитрился деньги-то прогудеть? Эх, беззаботность, беззаботность, Константин! Пей, да голову имей. Налить, что ли? Чтоб хмельная дурь прошла...

Закуривая душистую папиросу, Константин только промычал отрицательно, с отвращением сморщившись при мысли о водке, кивнул благодарно Серафиме Игнатьевне (она налила ему в стакан горячего крутого чаю, придвинула стакан).

В комнате Быковых было ощущение тепла, довольства, недавнего праздника, по-зимнему пахло хвоей, елка, серебрясь мишурой, стояла в углу; вокруг теснилась под солнцем старинная полированная мебель. На полу — толстый и яркий немецкий ковер облит солнцем, ковер на стене, узкий ковер на диване, антикварные статуэтки, хрустальные вазы на буфете, старого, комиссионного вида настольная лампа — немецкая овчарка, подняв голову, носом поддерживает голубой купол абажура — безвкусица и неумелое стремление к крепкой и прочной красоте создавали этот странный добротный уют.

— А где ж твой приятель, неразлейвода, Сергей-то твой? — спрашивал Быков, отхлебывая из стакана.— Или врозь?

— Сегодня — да. Сегодня я в одиночестве,— сказал Константин, положил папиросу на край блюдечка, кинул сахар в стакан, стал мешать.

Быков двумя пальцами взял папиросу с блюдечка, аккуратно переложил ее в пепельницу, благодушно вздохнул.

— Оно приятели-то, конечно, хорошо, да семья лучше. Жениться бы тебе надо. А то деньги туда-сюда мотаешь, а цели нет. Когда жена в доме, есть куда деньги-то нести. Помочь, что ли, жениться-то? — Быков усмехнулся, налил себе еще чаю.— Я тебе на фабрике краю такую подыщу — пальчики пообкусишь. У нас девчат хороших — табунами ходят. Комната у тебя есть. Да вот глаза родительского на тебя нет. А я родителей твоих прекрасно знал. (Серафима Игнатьевна вздохом подняла, опустила над краем стола полную грудь.) Знал, м-да... Интеллигентные были люди...

— Превосходно, благодетель вы мой! — воскликнул Константин, делая вид, что от радости захлебнулся чаем.— Как это прелестно — коммерческий директор сват у своего шофера! Это демократично. Я заранее троекратно благодарю вас!

Он, сдерживая возникшую веселую злость, пытаясь казаться растроганным, пустил дым кольцами к потолку, округлил глаза. Разговор этот занимал его.

— Смеешься никак? Или в себя не пришел после похмелья-то? — строго спросил Быков.— У меня образование не такое, как у тебя, классов, институтов не кончал. У меня опыт вот где! — Похлопал звучно по своей толстой короткой шее.— Все из практической жизни, из уважения к хорошим людям, к государству. Вот как оно складывалось. Большого не достиг, в министры не вышел, а по хозяйственной части, сам знаешь, конкурентов у меня мало. У меня фабрика ни разу без

материалов, сырья не простаивала. Нету у меня на поприще снабжения конкурентов. А все от опыта. Так или не так? Так чего ж ты дураком улыбишься? Мало я тебе добра сделал? Только все ведь в трубу пускаешь! Денег огребашь кучу! Левачить разрешаю... И все в трубу.

Константин развел руками.

— Да что вы, Петр Иванович! Какие тут улыбки? Смех сквозь слезы. «Над кем смеетесь?» Мне хочется хохотать над собой до слез. Добра вы мне сделали много. Действительно. Соглашаюсь. Но, как говорят одесситы, разрешите мне посмотреть в ваше доброе, честное, открытое лицо и, вы меня очень простите, спросить: а вы плохо живете, голодаете?

Серафима Игнатьевна перестала жевать, грызть чайный сухарик, заморгала веками на Константина, на медленно багровеющего Быкова, сказала умиротворяюще:

— Петя... Костя... поговорили бы о чем-нибудь другом. Костя, вы всегда интересно рассказываете... Где вы праздник встречали? Мы вчера хотели вас пригласить. Петя поднялся к вам, постучал — вас не оказалось. Мы были одни. Дочь обещала на праздники из Ленинграда приехать — не приехала...

— Эх, шелапут ты, шелапут! Ты посмотри на него! Полюбуйся на хальством, — с горечью покрутил головой Быков. — Я тебе ль добра не желаю? Вот она, благодарность! Спасибо. Я, значит, плох? С фронта без профессии вернулся, я тебя в шоферы устроил. На машине на своей, как на собственной, едешь. Левача зарабатываешь — разрешаю, а? Потому что я тебе вместо отца. Или этот, — неприязненно пошевелил над столом пальцами, — Сергеев папаша помогал тебе? Ведь этому дай волю, с дерьмом меня съедят и фамилию не спросят. А все от зависти: мол, честно, хорошо живу. И ты туда же... Смешочки!

— Бывает прорыв юмора... Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трех соснах, — с вежливой улыбкой проговорил Константин. — Я слегка заплутался и — упаси боже — никого не вывожу на чистую воду. Знаком с человеческими слабостями. Благодарю за папиросы. Мне очень было приятно...

Он встал, наклонил голову.

— Запутался? У тебя что — машину задержали? — Быков быстро посмотрел Константину в усики, под которыми блестели ровные зубы. — ОБХСС?

— О нет, не это!

— Смеешься, значит, шенок эдакий? — заговорил Быков. — А ты запомни — даю жить всем. А на ногу наступишь — меня не узнаешь. Клевету не прощаю.

— О Петр Иванович! Я ведь люблю жизнь. Я ведь три года мерз в окопах! — засмеялся Константин. — А с вами — как за каменной стеной!

Он вышел от Быковых с ненавистью к своей наигранной веселости и одновременно с чувством облегчения оттого, что не попросил денег, за которыми шел.

Был первый день 1946, уже невоенного года.

Вечером он зашел к Сергею.

— Слушай, очертенело мне все. Обрыдло, плешь переело. Может быть, рвануть в твое высшее учебное заведение? А? Как там отношение к фронтовикам? Соответствующее?

## Часть вторая. 1949 год

## Глава первая

На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет еле просачивался сквозь ветви перед окном. Здесь, на Островидова, пахло сладковато и зябко, как пахло на всех ночных улицах Одессы, когда он с вокзала шел в тени тротуаров с двумя чемоданами.

Он приехал в Одессу, бросив все,— приехал загореть на горячем солнце; забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь песком, глядеть на постоянно изменяющееся в цвете теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темно-волосыми одесситками, заходя с ними есть мороженое в летние, увитые плющом кафе.

Он приехал сюда, думая об этой южной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе раз после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно советовал поехать именно в Одессу, поселиться у хороших знакомых людей и сам помог Константину добиться быстрого оформления билетов в плацкартный вагон — в московских кассах были очереди.

Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров в тесном купе, от тяжести чемоданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев. Этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха — мягко и душисто дуло из глубины черного сада.

В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, стала прыгать, яростно вставать на задние лапы, лая, хрипя сбоку Константина.

— Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! — Константин угрожающе махнул чемоданами, зашагал по тропке меж кустов.

— Томи, цыц! На место! — крикнул голос с крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: — Кто тут?

— Я не ошибся — Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар — ни одного такси! — сказал с фамильярной веселостью Константин. — Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин, — добавил он, увидев фигуру человека на крыльце; белела в темноте рубашка.

— Прощу. — Человек сошел со ступенек; разгорелся и сразу погас уголек папиросы, осветив мясистый нос. — Заходите! Я вас давно жду.

— Спасибо за гостеприимство, Одесса всегда славилась... — весело произнес Константин.

Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл за собой дверь, затем сказал: «Идите прямо» — и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленную люстрой комнатку со старым письменным столом, с диваном, на котором лежала свернутая простыня и подушка. Константин с облегчением не поставил, а бросил чемоданы, с полуулыбкой взглянул на хозяина.

— Как разрешите вас?..

Высокого роста, в несвежей сатиновой сорочке, висевшей на худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение ожидания. Он сказал наконец прокуренным голосом:

— Аверьянов.— И рукой указал на диван.— Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.

Константин кинул плащ на диван, оглядывая комнату.

— Ну, прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?

Аверьянов мельком взглянул на Константина.

— Море вы найдете.— И кивнул на чемоданы.— Петр Иванович писал мне...

— Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков,— заторопился Константин.— Кажется, здесь консервы, масло... У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк— ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!

— А я думал, балагуры только у нас, в Одессе...

Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поднял чемодан в сером зашитом чехле, поставил его на письменный стол, потом, вынув из кармана перочинный ножичек, вялым движением полоснул лезвием по швам чехла, спросил:

— А ключ позволите?

— Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы,— проговорил Константин и, засмеявшись, порылся в кармане.— Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи— стандарт.

— Попробуем.— Аверьянов взял у Константина ключик, неторопливо примерил его к замкам— замочки шелкнули,— открыл крышку.

— Фу-ты ну-ты...— пробормотал он, роясь в чемодане.— Все не то, все не то... Как нельзя понять, что Одесса— южный город?— Он несколько раз ковырнул пальцем в чемодане, захлопнул крышку, нажал замочки.— Петр Иванович живет, как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!

Аверьянов с неудовольствием, со сдержанным вздохом выговорил эти слова, и Константин спросил, подняв взгляд:

— Что трудно? Какая чесуча?

— Совсем обыкновенная. На нее спрос.— Аверьянов уже равнодушно вздохнул, изображая что-то, недвижно глядел на чемодан, не мигая.— А что прикажете мне делать с бостоном?

— Каким еще бостоном?— спросил Константин громче.— Что вы меня как лопуха за нос тянете?

— Э-э, подождите,— пробормотал Аверьянов.— Я сейчас.

Он с предосторожностью приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, неся чемодан, и Константин с охватившим его беспокойством услышал ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот и возню за стеной и, чувствуя холодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел, выжидая,— веселое ощущение приезда мгновенно стерлось, давила тишина дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!..»— подумал он, ужасаясь и не веря своей догадке; и в эту минуту без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет— сверток в газете,— сказал своим прокуренным голосом:

— Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?

— Карманы как карманы. Давайте!

Константин взял плотный пакет, бросил его на крышку чемодана и, глядя на Аверьянова, спросил с усмешкой:

— Надеюсь, это не золото, не бриллианты ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?

Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо сразу стало подозрительным, обрюзгшим.

— Вы шутник.— Вытянул из шкафчика, поставил на стол начатую

четвертинку, хлеб, тарелочку с уже нарезанной колбасой.— Десять тысяч. Это мало, считаете?

— Что-о? — Константин встал.— А ну, принесите сюда чемодан!

Во дворе залаяла собака. Мимо окна, в саду, прозвенела цепь, скользя по проволоке, донесся быстрый топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь, склонился на черное стекло, тяжело задышал носом; было слышно, как кто-то завозился, по-женски осторожно вздохнул за стеной.

Собачий лай смолк. Стало тихо.

Аверьянов выдохнул воздух, засипел шепотом:

— Вы что, маленький? Сорок девятый год — не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кутепова... На вокзале взяли...

— Я сказал: принесите сюда чемодан! — уже с бешенством крикнул Константин и смутно, как сквозь дым, увидел согнувшуюся и боком отходившую к двери худую фигуру Аверьянова — и сразу тишина, будто дом толчком опустился в глубокую, сжавшую дыхание воду. «Чесуча и бостон — ах, как здорово!»

Потом шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, поставил без уверенности чемодан на пол, проговорил:

— Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?

— Идите к... — грубо выругался Константин.

И ударом ноги откинул крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов сжатые отрезки черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем аккуратно укладывал эти банки, говоря ворчливо, что родственник его рад будет этому продуктовому подарочку.

— Так,— сказал Константин и, с решимостью взяв с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман.— Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?

— Шутите, шутите, да знайте меру! — Аверьянов судорожно попытался улыбнуться.— Вы шутите, как сумасшедший...

— Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственнику,— произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным холодом.— Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет. ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься — закон.

Аверьянов стоял, машинально оттягивая подтяжки. Внезапно все морщинистое лицо его задергалось, затрясся подбородок, и он, беззвучно напрягая горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Но он все молчал, глядя на Константина сквозь влагу, наподзающую на глаза.

— Что? Что с вами такое? — крикнул Константин.

— Я прошу, прошу,— вдруг кусая пальцы, придушенно и умоляюще стал вскрикивать Аверьянов, оглядываясь на стены.— Я прошу... Прошу. У меня жена, семья...

Константин поднял свой чемодан, шагнул к Аверьянову.

— А ну, откройте дверь! Куда выйти?

— Я прошу вас... У меня жена, дети... не хватает на жизнь, поймайте!..

— Ваня! — крикнул пронзительный голос за стеной.

— Это жена... Я прошу вас, я прошу...

Аверьянов порывисто впился как бы заочеченными пальцами в рукав Константинова плаща, потянул к двери, во тьму сильно пахнущего плесенью коридора, повторяя с задышкой:

— Я умоляю, не надо, не надо... Я сейчас выведу вас... я сейчас...

Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плечом за что-то тупое на стене — затрещал плащ, — Константин двинулся за ним по коридору в потемках; потом спереди хлынул из распахнувшейся двери серый свет, мелькнули в нем искаженные щека, губы Аверьянова. И Константин не вышел, а вывалился в мокрые кусты, слепо зашагал в гушу зарослей, захлеставших по голове, по плечам ледяным ливнем.

Он ринулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя перед собой; заросли проволокой цеплялись за ноги, рвали полы плаща, хватали, отталкивали назад чемодан, ставший вдруг стопудовым.

«Неужели так глупо, все так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы все так глупо!.. Что же это я?» — задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штaketник, выросший перед ним, различил деревянную калитку и ударил по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок.

— Я прошу!..

— Черт с вами... Живите... — ответил со злостью Константин, не оглядываясь.

И вышел на сумрачную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по тротуару, под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только, когда засерел перед глазами незнакомый, весь заросший травой пустырь с каркасом разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь потом, озираясь, не зная, куда зашел он.

«Куда? Где переночевать? Куда идти?..» — соображал он и, поспешно отряхнув мокрый, облепленный лепестками плащ, двинулся торопливыми шагами наугад — к вокзалу.

Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, золотились кроны каштанов под окнами, заспанные дворники звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.

И это утро немного освежило Константина, но ночное напряжение еще не отпускало его.

Среди толчей, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала Константин почувствовал растерянность — длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление: «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда сегодня, уехать, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть в товарном вагоне.

Четверть часа спустя сдал чемодан в камеру хранения и со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестящую солнцем, жарким лаком легковых такси, стеклами красных и еще свободных автобусов, — площадь, окаймленную кипевшей летней зеленью.

Он, не зная куда идти, перешел площадь, потом на привокзальной улице сел в маленький почти пустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвай этот, гремя, катился в утренне прохладном зеленом туннеле каштанов, ветви били по открытым окнам, упруго дул в лицо душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера».

Он заплыл далеко в море, в теплой полуденной воде.

Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой черты горизонта; шел, дымил там в синей пустоте белейший пароход, медленно опускался за край синевы.

Константин плыл легко, не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; сверканье солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это сверканье, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все от этого вокруг расплывалось в мягкой радуге. Он видел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от сегодняшнего лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения своего молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое тело.

«Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на мгновение исчез радужный блеск волн — почувствовал черную глубину под собой, холодную толщу воды. Тогда он повернулся на спину, отдыхая, — его охватило неограниченное мягкое небо с белыми дымками облаков в выси.

«Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя и сразу озяб в воде и зло, рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве движения к людям.

Чувство одиночества гнало его к берегу — плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание. Приближались легкие здания санаториев, белизна тен-тов на берегу, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, но он, отплываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился почувствовать твердое дно под ногами.

Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливалась под зеленой водой галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»

Он полежал так лицом вниз, потом повернулся набок.

Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза — все говорило о жизни праздничной, курортной, южной.

В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил с солидной бесстрастностью:

— Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.

— Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидает муж и товарищ. Повторяю...

«Одесса», — подумал Константин.

Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:

— Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?

Ему не удалось достать билет в кассе, но удалось сесть на ночной поезд — его улыбка, его вид разбитого парня, его позванивающие орден-на смягчили холодную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, разговаривая с этой молодой проводницей, сказал ей с иронически игравшей под усиками улыбкой:

— Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?

— Ну что вы! — Она засмеялась, краснея, глядя на его лицо намекающим взглядом. — Вы даже интересный мужчина!

Поезд несся в ночной тьме; тьма эта густо шла за черными стеклами, а в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль вагона мягко и приятно пружинил, в открытых дверях купе — уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном — играли в преферанс, говоря вполгласа, изредка кое-кто вставал, курил, выпуская дым в коридор.

Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел в конец коридора и только здесь, в туалетной с качающимся от скорости поезда полом, прислонясь к стене, зло вынул толстый пакет из бокового кармана пиджака — он точно жег его все время, пакет.

Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тотчас проверил замок в туалетной и, выругавшись шепотом, сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.

— Так, — сказал он, — все точно.

## Глава вторая

В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово летний, со свинцовым кипением воды на тротуарах, с буйным плеском в канализационных колодцах. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, утонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к навесам подъездов, прижала к витринам магазинов.

Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не разбирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые озера, а когда, весь промокший, вбежал в свой переулок, тяжело отпыхиваясь, он на мгновение замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, категорический привет, Петр Иванович! Вот я, как жетя, и вернулся!»

Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене летящей сверху воды, был пуст, никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец и никто не видел его. И был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Шагнул через порог в темный коридор, стремительно прошел мимо двери Сергея и, не постучав, вошел к Быковым. Огляделся, раздувая ноздри.

— Где Петр Иванович? Где он?

Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике стояла перед обеденным столом, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате — сумрачно, и сумрачно было на улице; струи дождя стекали по стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе за окном.

Увидев в дверях Константина, промокшего, в разорванном у плеча плаще, облепленном влажными пятнами грязи, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, ахнула, выкатив глаза, испуганно приоткрыв мягкий рот, проговорила, еле шевеля губами:

— Костенька... Костя... Что это?.. Что это?..

— К дьяволу «Костенька»! — крикнул он и кинул заляпанный грязью чемодан на ковер. — Где этот паук? Я спрашиваю — где? — выдохнул он, опираясь мокрыми кулаками в край стола, в чистую скатерть.

— Костя... Костенька, что ты? Что ты... на работе он... — подняв ко рту пухлые руки с полотенцем, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна. — Что, что ты?.. Раздёнся! Мокрый весь, господи!

— Ладно,— отчетливо выговорил Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу.— Ладно,— повторил он и вытер о ковер другую ногу, договорил: — Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно — ворованная. Ясно? Дошло? А я — подожду вашего супруга! — Он схватил чемодан, на пороге оглянулся бешеными глазами.— У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!

В коридоре остановился, тоскливо глядя на дверь Вохминцевых, не решаясь сразу войти. Стоял, пытаюсь успокоиться.

— Можно?

— Войдите!

Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, устало заглядывал в тетрадь с записями. Константин, слегка приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, почти беззвучно вошел на цыпочках, спросил шепотом:

— Здорово. Ты один?.. Один?..

Сергей отбросил книгу, поднял голову, пристально взглянул на Константина, сейчас же опустил ноги с дивана, сел, откинул назад волосы.

— Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? — И прибавил удивленно: — Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!

— Один? Больше... никого?.. — снова вполголоса спросил Константин, кивая на дверь в другую комнату.— Аси и отца нет?

— Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра как лошадь. Вон, влезай в отцовскую пижаму! — грубовато приказал Сергей.— Ну что стряслось? И вообще, что напорол с институтом?

— Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету — твоя Ася насмерть убьет за лужи! — Губы Константина передернуло.— Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова — понял? — буду последняя серолочь. Я влип, как цыпленок...

— Что? Куда влип? — Сергей не понял.

— Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом — с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал, — спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!

— Дурак ты чертов! — выругался Сергей и встал.— Ты ошалел, что ли? Чемодан чужой повез... Ты что, не знал, что такое Быков?

— Пойдем, — умоляюще попросил Константин, покусывая усики.— Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим...

— Никуда не пойдем!

Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая свет вечеряющего неба.

Сергей с сердцем открыл форточку, свежо потянуло речной влажностью, звучно шлепались об асфальт капли, отрываясь с карнизов. Сергей повторил:

— Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?

Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь.

— Целую ручки, пан студент, целую ручки... Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж, — он вежливо улыбнулся, — каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным — наступил конец света. Целую ручки.— И язвительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.

Сергей обернулся, ударил его по плечу, ударом заставив сесть.

— Иди... знаешь куда? Гарольд Ллойд, Чарли Чаплин, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.

Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два — после обеда сидели и разговаривали уже при электрическом свете, вспыхнули и фонари на улице и во дворе, зажглись в лужах квадраты окон.

— Где эти деньги? — спросил Сергей.

— Вот. Десять тысяч.— Константин вытащил из бокового кармана пачку, положил на стол.— Вот они, десять косых.

— Спрячь,— быстро приказал Сергей.

Хлопнула дверь парадного, шаги раздались в коридоре, потом — возня за стеной. стук снимаемых галош возле вешалки.

— Отец,— добавил Сергей.

— А? Знакомые все лица, и Костя у нас! — сказал Николай Григорьевич, входя с газетой, торчащей из кармана пиджака, и дальнозорко вглядываясь.— Что-то ты редкий у нас гости! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.

— Что значит — перекусил? — спросил Сергей, пожав плечами.

Николай Григорьевич постарел, особенно заметно это было после работы — пергаментная бледность, морщины усталости собирались возле губ, возле глаз, густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, замкнут, рассеян, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам долго читал газеты, ночью, ворочаясь, скрипя пружинами, при свете настольной лампы листал красные тома Ленина, делая на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.

— Ты все же сел бы с нами, отец,— сказал Сергей недовольно.— Я сам готовил обед.

— И я вас давно не видел,— сказал Константин.

— Не стоит, я сыт. Не буду мешать.— Николай Григорьевич предупредительно улыбнулся Сергею и Константину, прошел в другую комнату, бесшумно закрыл дверь, потом осторожно скрипнул стул, зашелестели листы газеты.

— Старик, кажется, болен, но виду не подает,— сказал Сергей вполголоса.— Все время молчит.

— Так, может, для старика схлопотать профессора? — заговорил Константин.— Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат.

И он тотчас потянул к себе коробку папирос, повернул голову к коридорной стене, прислушиваясь.

Буханье парадной двери, громкое перханье, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору заставили Константина медленно встать, кирпичный румянец пятнами пошел по скулам. Сказал отчетливо:

— Это он. Я пошел! — И машинально кинул папиросу в рот, сжал зубами.

— Подожди! — остановил Сергей и вылез из-за стола.— Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?

— Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! — Константин застегнул пиджак, скосил заострившиеся глаза на Сергея.— Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?

— Подожди!..

Он не договорил, предупреждающе поднял руку. Послышался басовитый, раскатистый голос в коридоре: «Костя! Константин!» — потом вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом

защитного цвета пальто, с шарфом, висевшим через толстую шею, Быков. После свежего уличного воздуха квадратное лицо румяно, брови высоко расплзлись в радостном удивлении, над бровями настороженно собрались складки лба.

— Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатьевны удрал, шалопай эдакий? — вскричал Быков, излучая глазами добродушие, приятность, лишь складки морщин затрепетали над бровями. — А ну, идем, идем! Обедать идем!

Он схватил Константина за локоть, потянул к двери, возбужденно посмеиваясь, суетясь. Константин высвободился сильным движением плеча, сунул руки в карманы, стал перед Быковым.

— Я пообедал, благодарю вас, — произнес он. — Вам привет от Аверьянова. И благодарность... За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить — чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!

— Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? — задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь — с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки. — Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..

— Спокойно, Петр Иванович, без нервов! — Константин нежно снял руку Быкова с лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал по чугуно напряженному плечу. — Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели сделать меня коммивояжером?

— Какая сволочь, какая паршивая сволочь! — со злобным удивлением выдавил Быков и засмеялся. — Вы посмотрите на него — какая сволочь! — с придыханием заговорил он, обращаясь не к Константину, а к Сергею. — Вытащил его из дерьма, устроил... поил, кормил, как сына... Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!

— Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду, — обещающим голосом сказал Сергей.

— Та-ак! — Быков стоял, опустив сжатые кулаки; щеки его, плечи тряслись от возбуждения. — Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной — не-ет! Оклеветать?

— Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и... десять тысяч!

Константин выхватил из бокового кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол. Быков попятился, делая отряхивающие движения руками, выдавил горлом:

— Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?

Константин шагнул к Быкову, наступая грязными ботинками на деньги, проговорил сквозь зубы:

— Я... могу... попортить вывеску!.. Не шутя!.. Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню руками!

— Костя, подождите, — послышался негромкий голос. Они оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях с землистым лицом, в опущенной руке — газета. — Не надо, Костя, — повторил он серыми губами. — Не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь... В прокуратуре. Оставьте его.

Быков, крутя головой, весь налитый кровью, выкрикнул:

— Оклеветать?.. Меня?.. Поймать? Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройдет, Николай Григорьевич!.. Я вам... вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните... На коленях будете!.. Я законы знаю!

Он, выкатив глаза, попятился к двери, спиной распахнул ее, крикнул из коридора высоким голосом:

— Клеветники! За клевету — под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить?

И все стихло. Тишина была в квартире.

Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, потом на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему опустив руку с газетой, проговорил:

— Этот Быков... дай волю — разграбит половину России, наплевав на советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?

— Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? — спросил Сергей. — Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?

— Не говори со мной, как с мальчишкой. — Николай Григорьевич слабо потер левую часть груди, обратился к Константину, говоря своим негромким голосом: — Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не надо было объясняться с Быковым, выкладывать ему карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать, Костя. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоешь. Вы меня поняли, Костя?

— Я идиот! — сдавленно выговорил Константин, собирая деньги, и постучал себя кулаком по лбу. — Экспонат из зоопарка! Слоп без хобота! Зебра с плавниками!

— Хватит! Началось самодество! — оборвал Сергей раздраженно. — Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь!

— Сергей! — с упреком произнес отец, и губы его, когда говорил он, горько дернулись. — Замолчи! — И сейчас же тихо, виновато добавил: — Пожалуйста...

Сергей увидел ссину в его волосах, землистые растянувшиеся губы, руку, слабо поднятую к левой стороне груди, к пуговичке на потертой и застиранной пижаме, сказал, отворачиваясь:

— Прости, если это тебя... — И замолчал.

Николай Григорьевич покивал как-то неуверенно и грустно, сказал вполголоса:

— Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.

Дверь захлопнулась — он вышел. Безмолвие исходило из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты; потом скрипнули пружины, затихли.

И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимые нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости — все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо нарушил что-то здесь.

— Наворотил я тут у вас! — проговорил он. — Гнал бы ты меня к такой хорошей бабушке. Сам виноват — какая тут... философия? По уши в дерьмо провалился, так самому и расхлебывать это дерьмо! Не виновная девочка. Ладно, пойду.

— Подожди!

Сергей бросил на учебник пачку конспектов, сунул в карман папиросы.

— Черт бы взял! — сказал он, помолчав. — Накурился до тошноты. Ночь не спал. Пойдем подышим воздухом... Отец! — позвал он громко, подойдя к двери. — Мы пошли. Слышишь?

Было молчание.

— Отец! — снова позвал Сергей и с мелькнувшей тревогой распахнул дверь в другую комнату.

Отец сутулился возле письменного стола, руки заложены за спину, предупредительно кивал Сергею, говоря тихо:

— Иди, иди, я слышу.

В комнате пахло ландышевыми каплями.

— Тебе бы полежать надо, отец. Вот что!

— Оставь меня.

Сергей повернулся, вышел.

Прижатая к крышам чернотой туч узкая полоса неба просвечивалась водянистым закатом. Было зябко и мокро.

От влажных заборов несло запахом летнего ливня.

Они шли по тротуару под темными и тяжелыми после дождя липами.

— Ну, что думаешь делать? — спросил Сергей. — Как дальше?

— Не знаю. В наш железный двадцатый век длинные диалоги не помогают.

— Понимаешь, что ты наерундил? Решил бросить институт? Три года — и все зачеркнул?

— Сам, Серега, не знаю! Сяду опять за баранку. Надоело мне все!

Константин залез ботинком в лужу, выскочил из нее, потряс ногой с остервенением.

— Везет! Все лужи — мои. Есть счастливцы, которым вся пыль — в глаза! — И спросил: — Ну, а ты институтом доволен? Только открыто. Или так — не чихай в обществе? Привычка?

— Привык, — сказал Сергей. — Даже больше, чем привык. Первое время тошнило. Как и тебя. Задушили обилием громких слов о значимости профессии горняка. Но сейчас нравится.

— Ну?

— Что ну?

— Размышляю. Туды бросишь, сюды. Куда? Куда податься? Открыто. Баранку крутить — убей, надоело! Тоска берет, хочется лаять, как вспомнишь! Институт надоел. Сидеть за партой — седина в волосах. Денег была куча, сейчас одна стипендия в кармане. Идиллия! А хочется какой-то невероятной жизни.

— Какой жизни?

— Вон, читай — дешево, выгодно, удобно! Это относится к таким, как я.

Константин нехорошо рассмеялся, кивнул на рекламу авиационного агентства — неоновые буквы на корпусе электрического самолета вспыхивали, перебегали на высоте восьмизэтажного дома.

Они шли по безлюдному переулку. В сыром воздухе отдавались шаги.

— Куда тебя тянет? — спросил Сергей и повторил: — Что-то тебя тянет в конце концов?

Константин, глядя под ноги, заговорил полувесело:

— Ничего, Серега, ничего. Я как-нибудь... Я как-нибудь... Не в таких переплетах бывал. Было шоферство. Хотел создать независимость. Деньги — они дают независимость. А денег больших не скопил. А что было — будто швырнул в уборную. Четвертый год в институте — и не могу зуб-

речь, не могу сидеть с умным видом за столом и изображать будущего инженера. Мне что-то хочется, Сережка, сам не пойму что! А! Давай в кино рванем, что ли? Или куда-нибудь выпить!

— Ты как ребенок, Костька,— сказал Сергей.— Брось сентименты, не сорок пятый год. Мы только начинаем жить. Это после войны все было, как в тумане. Пойдем пошляемся по Серпуховке, может, что-нибудь придумаем.

Капли падали с темных лип.

### Глава третья

Они оба сдавали экзамены последними. В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от яркого солнца. Блестели столы, металлические детали разобранных врубовых машин, масляно отливала новая модель горного комбайна; чертежи на стенах казались световыми пятнами.

Здесь их было трое.

Доцент Морозов в белых брюках, в белой, с распахнутым воротом рубашке сидел не за экзаменационным столом, а на подоконнике со скрещенными на груди руками. Он не глядел ни на Сергея, ни на Константина — с интересом следил за игрой бликов на потолке, был, казалось, полностью занят этим.

Была тишина. В лаборатории отчетливо было слышно, как в липах бульвара кричали воробьи, а за дверью гудели голоса, колыхался тот особый неспокойный шум, который всегда связан с последними экзаменами перед летом.

На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.

— Ну,— сказал Морозов,— кто готов? Кто первый ринется в атаку? Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму. Я признаю даже косноязычное бормотание. Без ораторских красот. Горные машины — это практика. Рефлекс, привычка, как застегивание пуговиц. Знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полунинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?

— Разрешите немного подумать? — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы на вопросы, добавил: — У меня нет желания очертя голову идти в атаку, Игорь Витальевич.

После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином он сел за учебник поздно ночью, когда все уже спали, лег в четвертом часу, не выспался, встал с тяжелой головой, не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан весь учебник, прочитаны конспекты.

Ему, казалось, повезло с билетом: неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их,— все это помнил, однако не в силах был нащупать точной и прямой последовательности, записывал на бумагу ответы, знал: Морозов по предмету своему никогда не ставил ни троек, ни четверок, были у него две оценки: двойка или пятерка.

— Может быть, вы, Корабельников, решитесь?

Морозов, с любопытством глядя на потолок, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, будто обращаясь к матовой люстре под потолком:

— Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами! Не нарушайте тишину! Вы где служили, в разведке?

Плохо конспирируете! Я не признаю такой конспирации! Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел? Или вечером кого-нибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую! Это меня не пугает!

Морозов оттолкнулся от подоконника, зашагал длинными ногами не к столу Константина, а в конец лаборатории, задержался перед дверью, послушал гудение голосов в коридоре, слегка наклонив голову. Сергей, бросив писать ответы, смотрел на Константина с беспокойством.

С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет, одна рука лежала на столе, другая искательно опущена. По всей позе его, по опущенной руке этой было ясно: он «велико горел без дыма». Потом Сергей увидел, как Константин быстро вынул учебник из стола, положил возле билета, решительно встал.

— Нет смысла, Игорь Витальевич. Все ясно.

По тому, как сказал это Константин, по тому, как проследовал по аудитории к Морозову и протянул ему билет и зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.

— Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю.

Морозов взял зачетную книжку, полистал, сунул в карман белых брюк, прочитал вопросы в билете Константина, переспросил:

— Значит, по билету на пятерку не знаете? Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?

Константин кивнул молча. Морозов нахмурился.

— Как будете жить? Что будете есть?

— Сапоги,— проговорил Константин.— Они помогут.

— Что-о?

— Продам великолепные новые армейские сапоги. Разрешите идти?

— Вот как? Сапоги? И портянки тоже?

Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая длинной фигурой солнечные столбы. Шагал и нервно хлопал ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубной машины. Заговорил раздраженно:

— Какой из вас, к друзьям собачьим, инженер, если вы свое... свое... не знаете? Стыд и позор! Конец света! Буссоль небось знали? Знали! Иначе бы какой разведчик! Как вы приедете на шахту, техники не зная? Как? Что? Можете мне не знать ни искусство, ни литературу, но техника... техника! Что будете делать? Как уголь рубать — ручками, кайлом, топором, зубами? Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент, слов не нахожу от восторга!

Морозов сел к столу, бросил перед собой зачетную книжку Константина, потянулся к ручке.

— Значит, двойку хотите, или кол вам вклеить за легкомысленность? И по всей справедливости... Учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги!

— Как хотите, Игорь Витальевич,— равнодушно произнес Константин.

Морозов стал барабанить пальцем по билету, говоря внятно:

— Вот, вот, у вас первый вопрос — крепления в лаве! Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепления, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством — и рассыпятся ваши крепления в пыль! Завал! Людей погубите? Не-ет, убийца я из института не выпущу! Не-ет! — Он помахал пальцем перед собой.— Таких инженеров в нашем государстве не надобно! Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?

Стало тихо. Слышно было жужжание голосов в коридоре; сквозь листву с улицы пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.

— Игорь Витальевич! — громко произнес Сергей. — Разрешите отвечать? Я готов.

Он не был готов, но уже сидел, не набрасывая ответы, не вникая в смысл билета — смотрел на смугло-красное лицо Константина, на раздраженное лицо Морозова. Знал вспыльчивость и небыструю отходчивость доцента и также знал, что Морозов жестоко не прощал незнание системы креплений. Был всему институту известен случай, когда он добился исключения студента уже с четвертого курса за легкомысленное отношение к горному оборудованию, как говорил сам Морозов.

— Вы хотите отвечать? — отделяя слова, спросил Морозов. — Прекрасно! Давайте ваш билет. Корабельников, подойдите ко мне, не изображайте недвижимое имущество! Вы, Корабельников, и вы, Вохминцев, будете отвечать без билетов. Все вопросы в билете можете забыть. Вот так-то! Жалуйтесь хоть самому министру высшего образования, хоть богу, хоть дьяволу!

Морозов сунул билеты под экзаменационный лист, обвел обоих колющими зрачками, указал в сторону металлических стоек — креплений для угольного комбайна.

— Будьте любезны, подойдите к этим штуковинам, Корабельников. Що цэ такэ? Як цэ называется? Зачем воно, цэ гарна овощь? Ась?

Константин подошел к стойкам.

Сергею была знакома эта манера Морозова в моменты неудовольствия и раздражения коверкать язык, «гонять» по всему курсу, недослушивать ответы, понял, что Константин сейчас «дико поплывет», и, чувствуя в себе какую-то злую, подмывающую уверенность, сказал настойчиво:

— Игорь Витальевич, разрешите мне.

Морозов откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки.

— Прекрасно! Значит, хотите своим телом закрыть амбразуру? Ну что ж, это даже любопытно. Посмотрим, широка ли у вас грудь. Корабельников, походите возле креплений, пощупайте болты и подумайте. Вохминцев, прошу вас. Представьте такую петрушку. Вообразите на мгновение: вы — главный инженер шахты. Сняли трубку, звоните в лаву. Спрашиваете: «Как комбайн, сколько заходов?» Бригадир гундит, он всегда будет гундеть в таких случаях: «Стоит, хоть черта дай, проверям». — «Как стоит?» Вы каскетку на макушку, напяливаете робу — и в лаву. Там возня и кутерьма возле комбайна. Машинист сопит и, как всегда, лезет ключом в редуктор. В это время рабочие лавы, вполне возможно, могут материться и сыпать выражения на голову бригадира. А бригадир гундит: «Ребята молодые, неопытные», — туда, сюда и всякие лирические слова... Ваше решение? Без развернутого ответа. Без подлежащих и сказуемых. Конкретнее! Работа остановилась, вся лава стоит!

Вот она, излюбленная манера Морозова предлагать вольный вопрос. Сказав это, довольно улыбнулся, мелькнула лихая щербинка меж передних зубов. Сергей на мгновенье почему-то подумал, что вот так он, Морозов, бегал в войну по лавам Караганды, и, уже точнее подбирая слова, внутренне готовясь к следующему молниеносному вопросу, ответил намеренно неторопливо:

— Проверить цепь, нужный для нового пласта наклон зубков. Возможна заштыбовка. Это первое... Самое же примитивное — соседняя лава перебивает напряжение. А второе...

— Стоп, стоп! — не утверждая, не отрицая, оборвал Морозов и стукнул ладонью по столу, поднял брови на Константина. — А вы как думаете-полагаете?

Константин потоптался около стоек, покусал уски.

— Вполне возможно...

Морозов хмыкнул, не дав договорить:

— Почему этак неуверенно? Вохминцев, покажите, как это делается. Детально покажите. И быстро. На вас глазают рабочие лавы. Ошибетесь — ваш инженерский авторитет превратится в пшик!

Сергей ожидал иной каверзный вопрос, однако ему вторично повезло. Но теперь, сознавая, что, не ошибаясь, объяснит все детально и точно, Сергей нарочито замедлил движение, прокручивая цепь комбайна, не спеша ходил вокруг него и одновременно взглядывал на Константина. Сергей надеялся, что эта его неторопливость поможет Константину сосредоточиться, и вместе с тем показалось ему, что после того как декан заметил учебник в столе у Константина, было уже Константину все равно.

— Стоп, стоп! — Морозов снова перебил Сергея, хлопнул ладонью по столу, улыбкой раздвигая губы.— Медленно! Медленно закрываете грудью амбразуру. Все, все! С вами все! Где ваша зачетная книжка? Дайте ее сюда. Оставьте ее здесь. И прошу вас выйти из аудитории!

Сергей не ожидал этого.

— Я думал, вы зададите третий вопрос,— проговорил Сергей, уже чувствуя раздражение к декану, к его нервному тону, будто Морозов с целью взвинчивал, дергал и его и Константина.— Вы не даете сосредоточиться, Игорь Витальевич. Дайте Корабельникову подумать. Сколько он хочет. Здесь не мотоциклетные гонки.

— Вон ка-ак! — Морозов встал, вытянул шею из воротника апаш, упершись кулаком в стол.— Гонки? Я иного мнения. Противоположного. Чуть ерундите! В жизни вам некогда быть тугодумом! Двадцатый век с его планами стремителен. Инженер-эксплуатационник должен с быстротой молнии принимать решения. Должен знать производство, как родинки на лице жены. Возражаете, нет? Наши недостатки идут от тугодумства, из негибкости, из незнания! Больше поворотливости, больше инициативы, находчивости — вот основное для инженера! Покиньте аудиторию, Вохминцев! Немедленно! И в болото ваш либерализм! Не ожидал от вас!.. Выйдите.

— Выйди,— попросил Константин и неожиданно с азартной готовностью обернулся к Морозову.— Что ж, спрашивайте, Игорь Витальевич, задавайте вопросы. Хуже, чем на тройку, не отвечу. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Задавайте вопросы.

— Бойтесь потерять стипендию?

— Я не миллионер, Игорь Витальевич.

Морозов молчал, спрятав в ладони лицо. Молчал и Сергей, удивленный внезапной решимостью Константина, потом положил на стол перед Морозовым зачетную книжку, взглянул на Константина, увидел отрешенное, улыбающееся его лицо и вышел из лаборатории.

В коридоре шумно, сильно накурено.

Уже сдавшие экзамен студенты стояли возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучался с билетами в опустевших аудиториях, догваривались, чтобы всем, собравшись, пойти в ближний в подвале прохладный бар, с чувством облегчения и свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива, чем обычно завершался экзамен.

Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника, вразвалку подошел низкорослый Косов, в морской фланельке, тесной на кру-

тых плечах, и следом Подгорный, небритый, с добродушно золотистыми суженными глазами; спросили почти одновременно:

— Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?

— Пока не знаю. Кажется, Костя сыпется с великим треском. Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. У него — система креплений. Морозов больше читал нотаций, чем спрашивал.

— Признак не шибко.— Подгорный озадаченно поскреб щетину на подбородке.— Влепит чи не влепит двойку?

— Возможно,— сказал Косов.— Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон.

— Та я ж и на фронте перед боем не брился,— не сердясь, заговорил Подгорный.— Такая привычка. Не могу! Уверенность должна быть. Як же Костька-то, поплыл?

— Подождем.

Косов протянул Сергею пачку «Беломора», дорогую, не по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь завершения труднейшего экзамена. Закурили, стоя у распахнутого окна, на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории горных машин,— оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответа Константина, будто разговаривали там шепотом. А в коридоре гудели голоса, солнце с летней силой припекало подоконники, открывались и закрывались двери коридора, потные, счастливо сдавшие студенты победно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, хохотали. И Сергей вдруг с отчетливой ясностью подумал: если Константин сейчас завалит Морозову, то немедленно, не раздумывая, уйдет из института.

— Братцы, пончики! В буфет привезли, горячие-е! Рубль штука. Расхватывают!

Подошли — весь круглый от спины к груди Морковин, с широким белесым лицом, с желтыми островками конопушек на лбу и носу, рядом Лидочка Алексеева, высокая и темноволосая, подстриженная под мальчика. Оба они в бумажках держали поджаристые пончики. Морковин жевал с набитыми щеками, мигал коровьими ресницами.

— Сдал? — спросила Лидочка Сергея, смело приблизилась к нему, улыбаясь, поднесла к его губам пончик.— Подкрепись, бедненький... Голодный, наверно?

— Не видишь, я курю? — сказал Сергей, отводя лицо.

— О боже мой, когда ты перестанешь хмуриться, ужасно надоело! — не обижаясь, сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками.— Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?

Он заметил ее странное внимание к себе с первого курса: разговаривала с ним уверенно, глядя в глаза; подсовывала перед экзаменами аккуратные конспекты; часто занимала место возле себя во всегда переполненном буфете: «Сережа, садись!» Однажды, выходя из аудитории после лекций, она увидела: на его пиджаке не было пуговицы,— спросила с довольной улыбкой, где же он оторвал ее и можно ли пуговицу пришить. Он ответил, что не стоит беспокоиться, что жена его сделает это не хуже; и она поняла и усмехнулась, отошла молча.

— Наш Морозец сегодня ужасно не в духе, наверно с женой поссорился,— весело сказала Лидочка, косясь на Сергея.— Заставлял меня раз десять включать врубовку, и все называл «уважаемая», и все вежливо спрашивал, крепкие ли у меня нервы. А Володьку,— она кивнула на Морковина,— совершенно замучил художественным описанием завала. «Ваши действия?»

Морковин, возбужденный, сел на подоконник; несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму с горными погончиками.

— А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало! — радостно ужасаясь, вставил он. — Ну ровно тысячу рублей одалживал! Свиристует!

— Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной, — наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами. — Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те, писк, визг, батистовые платочки, а тут тебе — грубый уголь. Дошло?

— Что это у тебя? Что это у тебя за мозаика? — Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой груди Косова: — «Не забудь мать свою». Ха-ха! Кто тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи.

— Женщина! — Косов снял Лидочкину руку, снова взглянул снизу вверх — она была на голову выше его. — Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки. А во взводе у меня были и блатники. А я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях.

— Ну и что? — Лидочка с хрустом откусила пончик. — И разрешил себя расписать?

— Женщина, мне нужно было держать их в руках. И я ходил на голове.

— Та шо ты ей объясняешь? — Ухмыляясь, Подгорный встал возле скана, подняв лицо к лучам солнца. — Та я знаешь шо в танке возил, Лидочка? О, скажу — и не поверишь! В сорок первом. Я возил четыре мешка денег. Две недели я был миллионер. Похоже?

— А деньги куда же? — спросил Морковин и перестал жевать.

— Как куда? В какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все.

— Фронтные воспоминания в перерыве между экзаменами, — засмеялась Лидочка. — Чудные вы, мальчишки.

В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин — кирпичный румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу; в руке пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали наружу конспекты.

— Вохминцев, возьмите зачетку, — громко сказал Морозов. — Вы свободны, можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток. Завтра в половине третьего зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все. Будьте здоровы.

И, даже не кивнув, зашагал по солнечному коридору, сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже высокий, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающей его неловко длинную шею, широкую спину.

— Боже мой, какое все же золотце Морозов! — с восхищенным вздохом сказала Лидочка, вытерла пальцы о бумажку, но никто не обратил на ее слова внимания — все тотчас окружили Константина.

Тот стоял, несколько возбужденный, с капельками пота на запачканном маслом лбу, говорил посмеиваясь, с хрипотцой:

— Братцы, это был грандиозный кошмар! Лобное место времен Ивана Грозного! Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. «Почему это? Для чего это? Зачем это?», «Представьте такое положение», «Вообразите следующее обстоятельство». Лазил на карачках возле комбайна и врубовки, нащупался болтов на всю жизнь. — Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением. — В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и Морозец! Он, ребята, одер-

жимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу-у, дьявол! Чуть живьем не съел.

Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки, и ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение; и Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу:

— Пошли на бульвар. Выпьем газированной воды. Идемте, я угощаю,— предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.

— Ты, кажется, меня не приглашаешь? — спросила Лидочка безразличным тоном.— Как это благородно!

— Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор,— сказал Сергей.— Фракция женщин может оставаться на месте.

— Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков,— проговорил Морковин, сидя на подоконнике.

#### Глава четвертая

Бульвар был полон студентами всех курсов, уже сдавших и еще не сдавших экзамены: сидели на скамьях с конспектами, со шпаргалками на коленях, лихорадочно листали учебники, стояли группами посреди аллей, разговаривая громкими голосами, заставляя оглядываться на себя прохожих, смеялись, радуясь тому, что «свалили экзамен», что уже было лето.

Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип стояла очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся стаканы. И от мокрых двугривенных, от этого освежающего шипения, от вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло приятно летним: знойным и прохладным.

С удовольствием, с расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки. Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал превесело:

— Ну что, в Химки, что ли, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?

— Сядем здесь,— сказал Сергей.— И решим.

Сели на горячую скамью. Константин облегченно расстегнул на груди мокрую от пота яркую ковбойку, откинулся, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дышал глубоко, медленно, с наслаждением.

— Братцы, а жизнь-то все-таки хороша,— сказал Косов, подкидывая в воздух влажный двугривенный и ловя его маленькой ладонью.

Подгорный, нежась на солнце, с ленивым удовольствием скреб щетину на подбородке, губы размягченно улыбались, словно хотел сказать что-то и не говорил.

— Оптимисты, дьяволы,— пробормотал Константин, щурясь.— Жертвы суеврия.

— Нет, хлопцы, я вам должен сказать,— заговорил Подгорный, сладостно зажмуриваясь.— Скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем, научно доказано, много водорода. Появятся над нами два солнца — это будет жизнь!

— Деваться будет некуда,— сказал Косов, подбрасывая монету.

— Да вы что, температурите? — спросил зло Константин.

— Вот что, Костька,— проговорил Сергей,— Морозову ты должен сдать. Что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя

по системе креплений весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрещаешь с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится, поможет Подгорный. Приемлем план?

— Куда ж денешься,— сказал Подгорный, все с нежностью щупая шетину на подбородке.

— Ну, устроим утром аврал? — Косов, поймав в воздухе монету, ударил кулаком по колену, затем спросил, моргая Константину жарко синим глазом.— Ну, орел или решка?

— Вы что меня атаковали? — произнес Константин, глядя в пеструю путаницу теней на листе.— Нажим партийной группы на беспартийного большевика? Но таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все — поедем в Химки!

— Брось,— сказал Сергей.— Поехали домой.— Он встал.— Поехали, Костька.

— А ну, р-раз — майна, вира! От-торвем от предмета! — захохотал Косов, сильным движением подымая со скамьи разомлевшего от усталости Константина.

И тотчас ленивый Подгорный, с другой стороны подталкивая Константина в бок, заговорил:

— Та шо мы тебе, подъемные краны?

— Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились — в рукавицах не оттащишь! Вы что, святые?

Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке, с видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик, но и этот свист и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, мягко добродушные улыбки Подгорного, низкорослая фигура Косова и эта его уверенность в том, что все будет как надо.

И Константин вдруг почувствовал, что именно у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам — ко всему тому, к чему был интерес у них. Что же делать? Что делать тогда?

А на бульваре шумели голоса, все длиннее выстраивалась очередь возле тележки с газированной водой, все больше прибывало групп студентов из пустеющего института. И Константин, вдыхая сухой запах лип, тоже хотел радоваться этому ожиданию свободы, зеленого лета, купанию в Химках, лежанию на пляже, прикосновению горячего солнца к плечам — тому, что хотел испытать в Одессе. Но чего-то не хватало в его жизни для полноты душевного покоя.

— Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках,— с обычной беспечностью своей сказал Константин.— И все великолепно.

— Это как раз не удастся,— ответил Сергей.— Поехали.

— Привет коллегам! Как дела? Свалили?

От группы студентов-четверокурсников, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Синяя шелковая тенниска облежала чуть покатые плечи; открытые, со светлым волосом руки, сильное лицо были тронуты первым загаром — вид спортсмена, приехавшего с юга.

— Свалили машины, гордость третьего курса? — спросил он, с улыбкой оглядывая обоих.— Все в полном порядке или не хватило одной ночи? Ты, я слышал, Сергей, сразу поставил Морозова в нулевую позицию — пять с плюсом отхватил? Ходят слухи в кулуарах.

— Миф,— сказал Сергей.— Нулевых позиций и плюсов не было. Ну, а на четвертом курсе?

— Все в норме.— Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карманам, ища папиросы; был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, душевным равновесием.— Вы куда спешите, хлопцы?

— По хатам.

— Да вы что? Мы собрались отпраздновать это дело, присоединяйтесь! Пойдем в бар: здесь жарница, а там свежее пиво, раки, сосиски, а? Третьекурсники! Я против всяческой субординации.— Он взглянул на Сергея, на Константина весело.— Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе, все будет в норме. Объединим два курса—ваш и наш—и тихо, мирно атакуем бар. Павел!—крикнул он.—Присоединяем к себе третьекурсников?

— Я не пью пиво.— Константин провел ладонью по горлу.— Меня тошнит от пива. Отрыжка. Икота.

— К сожалению, привет!—кивнул Сергей.—Спешим домой. Обед стынет.

— Вы меня удивляете! Просто гранитные скалы!—пожал плечами Уваров.—Видимо, тренируете силу воли.

— Что поделаешь—воспитываемся,—вздыхнул Константин дурашливо.—Режим. Экзамены. Соседи по квартире.

— Жаль, хлопцы, просто на глазах гибнут лучшие люди,—сказал Уваров и обернулся, крикнул шутливо в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи:—Слушай, Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов. Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы, жаль!

Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухошавый, весь прямой, в плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, опираясь на палку-костылек, повернулся к Сергею.

— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день... Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!

— Ждут дома,—повторил Сергей.—Это невозможно.

Прежде Свиридов, когда преподавал военное дело, не всегда носил китель—иногда появлялся в институте в черном и нелепом на нем гражданском костюме,—но с тех пор как он ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно, и в этом упрямстве что-то нравилось Сергею: казалось, Свиридов не мог расстаться с армией, в которой ему не повезло по состоянию здоровья. Ему было тридцать два года, но лицом он выглядел гораздо старше—давняя желудочная болезнь высушила, источила его.

— Есть люди,—сказал Константин, когда они подошли к автобусной остановке,—есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?

— Ты о ком?

— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маски. Цирк! Скрывают застенчивость—развязностью, наглость—смущением, эгоизм—ложным альтруизмом... А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло выскочит, как поплавок из воды.

— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать все эти маски.

— Тогда в первую очередь, Сережка, сдери маску с себя.

— Не понял. Какого черта!

— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?

— Ты весьма наблюдателен, Костенька!

— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — не разлей вода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин шелкнул пальцами, подыскивая слова. — Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову на отрез — идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.

— Хватит!

— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?

— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, Костька, хватит!

...Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили возле подоконников, и Сергей, казалось, привык к нему, смирился с чем-то, и уже не хотелось думать о нем — мысль об Уварове вызывала усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, возникало злое ощущение недовольства собой. Был Уваров простодушно улыбался при встречах, ясно, с особой расположенностью улыбался, как бы подчеркнуто выказывая радость, протягивал руку: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте, — псхудели щеки, чуть обострилось, но стало мягче лицо. И Сергей словно постепенно погас, притерпелся к этому новому, не похожему на того, встреченного после фронта, Уварову, ослабели, размягчились какие-то струны, была апатия, о которой он не мог даже предположить два года назад.

Только раз прошлой зимой на студенческом собрании Сергей, сидя позади Уварова, увидел вдруг его сильную, упрямо напряженную шею, край пристально глядящего в задумчивости голубого глаза. И что-то мгновенно оборвалось, сместилось. И вновь возникла прежняя ненависть. Он опять взглянул на Уварова — шея ослабла, край голубого глаза был весело улыбчив. Уваров оглянулся на Сергея, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него, было такое чувство, точно был замешан в чем-то отвратительно противоестественном.

Через несколько дней это ощущение прошло.

#### Глава пятая

— Хватит, Сережка, конец! — сказал Константин и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову. — Перестарались. Я уже перенасыщенный раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.

— Абсолютно?

— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо было в каменном веке — никаких тебе машин, сиди, оттачивай дубину и поплеывай на папоротники.

— Кончаем. — Сергей развалился в старом кресле, устало и с удовольствием вытянул ноги. — Да, Костька, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно.

Окна и двери были открыты. Сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.

— Все ясно! Где вы, мамонты? — Константин захохотал, потом с треском ударил учебником по столу, сверху по учебнику хлопнул пачкой

конспектов, сказал:— Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и тямнем жигулевского пива? Или наоборот?

— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром.

— Согласен на все.

В комнате-мастерской Мукомоловых по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, стояли два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались старые, покарябанные стулья в углах, на заляпанных пятнами сиденьях — тюбики с красками, баночки для мытья кистей: была прежняя аскетическая обстановка в комнате. Но странно — она не казалась пустой. В комнату со стен внимательно и пристально смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом, но удивительно умным, мягким. Знойный лесной свет солнца в березах, первый снег в московском переулке с грязным следом проехавшей машины, луговая даль после дождя. Сергея поражало противоречие, это несоответствие запущенности мукомоловской комнаты с полнозвучной жизнью картин, будто здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах набело и ярко, счастливо.

Когда Сергей и Константин вошли, Мукомоловы при свете настольной лампы сидели на диване. Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам, — сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; погасшая папироса торчала из бородки. Эльга Борисовна вслух ровным голосом читала газету, маленькая, девичья фигурка ее была сжата. Она отводила пальцем черные с проседью волосы, падавшие на висок.

— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай! — Мукомолов вскочил, смеясь глазами, долго двумя руками тряс руки Сергею, Константину. — Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!

— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя, — со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула газету, сунула ее куда-то на полочку. Смущенно запахла мужскую рабочую курточку со следами старой краски на рукавах. — Я одну секундочку... Только поставлю чай.

— Ну зачем беспокоиться, — сказал Сергей.

— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это крепкий табак! — вскрикивающим голосом заговорил Мукомолов и забегал возле дивана, спотыкаясь, задевая за подвернувшиеся края коврика на полу, и вдруг сильно закашлялся, сотрясаясь телом, прикурил папиросу, жадно вобрал дым, выговорил: — Ничего, ничего. Главное — вы пришли. Спасибо. Я рад. Это главное... Это большая радость!

Мукомолов задержался возле дивана, тоскливыми глазами обежал лица Сергея и Константина, сконфуженно вытер носовым платком пот со лба и выдавленные кашлем слезы в уголках век.

— Фу, жарко... Вы чувствуете — ужасно душное вечера, — проговорил он извиняющимся тоном и сел, сгорбясь, теребя бородку. — Ну, как вы поживаете? Что новенького у молодежи?

— Все по-старенькому, если не считать экзамены и всякую мелочь, — сказал Константин.

— А как вы? — с удивлением наблюдая за Мукомоловым, спросил Сергей. — Что у вас нового, Федор Феодосьевич?

Мукомолов молчал, рассеянно разглядывая стертый коврик возле дивана, и как будто сразу не расслышал то, что спросил его Сергей.

— Простите, Сережа. Что у меня? Что у меня, вы спрашиваете? Дайте-ка мне газету, Костя! — встрепенувшись, воскликнул Мукомолов с де-

ланной, вызывающей веселостью.— Там, на полочке, куда положила Эля! Вы читали газеты? Нет? Вот послушайте, что здесь пишется. Вы только послушайте.

Он с треском развернул газету, оглянулся на дверь, помолчал некоторое время, пробегая по строчкам.

— Ну вот, пожалуйста! Вот что говорит наш один деятельный художник: «Космополитам от живописи, людям без роду и племени, эстетствующим вырожденкам нет места в рядах советских художников. Нельзя спокойно говорить о том, как глумились, иезуитски издевались эти антипатриоты, эти гнилые ликвидаторы над выдающимися произведениями нашего времени. Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашего искусства... Странно прозвучало адвокатское выступление художника Мукомолова, пейзажики и портреты которого напоминают, мягко говоря, вкус раскусанного гнилого ореха, завезенного с Запада. Однако Мукомолов с издевкой пытался...» Ну, дальше этот отчет читать не нужно, дальше идут просто неприличные слова в мой семейный адрес... Во, как здорово! А вы как думали!

— Не понимаю. Это... о вас? — проговорил Сергей.— Я читал зимой о космополитах. Но при чем здесь вы?

— При чем здесь я, Сережа? Меня просто обвиняют в космополитизме, в отщепенстве. В чуждых народу взглядах... Вот и все.

Мукомолов быстрым движением стал зажигать спички, ломая их, глубоко затаился, обволакиваясь дымом, вместе с дымом выталкивая слова:

— Началось с того, что я пытался защитить критика-искусствоведа Лейкмана, его обливали грязью. Но я его знаю. Все неправда. Этому нельзя верить. Шум, свист, топанье — ему не давали говорить. Ему кричали из зала: «Ваши статьи — это плевок в лицо русского народа!» А это культурный, честный, с тонким вкусом человек, коммунист, уважаемый настоящими художниками, смею сказать. Кстати, он тяжело заболел после этого полупочтенного собрания. И что, вы думаете, было сказано после этого? — Мукомолов отвернулся, махнул зажатой в пальцах папирсой.— Вот вам...

Константин, с грустным вниманием слушая Мукомолова, сидел, положив ногу на ногу, слегка покачивал носком ботинка.

Сергей, хмурясь, взглянул на Мукомолова.

— Но почему... в чем обвиняют вас? Именно — в чем?

— Не знаю, не могу понять! Чудовищно все это! Мне кричат, что мои пейзажи — идеологическая диверсия. Что я преклоняюсь перед западным искусством, что я эпигон Клода Моне! Но где, в чем влияние Запада? — Мукомолов с недоумением повел бородкой по картинам на стенах.— Не знаю, не понимаю!

Мукомолов, по-прежнему сгорбясь на диване, оглядел щелками блестящих глаз безмолвно сидевших Сергея и Константина. И сразу преобразился весь: через порог, поправляя одной рукой волосы, мелким шагом переступила Эльга Борисовна с чайником. Мукомолов кинулся к ней, неловкий в своей старой расстегнутой куртке, подхватил чайник, с излишним стуком поставил на стол — тень Мукомолова качнулась по стене, по картине,— заговорил оживленно:

— Спасибо, Эленька. Будем чаевничать напропалую. Чай великолепно действует против склероза и, несомненно, омолаживает организм.

И сейчас же, опережая Эльгу Борисовну, стал молодо бегать от низкой застекленной тумбочки, заменяющей буфет, к столу, ставя чашки, брося ложечки на старенькую скатерть. Эльга Борисовна, проведя рукой по волосам, как бы прикрывая седые пряди, проговорила смущенно:

— Почему вы сидите без света? Со светом веселее и лучше.

И повернула выключатель — зеленый, еще довоенный абажур над столом наполнился огнем. В комнате стало теснее: портреты, лесные и полевые пейзажи, казалось, придвинулись со стен, раскрытые окна превратились в черные провалы.

Сергей смотрел на Мукомолова, вытирал пот с висков. Теплые струи воздуха, запах нагретого асфальта вливались в духоту комнаты. Мукомолов наклонился над столом, нацеливая дрожащий носик чайника в чашку. Было тихо, жарко, все молчали. Крутой чай с паром лился в чашку. От пара, ползшего по скатерти, от молчания, от смущенной улыбки Эльги Борисовны было еще жарче, теснее, неудобнее, и еще более неудобно было Сергею оттого, что он не понимал до конца весь смысл того, о чем говорил сейчас Мукомолов, он лишь чувствовал, что где-то рядом ломались чьи-то судьбы, ради чего?.. Зачем?

— Идеологическая диверсия, — вспоминающим голосом заговорил Мукомолов, наливая чай в другую чашку.

— Федя! — с испуганной мольбой проговорила Эльга Борисовна и прикрыла глаза сухонькой ладонью. — Умоляю, оставь эту тему.... Федя, я тебя прошу...

— Эленька, я старый человек, и мне нечего бояться, — рассерженно фыркнув, произнес Мукомолов. — О, наше молчание, равнодушие не приводят к добру! Ну хорошо, я не скажу ни слова.

Мукомолов с волнением тыльной стороной пальца ударил снизу по бородке и сейчас же потянулся за папиросой.

Все молчали.

— Я знаю, что с тобой будет, — едва слышно сказала Эльга Борисовна. — За вчерашнее выступление, Федя, тебя исключат... выгонят из Союза художников. Не так?

В голосе внезапно зазвенели слезы, и тотчас Мукомолов трескуче закашлялся и преувеличенно живо, бодро заходил вокруг стола; преодолев приступ кашля, он указал в угол, где лежали гантели и гири, потом поднял руку, согнул в локте и, сощурился, с детской наивностью пощупал свои мускулы.

— Ну и что? У меня хватит силы! Пойду в декораторы. Нам много не надо — проживем!

— Вы видели этого сумасшедшего? — тихо спросила Эльга Борисовна.

Мукомолов сел за стол, покрутил ложечкой в стакане, отхлебнул, благодарно кивнул Эльге Борисовне, снова отхлебнул и, видимо утоляя жажду, выпил в несколько глотков весь стакан, сказал:

— Ах, как хорош космополитский чай!

— Все это пройдет, — неотрывно глядя на чашку, к которой не приоткрылась, произнесла Эльга Борисовна. — И не надо портить настроение мальчишкам. Витя бы тебя тоже не понял... Просто, Федя, произошла ошибка... Все пройдет, все успокоится.

— Ошибка, Эленька? Может быть! Но никто не хочет таких ошибок! — воскликнул Мукомолов и протестующе отодвинул стакан. — Чудовищно все! Чудовищно, потому что несправедливо!

Громко закашлявшись, Мукомолов вскочил, подошел к окну, стал возле него, закинул руки за спину, сцепил пальцы. Потом плечи его поежились, он быстро и неловко стер что-то со щеки и снова, решительно распрямив спину, сцепил пальцы за спиной.

Сергей и Константин переглянулись; этот жест Мукомолова, когда он поднес руку к щеке, и неуверенные слова Эльги Борисовны «это пройдет» остро кольнули Сергея, и он увидел, как Константин отвел глаза.

— Что бы ни было, Федор Феодосьевич,— вполголоса сказал Сергей,— я бы боролся... Здесь какая-то ерунда и сшибка.

Он произнес это, злясь на себя за сухие, ненужно бодряческие слова, за то, что ничем не мог помочь и еще не мог полностью осознать все. Он знал только одно — была открытая и жестокая несправедливость в отношении безобидно тихой семьи Мукомоловых, всегда связанной в его памяти с именем Витьки. И, сказав об ошибке, он верил, что это не может быть не ошибкой.

— Я не такими представлял космополитов, как вы, Федор Феодосьевич,— сказал он.— Ерунда ведь это.

— И на этом спасибо, Сережа,— пробормотал Мукомолов.

Но он не повернулся от окна, лишь сильнее сцепил за спиной пальцы. Эльга Борисовна, опустив глаза, трогала маленькой ладонью угол стола. Константин ложечкой рисовал вензеля на скатерти.

Молчали. Они поняли, что им нужно было уходить.

— Спокойной ночи, Федор Феодосьевич.

— Спокойной ночи, Эльга Борисовна.

Когда несколько минут спустя они поднялись в комнату Константина, Сергей грубо выругался, а Константин, шумно вздохнув через ноздри, заговорил:

— Н-да, успокоили, называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки. Нет, у нас не соскучишься! — И он отчаянно щелкнул пальцами.— Все равно жизнь продолжается. Выпьем, Сережа? Осталось же две бутылки пива.

— Давай выпьем. Что происходит, Костька?

— Обычный перегиб палки! Подожди. А что от Нины? Письма, телеграммы? Мне хотелось бы ее сейчас увидеть. Улыбка женщины успокаивает. А, чушь говорю, из какой-то оперетты!

— Нина на Урале, Костька.

## Глава шестая

В конце июня Сергей шел один из института к метро.

В глубине узких темнеющих переулков особенно чувствовался летний вечер с жарковатым запахом пыли.

Он шел вдоль высокого забора. В зеленеющем небе висел острый, как волосок, молодой месяц, доносились из-за забора крики задержавшейся волейбольной игры, долетали говор, смех. Возле одного крыльца мелькал огонек, темнели силуэты: девушка в белых босоножках сидела на раме прислоненного к перилам велосипеда, парень возле нее зажигал и гасил ручной фонарик; девушка смущенно взглянула на Сергея, помотала ногой, улыбнулась ему.

Ему некуда было торопиться. Он любил в поздние сумерки бродить по московским переулкам и, когда миновал их, вышел к метро «Павелецкая».

Он долго стоял перед витриной «Вечерки», потом с любопытством читал объявления и афиши: не хотелось домой, спускаться в метро, в подземный воздух, уходить сейчас от этих летних сумерек, от пыльного заката, угасающего за площадью.

В институте было собрание, завершающее сессию, длинная речь директора, капуста, танцы, буфет с бутербродами, духота, разговоры. Он устал, и после разговоров, после суеты институтского зала было приятно стоять здесь, возле метро,— овеивало будоражащим воздухом вечера, и была свобода и неожиданное одиночество. Он испытывал короткое удовлетворение — все кончилось, цель достигнута, экзамены сданы.

«А дальше? А дальше что? Летняя практика на шахтах? Да, практика. А дальше? А Нина? Когда я ее увижу?»

Он знал, что скоро увидит ее.

И ему хотелось стоять здесь, возле метро, читать заголовки газет вперемежку со свежими афишами, но он читал невнимательно: об испытании американцами атомной бомбы на островах Тихого океана, о солдатских сборах западногерманского «Стального шлема», о начавшихся концертах пианиста Рихтера, о летних гастролях Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — заголовки газет кричали, рекламы концертов успокаивали, говорили о жизни обычной, мирной.

В этот теплый вечер лета была, казалось, тишина, покой во всем.

Нина должна была приехать в начале июля. Он скоро ее увидит.

В конце марта ранним утром он проводил Нину до такси и, не стесняясь шофера, обнял и поцеловал ее.

— Это вообще какая-то глупость: ты должна уезжать каждый год? И всегда к черту на кулички — Урал, Сибирь, Бет-Пак-Дала.

— На вокзал не провожай. За минуты на вокзале можно возненавидеть друг друга. В Бет-Пак-Далу еду первый раз — ты это знаешь. После Урала заеду туда на неделю. Меня посылают. Вот и все.

— Кажется, твой муж там? — спросил Сергей спокойно.

— Его снимают и переводят.

Возле ее губ проступили морщинки, и эти морщинки, впервые увиденные им, были почему-то неприятны ему, но он ответил с нежностью:

— Мне неважно это. Я жду тебя, Нина. Счастливо, в общем.

Когда она села в такси и машина с завыванием мотора скользнула за угол, улица стала пустынной, серой, на влажных мостовых стояла ранняя мартовская тишина. В этой тишине белым светом горели фонари, и далеко на вокзалах перекликались гудки паровозов. Он представил: где-то на окраинах Москвы уже было полное утро, мокрые от росы поезда пришли на рассвете, ожидая, шипели, краснели топками; и крыши вагонов и платформы холодны, скользки.

И он представил, как она вошла в теплое купе вагона «Москва — Свердловск», уже вся отдалившись от него, от прошедшей ночи, когда они оба ни часа не спали, и медленно зашагал по гулкому тротуару Ордынки.

«Его снимают и переводят». Раз — прошлой осенью — муж ее прислал короткую и странную телеграмму, состоявшую из трех слов: «Поздравь счастливой охотой», — и Нина, прочитав ее вслух и обратный адрес: «Почтовое отделение Жумбек», — вполголоса сказала:

— Значит, у него не ладится с экспедицией. Тогда — страшная, истребительная охота. А потом плов и водка... Я ненавидела эту охоту. Но он там полный хозяин, и это ценит больше всего. Набрал себе в экспедицию каких-то сорванцов. А ведь знаешь, он способный геолог, только разбросанный, несдержанный человек.

Он молчал, делая вид, что это не касается его.

Три года продолжалась их связь, и он знал хорошо ее, но порой она казалась старше, опытнее его, и он чувствовал едва заметную настороженность по ее чересчур внимательному взгляду в лицо; по тому, как она встречала его, смущенно и молча улыбаясь; по тому, как иногда звонила вечером из геологического управления, робко говоря усталым голосом, что задержится сегодня и нет смысла приходить ему, только не нужно обижаться; по тому, как, идя с ним по улице, она задерживала взгляд на лицах детей, мальчиков, и он видел, как размягчалось, становилось беззащитно-нежным ее лицо, вздрагивали веки, будто теплый ветер дул в глаза.

Однажды он спросил ее:

— Что с тобой, Нина?

— Ты действительно меня любишь? Ты никого не сможешь так, как меня?

— Я люблю тебя. Я не представляю, что со мной было, если бы я не встретил тебя тогда. Я прихожу к тебе и забываю все.

— И только-то, Сережа?

— Нина, мне даже приятно, когда ты молчишь. Наверное, такое бывает... к жене.

— И ты ни разу не сомневался, Сережа?

— В чем?

— Ну в том, что я нужна тебе? Именно я...

— Ты спрашиваешь это?

— Я спрашиваю...

Поднявшись на диване, чуть наклонясь вбок, подобрав ноги, она сидела, не глядя на него, волосы упали на щеку, и пальцем стала водить по стеклу звонко стучащего на тумбочке старого будильника. И потому, что она молчала долго, все кругообразно водя пальцем по циферблату, молчал и Сергей.

— Что ты, Нина? — наконец спросил он.

— Как-то не так у нас, Сережа, — сказала она, откинув волосы со щеки.

— Что не так? — повторил он.

— Пойми меня только правильно, я никогда не говорила об этом, — заговорила она неуверенно. — Нам нужно что-то делать, Сережа, что-то решать окончательно. Меня иногда унижает... вот это... то, что между нами три года уже. Я сама себе кажусь седьмым днем недели. Я хочу, чтобы ты понял меня... Я устала жить как на перекрестке, Сережа.

Он понял, о чем говорила она, и понял, что никогда серьезно не задумывался над этим. Он привык к тем отношениям, которые сложились между ними за эти годы. Нина сказала:

— Сережа, я начинаю думать, что тебе просто так удобно: приходить ко мне, когда тебе нужно.

— Ты не хочешь меня понять...

— А я уже так не могу.

В то раннее мартовское утро, когда он провожал Нину в экспедицию, когда она сказала, что ненавидит последние минуты на вокзале, Сергей возвращался с чувством пустоты, он понимал: все, что было связано с Ниной, должно быть решено им, а не ею.

Сергей вошел в вестибюль метро, постоял в очереди у кассы.

Впереди коротко подстриженная девушка звенела мелочью на протянутой ладонке, и паренек в тенниске отсчитывал, застенчиво брал с ее ладонки деньги; взял и протянул в кассу, говоря серьезно:

— Два билета.

Лето в полную силу чувствовалось и в метро: рокот эскалатора с летящим сквозняком, пестрые платья, белые брюки, спортивные майки, молодые лица и руки, кофейно покрытые загаром, — все напоминало о золотистом песке дачных пляжей, о водной станции, накаленной солнцем, о взмахах весел, прохладном дуновении по реке.

Эскалатор медленно опускал Сергея вниз.

Он стоял позади коротко подстриженной девушки. У нее были теплые, без блеска, глаза, с нижней ступеньки неподвижно смотрела на парня в тенниске, а он, облокотившись на поручень, смотрел на нее таким же долгим, размягченным взглядом. Потом она опустила голову, краснея, тихонько трогая поручень пальцем.

И Сергей невольно отвернулся, как бы не замечая их робкой близости, которой они стеснялись: им было, видимо, по восемнадцати...

Полз, стрекотал эскалатор, рядом шушал «Вечеркой», по-домашнему зевал в газету дачный мужчина в соломенной шляпе. И толкал в ноги Сергея сеткой, набитой консервными банками. Спеша, подымались, плыли навстречу, перемещались лица на соседнем эскалаторе, несло струей подземной прохлады в лицо Сергею. «Им по восемнадцати, а мне — двадцать пять. Уже двадцать пять...»

— Простите, молодой человек! Вы что, не спешите?

Тугая сетка с консервными банками сильно нажала в бок, прошуршала, задев его, соломенная шляпа, и Сергей посторонился, наваялся на поручни. И в то же мгновение что-то знакомое, светлое мелькнуло среди лиц на соседнем эскалаторе. Он не увидел, а почувствовал это знакомое, мелькнувшее там, — обернулся. И тотчас ступеньки эскалатора ушли из-под ног, кончились. Его толкнуло на каменный пол силой движения вниз.

Вывавшись, он протиснулся сквозь хаос бегущих от перрона к соседнему эскалатору толп. Еще не твердо веря, скользя глазами по быстро подымающемуся отсюда потоку людей на эскалаторе, увидел удаляющийся вверх белый плащик, повернутое в профиль загорелое лицо, рванулся к перилам.

— Нина!..

«Она вернулась?!»

Он крикнул, но она не услышала его — эскалатор заглушил голос, — не повернулась, только сняла серенький берет, тряхнула головой — волосы рассыпались по плечам. И что-то сказала, улыбаясь, стоявшему рядом с ней человеку в кожаной куртке — была видна спина его, прямая шея. Он повернулся к ней, и Сергей успел увидеть незнакомое, дочерна выдубленное солнцем большое лицо, крупный и твердый подбородок... И Нина и лицо это поплыли вверх, смешались в движущемся черно-белом потоке.

Сергей стоял, стиснутый с двух сторон текущими к эскалатору людьми, и только чувствовал: не мог обмануться!.. Но он увидел их так коротко, нереально, как будто их и не было.

— Гражданин, не мешайте.

— Вы тут... заснули? Распопырился!

Его толкали к эскалатору, его повлекло, как в водовороте. Он с силой попытался высвободиться из этой потянувшей его вперед тесноты, сделал несколько шагов вперед, и тугой людской поток понес его, втолкнул на ползущие вверх ступени, и он стал подыматься, соображая: «Кто это, ее муж? Это он? Она вернулась с ним?..»

В вестибюле он сбегал с эскалатора, вглядываясь в толпу, в движущиеся лица, но не увидел их. Он вышел из метро, торопливо достал сигареты, оглядываясь со сбившимся дыханием. Площадь кипела легковыми машинами, переполненными троллейбусами, чернеющими толпами пешеходов, неоновый свет лился на асфальт, на головы людей.

И он увидел их. Стояли возле перехода через площадь, пропуская поток машин, — Нина без берета, в коротком плащике; широкоплечий, даже грузный человек в куртке, с чемоданом, уверенно положив ей руку на плечо, что-то говорил ей, и она чуть-чуть кивала, глядя снизу вверх ему в лицо.

«Значит, она вернулась с ним? Но она дала телеграмму: «Выезжаю днями»... Почему она дала неточную телеграмму? Значит, он вернулся?..»

Он теперь угадывал, что они пересекут площадь и пешком пойдут на Ордынку, и уже твердо знал, что этот человек с дочерна загорелым лицом — ее муж, что она вернулась с ним. Он видел его и против жела-

ния чувствовал, что грубовато-резкая внешность этого человека не вызывала в нем неприязни, и первое его движение — подойти к Нине — мгновенно показалось мальчишеской глупостью, и он стоял, слепо чиркая спичками по коробку, не мог прикурить.

Поток машин кончился, и он видел, как они перешли площадь, как человек в куртке поддерживал Нину под руку, как в такт походке волновался ее плащик, потерялся в сумраке вечера на той стороне площади.

Он постоял некоторое время возле метро.

Потом повернулся и двинулся по улице в направлении Валовой, и будто из пелены доносились гудки автомобилей, шум троллейбуса, кипение вечернего города, и возникла мысль, что сейчас все кончилось, будто долго подымался по лестнице, торопился, с размаху открыл какую-то дверь, а за ней — не квартира, а провал, мертвенная высота под ногами...

«Нет! Не может быть! Не может быть!..»

Он остановился. бросил под ноги сигарету, обжигающую пальцы. Горько и сухо давило в горле.

#### Глава седьмая

— Я, ей-богу, умею держать утюг в руках, я не такой уж негодный парень, Асенька, — сказал Константин. — И не пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки с юных лет, научился этому мастерству в совершенстве.

— Ну что вы врете, Костя! — перебила Ася строго. — Ясно по вашим брюкам: вы их кладете под матрас. Не пускайте пыль в глаза. Вот пельница. Можете сидеть и курить и наблюдать молча. Вы поняли?

Было десять часов вечера.

В комнате тихо, по-домашнему пахло снежной свежестью выглаженного белья, белейшей стопкой сложенного на столе. Ася в ситцевом сарафанчике и в тапочках на босу ногу — смуглые плечи обнажены — похлопала палец, осторожно потрогала зашипевший в ее руках утюг. Помотала пальцами, стала гладить, от старательности высунув кончик языка; лицо наклонено, капельки пота выступили над верхней губой.

— Ах, Ася, как вы жестоки ко мне! Ни в чем не доверяете. Вы смотрите на меня как на не приспособленного ни к чему балбеса. Прошу вас, не надо.

Константин ходил вокруг стола, смешливо косил брови, говорил жалобно, полусерьезно, однако не пытаясь, как обычно, вызвать у нее улыбку, смотрел на движения ее рук, на разгоряченное лицо, видел дрожащие росинки пота на верхней губе, втайне наслаждаясь и нежностью к этим чистым капелькам и легкостью ее движений, — она не прогоняла его, как прежде, а снисходительно разрешала быть здесь, и он был рад этому.

— Ася, ей-богу, очень жарко сегодня, и еще ваш утюг... Дайте же мне. Я помогу. Я умру от безделья.

— Да, давайте говорить о погоде. Какой душный вечер! — со смехом сказала Ася и сдунула волосы со щеки. — Действительно: просто какая-то Сахара! Я, например, чувствую себя бедуинкой.

Она подстриглась недавно, волосы стали короткие, обнажилась шея, от этого Ася будто стала выше ростом, и было что-то новое, взрослое и в ее спине и голых руках, даже в интонации голоса.

Вопросительно взглянула на Константина, опять сдунула волосы со щеки — видимо, не привыкла к новой прическе, короткие волосы мешали ей, — потом спросила с улыбкой:

— Лучше скажите, как вы там сдали свои горные машины? Всякие свои штреки, копры? Наверно, было бормотание, а не ответ?

— Крупно плавал, но потом прибило к берегу. Сдал. Не будем касаться грустных воспоминаний.

— Теперь, конечно, на практику?

— Ох, придется, Ася,— вздохнул Константин.

— А я так похудела за экзамены, даже тапочки сваливаются. Чертовски трудный был первый курс. В медицинском вообще трудно учиться. Впрочем, это не жалобы, а факт. Жаловаться не хочу. Я довольна.

И Ася набрала в рот воды из стакана, надув щеки, брызнула на белье, спросила, как бы вспомнив сейчас:

— Вы, кажется, хотели удирать из института?

— Была чудовищная попытка, Ася.

— «Попытка»! Вы просто патологический тип,— сказала Ася с осуждением, блеснула на Константина глазами.— Сами не знаете, что хотите! Ну что вы хотите вообще? Ну что вам интересно? Быть всю жизнь шофером, зарабатывать «налево» деньги? Так, да? А честно, честно не хотите?

— Ася, есть вещи, которые долго объяснять. Просто у меня сохранились животные признаки. Иногда сам себя не понимаю. Потом — я ведь чуточку старше вас.

— Не козыряйте старостью. Как можно не понимать себя? Просто не Костя, а Гамлет, принц датский!

— Ася!

— Тише, не кричите, как в гараже, папа спит! Будете кричать тут, я вас прогону немедленно.

Он увидел на спинке стула пижаму Николая Григорьевича, понял — его нет дома, она обманывала.

— Ася, я шепотом...

— Ну?

— Ася...

— Я знаю, что я Ася. Уже девятнадцать лет знаю. Ну что вы, честное слово! — Она настороженно посмотрела на него.

— Ася... Я... буду брызгать вам... водой. Клянусь, сумею, вы будете довольны. Вот через неделю уеду на практику, и такого усердного дурака не найдете, который будет вам брызгать водой. Я сделаю это талантливо.

Константин с дурашливой и умоляющей улыбкой потянулся к стакану, но тотчас Ася, проворно повернувшись к нему, выхватила у него стакан, гладкое стекло скользнуло в ее пальцах, и Константин торопливым движением подхватил стакан на лету, расплескивая воду на Асин сарафанчик. От неожиданности Ася ахнула, стала поспешно двумя руками отряхивать намокший подол, взглянула быстро — чернота глаз будто с головы до ног уничтожающе перечеркнула Константина. А он стоял, несколько смущенно выпятив нижнюю губу, подняв плечи, держал стакан, глядя на Асю молча.

— Терпеть не могу, когда мужчина лезет в женские дела! — воскликнула она.— Ну что с вами делать? Облили меня талантливо, вот что! Уходите сейчас же, вы мне не нужны со своей помощью! Единственный сарафан, его сушить надо. В чем я буду гладить?

Она наклонилась, сдвинув колени, стала выжимать намокший подол, лицо сердитое; когда она наклонилась, Константин увидел трогательно нежную округлость ее груди в разрезе сарафанчика и поспешно отвернулся, растерянный, боясь, как бы она не перехватила его случайный взгляд, боясь ее стыда и гнева. Ему хотелось поцеловать ее в худенькую склоненную шею,

— Ася, я сейчас на кухню... я сейчас воды...— пробормотал Константин, неуклюже вертя стакан.

И поставил стакан на стол, не решаясь оглянуться на нее, почему-то на цыпочках подошел к раскрытому окну. В черноте двора сопело, хлюпало, шелестело, точно ломали веточки на кустах. В световой конус сыпались капли дождя, свежего, неожиданно летнего.

— Ася, я сейчас...— повторил он виновато.— Я сейчас...

И высунул голову, подставил ее быстрым струям, покрутил головой в этой льющейся сверху влаге, снова сдавленно говоря туда, в окно, в дождь, будто убеждая, казня себя:

— Мне на кухню... мне на кухню... О, ба-алван!

— Что вы там делаете? — крикнул голос Аси за спиной его.— Кушаетесь? Тогда идите в ванную! — И она внезапно засмеялась.— У вас такой вид, будто вас из бочки с водой вынули! Возьмите мой зонтик!

Он, как со стороны, видел на своем лице глупую улыбку, сказал:

— Ваш зонтик, Ася, нужен мне, как рыбе галоши. Просто мне хочется набить себе физиономию, глупую, развратную физиономию. Не смейтесь, я себя знаю! Великолепно знаю!

— Что, что? — почти шепотом спросила Ася, перестала смеяться, машинально провела двумя руками по влажному сарафану.— Что вы так смотрите? Вы что это сказали? — Ася, покраснев, подняла голову.

— Ася, я сам знаю, что я не ангел, но вы обо мне думаете очень уж плохо,— глухо сказал Константин.— Вы почему-то все, что угодно, можете мне говорить. А я ведь не мумия.

— Лжете, в глаза лжете! Вы сами сказали!

Из темноты окна наносило плеск дождя, стук капель о подоконник. Худенькие плечи Аси были неподвижны, стояла растерянно (так показалось ему), только покусывала нижнюю губу,— и вновь его охватило желание поцеловать ее в подбородок, в обнаженную шею. И, боясь этого, боясь себя и ее, он сделал веселое выражение, поднял руку, прещально подвигал пальцами.

— Я ухожу, Ася.

— Уходите! — сказала она.— Буду рада!

Ему тревожно было — вечерами он ждал спешащий стук Асиных каблучков по коридору, ее голос на кухне заставлял его вздрагивать, он даже знал, когда набирала из крана воду — был стремительный плеск: кран отворачивался до отказа. Иногда хотелось встретить Асю не дома, не в коридоре, а на улице, сказать ей: «Ася, если бы вы меня знали, все было бы иначе. Я могу быть другим... Просто была война. Я могу все забыть, что было... Я даже могу быть серьезным, только поверьте мне. Только поверьте».

Лежа на диване, он думал об этом: то, что она была моложе его на шесть лет, жила, думала иначе, чем он, не знала всего, что знал он, и то, что она была сестрой Сергея, создавало что-то непреодолимое между ним и ею.

Он повторил отрывисто:

— Я ухожу, Ася... Вы только на меня не сердитесь.

— Уходите, пожалуйста! Я не задерживаю! Буду рада!

Он взялся за ручку двери, медленно, из-за плеча оглянулся на Асю, удивленно и прямо глядевшую на него; пересиливая себя, спросил с грустной серьезностью:

— Вам со своей холодностью легко жить на свете? Почему вы такая холодная, Ася?

— Холодная? Пусть я лед, снег, камень! Не читайте мне нотации. Лучше быть холодным, злым, чем легкомысленным, пустым! — загово-

рила Ася с непонятной мстительностью.— Вы себя достаточно показали! Ненавижу грязных людей! Терпеть не могу!

Ее голос ударил его в спину, он молча, торопясь, распахнул дверь и тотчас поспешно закрыл ее, шагнул в коридор.

— Костя!

Он услышал, как сильным толчком раскрылась дверь, обернулся быстро — в дверях стояла Ася, вся напряженная, глаза тревожно увеличены. Он видел только глаза. Ничего больше. Только огромные глаза.

— Костя, Костя,— прошептала она.— Подождите! Идите сюда, в комнату, в комнату!.. Костя, Костя!

И втянула его в комнату, схватив за руку, дрожь сухих пальцев передалась ему, он невольно растерянно сжал их с нерасчитанной нежностью, и внезапно она с испуганным выражением выдернула руку и стояла перед ним, почти касаясь его, опустив голову,— он даже чувствовал чистый запах ее волос,— теребила на узенькой талии поясоч сарафанчика, как бы опасаясь посмотреть ему в лицо. Потом оглянулась на темное, сыплющее дождем окно, на стол с бельем. И отошла от Константина в угол комнаты, оттуда поглядела пристальным взглядом, вдруг зажмурясь, ладонью шлепнула себя по одной щеке, затем по другой, говоря:

— Вот тебе, вот тебе!

— Ася...— только произнес Константин.

— Костя, вы ничего не спрашивайте. Хорошо? Хорошо? Дайте слово ничего не спрашивать? — с ожесточением, едва не плача, проговорила Ася и топнула ногой.— Ах, какая я дура. Сама себя ненавижу! Это ужасно. Мне надо было мужчиной родиться, брюки носить! Просто ошиблась природа... Ненавижу себя!

И резко отвернулась, беспомощно и косо глядя в окно. Константин с осторожностью подошел к ней, помолчав, сказал негромко:

— Если бы вы были мужчиной, я бы умер, Ася...

— Что? — с ужасом спросила она. И повторила:— Что?

— Я бы умер, Ася...

В двенадцатом часу вечера пришел Сергей. Во второй комнате молча сбросил намокшие ботинки, швырнул брюки на спинку стула, надел старые брюки отца и, выйдя к Асе и Константину, спросил угрюмо:

— Где отец? Опять торчит в своей бухгалтерии? Великий бухгалтер наших дней! — добавил он раздраженно: — У самого сердце ни к черту, а сидит до двенадцати часов. Наверно, думает, без его подсчетов весь мир перевернется. Государственный деятель!

— Не смей так говорить об отце! — сказала Ася сердито.— Ты очень грубо говоришь об отце. И грубо разговариваешь с ним всегда! В тебе жестокость какая-то!

— А-а! — Сергей, поморщась, лег на диван, подбил под голову подушку.

— Молчи! — крикнула Ася.— Прекрати, пожалуйста, эти глупости!

Сергей лежал с закрытыми глазами, с осунувшимся лицом, отчетливо проступала морщинка на переносице.

Константин спросил медлительно:

— Что случилось, Серега?

— Так. Ничего. Дождь идет.— И чуть покривился, не открывая глаз.— Ладно. Я спать хочу. Пошли все к черту!

И повернулся к стене так круто, что заскрипели пружины, положил на ухо маленькую диванную подушку, уже стараясь не слушать ни голоса Константина, ни Аси, ни плеска дождя, усилием воли заставляя себя заснуть и с тоской чувствуя, что не может.

## Глава восьмая

В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение — как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги, дребезжанье стекол над самым ухом.

Ничего не понимая, открыл глаза, вскочил на диване. Темнота неподвижно стояла в комнате, глухо, с сопеньем, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного.

«Фу ты, черт! — подумал он облегченно. — Откуда танки? Чушь лезет в голову! Который час? Рассвет?»

Он потерял кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, точно ударили по ней: сильное дребезжанье стекол над головой заставило быстро повернуться к окну, плотно слившемуся с тьмой стен.

— Кто там? — крикнул Сергей.

— Быстро, откройте!

Кто-то по-чужому настойчиво стучал, было слышно хлюпанье ног по лужам во дворе, но странно: в коридоре не звонил звонок, чужой голос не повторил «откройте» — все стихло. Сергей соскочил с дивана, на ходу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил движение ключа с внезапно мелькнувшей мыслью о воровской банде «Черная кошка»: говорили, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то не поверив в это, вышел в коридор, стал перед дверью, снова спросил громко и недовольно:

— Кто там? К кому?

— Откройте! Проверка документов!

— Попытаюсь.

Он щелкнул замком, отступил в сторону.

Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь Сергея. Шаги по ступеням, движение, приглушенный голос: «Мамонтов, вперед!» — и еще не увидев людей, их одежды, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скользнул вперед, в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек, фуражку мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея с фонариком, спросил:

— Вы кто? Фамилия?

— Вам кого нужно? Вы кто? Из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо? — нахмурился, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым, повторил: — К кому?

— Я спрашиваю вашу фамилию! — властно произнес голос. — Фамилия?

— Положим, Вохминцев.

— Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед. В комнату, гражданин Вохминцев! — скомандовал начальственный голос, и до Сергея вдруг донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца. И он увидел, как вспыхнул свет в коридоре, в комнате и к настежь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделал поворот кругом и остановился с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по-уставному поставил винтовку у ног.

Увидев все это, он вошел в комнату с ужасом и неверием, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка, нелепая, обжигающая несправедливость. И еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса, — низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонями государственной безопасности (на погонах блестели капли дождя) дер-

жал в желтых пальцах какую-то бумагу, говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом:

— Вохминцев, Николай Григорьевич? Вот ордер на арест. Собирайтесь.

Отец в исподнем белье, только пиджак накинут на плечи — все это делало его жалким, незащищенным, — лицо болезненно-небритое, будто в одну минуту постаревшее на десять лет, — дрожа бровями, скользнул по бумаге, взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками два раза втянул воздух, повернулся и сразу ставшей чужой, старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан двинулся за ним, оттуда, из второй комнаты, донесся его носовой голос:

— Быстро, гражданин Вохминцев. Прошу быстро!

Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, шагнул к письменному столу, окинул стены, стол, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку сниженно:

— Да. Мамонтов. Мы здесь. Да. Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь.

В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант с ручным фонариком, указал ей на стул. Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант с крепким, деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами глядел на Сергея в упор, расставив ноги.

«Отец вернулся поздно ночью. Я не слышал, когда он вернулся», — мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед возникшим неотвратимым, сразу что-то ломающим в жизни его, отца, Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что произошло какое-то недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка... Но капитан положил трубку, потом, склонясь, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы:

— Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев! Быстро! Прошу.

И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его локти, его руки искали и сомневались, будто вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда, задрав подбородок, опустив веки, — и этот задранный подбородок, опущенные веки бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими родными, своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло:

— Отец..

— Что, сын? — спросил отец, и непонятно затеплились его глаза. И повторил: — Что, сын?

Ася лежала на постели, судорожно натягивая одеяло до подбородка, в огромных блестящих зрачках ее плавал ужас, и в шевелящихся бледных губах был тоже ужас. Она повторяла, ознобно вздрагивая:

— Папа, папа, папа... Что ж это такое? Папа...

— Э-э, интеллихенция, халстуки завязывает. Хватит! — раздался сзади командный голос — старший лейтенант с деревенским лицом, со свет-

лым пронзительным взглядом проследовал к отцу, выхватил из его рук галстук, швырнул на стул.— А ну кончай, давай выходи. Давай прощайся.

— Ваша работа не исключает вежливости,— сухо сказал отец.

— Папа! — вскрикнула Ася, дрожа, вся потянувшись к отцу с постели, так, что одеяло сползло с голых рук, и отец с каким-то новым, незащищенным выражением наклонился к ней, поцеловал в лоб, сказал едва слышно:

— До свиданья, дочь... Обо мне плохого не думай... Прости... Вот оставляю одних...

А когда обернулся к Сергею в своем старом, потертом пиджаке с незастегнутым воротником сорочки — на сорочке нелепо блестела запонка,— когда в глазах его толкнулась виноватая улыбка, Сергей сильно обнял отца, ткнулся виском в колючую щеку, выговорил ожесточенно:

— Отец, это ошибка! Все выяснится. Ошибка, я уверен — ошибка, я уверен, уверен, отец...

— Знаю, ты не любил меня, сын,— серым голосом проговорил отец.— Я для тебя был чужой... Почти чужой...

Отец как-то странно покивал, оглядываясь на старшего лейтенанта, на с ужасом прижавшую ко рту одеяло Асю, на комнату, на письменный стол, проговорил:

— Живите как надо.

— Хватит, пошли! — прервал старший лейтенант, нетерпеливо кивая на дверь, и отец быстро пошел и только задержался на пороге, на секунду дрогнув плечами, будто хотел повернуться, и не повернулся, исчез в коридоре, в его сумрачном колодце.

Все было унижающим, противоестественно оголенным в присутствии этих людей в защитных плащах: и прощание отца, слова его, и то, что Сергей, глотая спазму, застрявшую в горле, не крикнул в эту минуту ему: «До свиданья, папа!..»

— Ася...— зачем-то тихо позвал Сергей и не договорил.

В это время низенький капитан, аккуратно расстегнув плащ, шагнул к книжному шкафу, растворил дверцы, вынул книгу, полистал ее, потряс, бросил на стул, гриппозно хлюпнув остреньким носом, достал другую... Ася, бледная, комкая на груди одеяло, со страхом смотрела на книжный шкаф, на без стеснения листающего страницы капитана, и Сергей заметил: вдруг бескровные губы, брови ее задрожали, она прижала одеяло к подбородку, вся сжалась, застонала в одеяло, подавляя рыдания.

— Ася... я прошу тебя... Оденься,— глухим голосом проговорил Сергей.

И в тот момент, когда в другой комнате он сдернул с вешалки летнее Асино пальто, зычный окрик остановил его:

— Ку-уда?

Старший лейтенант, прочно загородив дорогу, рванул из его рук Асино пальто, торопливо стал ощупывать карманы, подкладку, и Сергей почувствовал чужую силу, чужие пальцы, хватающие карманы, и внезапно, стиснув зубы, выговорил:

— Уберите руки!

Старший лейтенант изо всей силы держал пальто. Сергей видел, как мгновенно набухли желваки, стали мучными скулы старшего лейтенанта, твердо впились ему в лицо светлые глаза. Со сжавшей его злобой Сергей упорно смотрел в побелевшие, чужие, готовые на все глаза, и в его сознании скользнула мысль, что он никогда не видел это мучное, видимо жившее ночной жизнью лицо. Сергей произнес с усилием:

— Отпустите пальто! Я пока не арестован!

— Сидеть! В комнате сидеть! Никуда не выходить! Вот здесь сидеть! — яростным шепотом крикнул старший лейтенант. — Ясно?

— Князев! — окликнул капитан невнятно.

Видимо, он вынужден был сдержаться, не сводя с Сергея белого взгляда, отпустил пальто, узловатой кистью привычно провел по боку, где под плащом оттопыривалось, мотнул головой.

— А ну — на место! Скаж-жи, быстряк!

Потом с ощущением бессилия Сергей сидел на тахте, чувствовал: рядом ознобно вздрагивала Ася, укутанная в пальто, полулежала, прислонясь затылком к стене, мертво вцепившись пальцами в его руку. Он не знал уже, сколько времени шелестели страницы книг, выбрасываемых из шкафа, ходили по комнатам чужие люди, зачем-то отодвигая шкафы от стен, заглядывали в щели; не знал, зачем трясли книги над полом, ища в них что-то.

Ему хотелось курить, непреодолимо хотелось втянуть в себя горький ожигающий дым, помнил, что сигареты в правом кармане пиджака в другой комнате на спинке стула перед диваном, но не вставал, не желая выказать волнения, которое унизило бы его, лишь успокаивающе стискивал ледяные пальцы Аси и слегка отпускал их, гладил их.

А они делали, видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая. Капитан сидел на краешке стула, по-птичьему согнувшись, опустив острый носик, желтыми, прокуренными пальцами шевелил страницы книг, тряс их, кидал на пол, изредка лез за скотканым платком, трубно сморкался, промокал носик, вытирал губы, глаза, покраснев, гриппозно слезились. И Сергею казалось, что его желтые пальцы оставляют следы гриппа на книгах, на стекле шкафа, на вещах, к которым он прикасался.

Дождь плескал по асфальту двора, и было чудовищно странно, что, как всегда, в стекле жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй.

Старший лейтенант, широко, по-деревенски, хозяйственно раздвинув ноги в хромовых, слегка собранных в гармошку сапогах, обрызганных грязью, сидел в сдвинутой на затылок фуражке за письменным столом, порой настороженно косясь на Сергея, читал бумаги отца, листал их, послонив палец; с излишним стуком выдвигал ящички, в которых лежали письма, документы, ордена, конспекты Сергея, недоверчиво нахмуриваясь, выкладывал ордена, документы, письма перед собой. И были ненавистны Сергею его цепкие руки, плоская спина, плоская широкая шея, светлые степные волосы, заляпаные сапоги с щеголевой гармошкой. Просмотрел с неторопливостью документы, сложил их стопкой отдельно: хмыкнув, мельком взглянул на ордена.

— А ну... иди-ка сюда!

С усмешкой держа в одной руке исписанный листок бумаги, он поднял другую руку, из-за плеча поманил пальцем Сергея.

— А ну-ка, сюда иди! Это твое? — И небрежно отодвинул документы, ордена в сторону, положил локоть на стол, читая про себя, шевеля губами.

По медлительной, нехорошей усмешке его, с какой он мог глядеть на непристойность, по мелкому почерку на тетрадном листе бумаги Сергей сейчас же догадался, что в руке у него письмо Нины, и с желанием встать, выхватить письмо из цепких пальцев сидел, не двигаясь, стиснув зубы, — заболело в висках.

— А? Как же? Любовью занимаешься? Кто она? — различил он громкий голос.

Сергей проговорил:

— Прошу не тыкать! Кто она — не ваше дело! Идите руки вымойте с мылом, протрите спиртом, прежде чем касаться чужих писем!

— Как не стыдно! Как вам не стыдно! — сдерживая плач, крикнула Ася, вонзив пальцы в ладонь Сергея. — Вы ведь советский человек!

— Встать!

— Вот как? А дальше что? — тихо спросил Сергей и, как в темной дымке, встал, смутно видя перед собой посветлевшие добела глаза, готовый при первом движении этого человека сделать что-то страшное, готовый ударить его, уже не сознавая последствий, уже не думая, чем это кончится. И он повторил: — Ну? Дальше что?

— Князев! — простуженным голосом позвал капитан и поднес платок ко рту, гриппозно чихнул, как чихает человек, и утомленно, с выражением болезненности, наклонился над книгой.

— Освободить диван! Что тут в диване? — уже тише, с неожиданной злой вежливостью проговорил старший лейтенант.

И Ася, не понимая, пошатываясь, испуганно поднялась, прижимая к груди полу пальто. И он тотчас откинул одеяло, простыню, оттолкнул ногой матрац, стал выкидывать из ящика пересыпанные нафталином зимние пальто. Потом выпрямился с набрякшим краснотой широким лицом и вдруг, даже с видом странного заискивания, сбоку заглянул в глаза Сергея.

— Так где же хранится троцкистская литература, а?

— Что?..

— А ну, оденьтесь-ка, покажите, где у вас сарай! Пройдемте, — с фальшивой улыбкой кивнул на дверь старший лейтенант.

И когда Сергей прошел мимо неподвижно сидевшей с положенными на коленях руками Фатымы, мимо застывшего солдата в коридоре, когда толкнул дверь из парадного на улицу, старший лейтенант включил карманный фонарик, повторяя заискивающе-вежливо:

— Прошу, прошу...

Лил дождь, но темнота ночи поредела, в водянисто посеревшем воздухе чувствовался рассвет, проступали силуэты домов, мокрый асфальт, мокрые крыши. Из водосточных труб хлестали потоки воды, дождь глухо шумел в черных, уже различных возле забора липах, когда шли к ним по лужам от крыльца, и вдруг мягко застучал, забарабанил над головой по толю сараев, после того как Сергей резко, с каким-то мстительным шелчком откинул мокрую ледяную шеколду, и оба — он и старший лейтенант — вошли в горько пахнущую березовыми поленьями тьму.

— Вот наш сарай, — отрывисто сказал Сергей.

Капли, просачиваясь сквозь дырявый толь, с тяжелым звуком падали в шепу.

Желтый луч фонарика пробежал по белым торцам поленьев, сложенных штабелем, скакнул вниз, вверх, вспыхнула влажная щепка на полу, изморосно блеснула отсыревшая стена за штабелем поленьев, свет ярким коридорчиком уперся в стену, поискал что-то.

— А ну, отбрасывайте поленья от стены! — командовал старший лейтенант. — В угол — дрова!

— Что-о? — спросил Сергей. — Дрова перекидывать? Хотите искать — перекидывайте! Нашли идиота! Ищите!

Старший лейтенант молча отбросил несколько поленьев в угол, внезапно луч фонарика впился в пол возле заляпанных грязью сапог, Сергей увидел перед собой руготно скользнувшие глаза, едкий табачный перегар коснулся губ.

— О себе не думаешь, ох, много болтаешь, парень. Ты институт кончаешь, Сергей... Видишь, имя даже твое знаю. Давай по-простому, я

тоже воевал, — с неумелой мягкостью заговорил он. — О себе подумай, тебе институт закончить надо, инженером стать. А можешь его и не закончить... Я воевал, и ты воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Жизнь свою не порть. Я в лагерях видел всяких. Где у отца троцкистская литература?

Сергей молчал. Крупные капли шлепались в щеку, одна попала Сергею за ворот, ледяным холодом поползла по спине. Он проговорил насмешливо:

— Вот здесь, за дровами, в подвале с подземным ходом. Ну ищи, откидывай дрова! Найдешь!

— Смеешься, Сергей?

— Плачу, а не смеюсь.

— Та-ак.

Старший лейтенант вплотную приблизил белеющее лицо к лицу Сергея, заговорил, тяжеломерно разделяя слова:

— Смотри... другими... слезами... умоешься. — И, помолчав, возвысил голос: — А ну, выходи из сарая!

В комнатах все носило следы чужого прикосновения — валялись книги на стульях, на диване, на полу; настежь открыты дверцы буфета, книжного шкафа и шифоньера, выдвинуты ящики стола — все как будто насильственно сместилось, было сдвинуто, обнажено.

Капитан, обтирая покрасневший носик, уже устало ссутулился за обеденным столом, писал что-то автоматической ручкой, слезящиеся глаза его на сером немолодом лице моргали страдальчески — он дышал ртом, лоб собирался, короткие брови изредка подымались, как у человека, готового чихнуть и сдерживающего себя.

Перед ним на скатерти лежали на свету два обручальных кольца — отца и матери, хранимых почему-то отцом, наивно светились позолоченные старинные серьги матери, кажется, подаренные ей отцом еще в годы нэпа, сбоку стопкой лежали телефонная книжка, документы, бумаги отца, письма.

— Есть еще золотые вещи и драгоценности? — спросил капитан, глядя на Асю утомленно.

— Нет, — шепотом сказала Ася. И повторила: — Нет, нет, нет...

Капитан склонился над бумагой — светлая капелька собралась на кончике носа, звучно упала на бумагу. Он через силу сделал нахмуренное лицо, вместе с кашлем продолжительно высморкался — вся маленькая сухая фигурка заерзала, зашевелилась, щеки покраснели, и было жалко, неприятно видеть его старательно скрываемое смущение. По-прежнему хмурясь, он смял платок, сунул в карман, сказал тихим голосом старшему лейтенанту:

— Кончайте! — И взглянул на ручные часы.

Тот, упершись кулаками в стол, напряжив плоскую шею, медлительно, точно не слыша капитана, читал то, что было написано на бумаге, облизывая губы, думал сосредоточенно.

— Буфет, — вполголоса сказал он и указал взглядом на буфет, — Входит в опись.

— Пожалуй.

Капитан опустил матового оттенка веки, взял ручку. Терпеливо проследив за движением сухонькой руки капитана, старший лейтенант, крепко ступая, вышел в другую комнату, споро собрал на письменном столе бумаги Сергея — записную книжку, письма, — вернулся, положил все это перед капитаном, сказал что-то коротко ему на ухо.

— Пожалуй, — ответил капитан, помедлив, и маленькой рукой стал собирать бумаги в кожаный портфель.

Он встал,

И Сергей понял, что, несмотря на свое звание, капитан этот тайно побаивается старшего лейтенанта, его наглой решительности и что вследствие этого старший лейтенант, несмотря на низшее свое звание, имеет большую власть, что они оба, делая одно дело, остерегаются, не любят друг друга. И поняв это, с отвращением к ним обоим, сказал:

— Вы взяли мою записную книжку, мои письма. Они не имеют никакого отношения к отцу.

Они не ответили.

Старший лейтенант только скосился на Сергея, капитан застегнул плащ, надвинул фуражку так, что выпукло стал выделяться бугорок затылка, и первый последовал к двери, неся портфель.

— Выходи,— махнул пальцем старший лейтенант Фатыме, и она, казалось, все время ареста и обыска дремавшая на стуле, в углу комнаты, вскочила в полусне, зашпешила, переваливаясь толстым телом, в коридор.

Выходя последним, старший лейтенант расширил грудь, задержав воздух в легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, козырнул, проговорил обещающе:

— Еще встретимся, Сергей Николаевич.

И шагнул через порог, не закрыв дверь.

Все было кончено. Даже в коридоре потушили свет. Все неожиданное и насильственное ушло с ними, исчезло вместе с затихшими шагами на крыльце. Все стихло, только дверь была открыта в темноту коридора.

Сергей вскочил с дивана и так бешено, со всей силы хлопнул дверью, что от косяков посыпалась штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Он заходил по комнатам, наступая на книги, на разбросанную по полу бумагу, будто жадно искал что-то и не находил, потом бросился к окнам, распахнул форточки в серую муть утра, глотнул сырой воздух, как воду.

— Проветрить, проветрить! Проветрить к чертовой матери! — говорил он.— Все к чертовой матери! Ася, Ася, дай мне папиросы, у меня в кармане!.. Или есть у нас водка, есть водка? Что-нибудь выпить... — заговорил он срывающимся голосом, стоя к Асе спиной около форточки.

Ася крикнула со слезами:

— Сергей, что с тобой?.. Сережа!..

Она шарила в его пиджаке, висящем на стуле, не попадая в карманы, расширенные глаза, налитые ужасом, не отрывались от спины Сергея.

— Сережа, миленький!..

Она приблизилась к нему с папиросами, стуча от нервного озноба зубами, одной рукой прижимая воротник пальто к подбородку, прошептала:

— Сережа, миленький... Что же это? Как же теперь?

Горячий колючий комок унижения и бессилия застрял в горле, и он не мог проглотить этот комок, и слезы душили, не давали дышать, мешали ему улыбнуться Асе — губы были как каменные. Он потер горло, точно сдирая с него что-то липкое, проговорил с трудом:

— Ничего... Я с тобой. Я буду с тобой!..

И обнял ее за худенькие трясущиеся плечи.

*(Окончание следует)*



---

---

ВАДИМ ШЕФНЕР

★

## РЯДОМ С НЕБОМ

Мы все, как боги, рядом с небом  
Живем на лучшей из планет.  
Оно дождем кропит

и снегом  
Порой наш замечает след.

Но облачное оперенье  
Вдруг сбрасывают небеса —  
И сквозь привычные явления  
Проглядывают чудеса.

...И лунный свет на кровлях зданий,  
И в стужу — будто на заказ —  
Рулоны северных сияний  
Развертываются для нас,

И памятью об общем чуде  
Мерцают звезды в сонной мгле —  
Чтобы не забывали люди,  
Как жить прекрасно на Земле.

## ВЫБОР ВЕТРА

Птицам ветер не нужен попутный:  
Хоть помочь он старается им,  
Но при нем им становится трудно  
Управлять опереньем своим.

Пусть сидит себе век на болоте  
Тот, кто ветра попутного ждет.  
Ведь свободу и точность в полете  
Не попутный, а встречный дает.

## ДОННЫЙ ЛЕД

Бывает так не каждый год.  
Но иногда со дна реки  
Всплывает грузный донный лед —  
Об этом знают речники.

Он отрывает ото дна  
Все, что таила глубина.

Выносит он на белый свет,  
Чтоб в море унести скорей,  
Обломки ржавых якорей  
От кораблей, которых нет.

Он не скрывает ничего,  
Прозрачен он, как честный суд,  
И тайны, вмерзшие в него,  
Речными плесами плывут.

Неотвратимый, как закон,  
Из глуби, где забвенья мгла,  
Убийцы нож выносит он,  
Обрез, что бил из-за угла.

Несет он по речной волне  
На дне лежавший много лет,  
Не побывавший на войне,  
Но бывший в деле пистолет.

И, вмерзшая в прозрачный лед,  
Серебреников горсть плывет —  
Их в страхе бросила рука  
Иуды и клеветника.

Давно истлели мертвецы.  
Но причинивший много зла  
И в воду спрятавший концы  
Вдруг видит: Истина всплыла.

Чтобы чиста была река  
Во все грядущие века,  
Чтоб не мутнела глубина,  
Всплывают истины со дна.

## ВЫСОКОЕ РАВЕНСТВО

Зверь, в сущности, доволен малым:  
Ему нужны еда и сон.  
Вовек не станет он Дедалом,  
Но и не сбросит бомбы он.

Но человечество особый  
Собой являет род и вид:  
Меж доброй мудростью и злобой  
Здесь бездна целая лежит.

Из одного как будто теста,  
Да вот припек у всех иной:  
Есть люди — выше Эвереста,  
Есть — ниже ямы выгребной.

Но мы взрывать не будем горы,  
Чтоб их с низинами сравнять,  
Чтоб стала жизнь равниной голой,  
Где тишь болотная да гладь.

Нет! Мы хотим, чтоб на планете  
Все были в помыслах чисты,  
Чтобы для всех настал на свете  
Век мудрости и доброты!

Чтоб не вершиной одинокой,  
Не ямою у входа в храм —  
Чтоб каждый стал горой высокой,  
Но дружественной всем горам!

### ДОМ КУЛЬТУРЫ

Вот здесь, в этом Доме культуры,  
Был госпиталь в сорок втором.  
Мой друг, исхудалый и хмурый,  
Лежал в полумраке сыром.

Коптилки в зале мигали,  
Чадила печурка в углу,  
И койки рядами стояли  
На этом паркетном полу.

Я вышел из темного зданья  
На снег ленинградской зимы,  
Я другу сказал — до свиданья,  
Но знал, что не свидимся мы.

Я другу сказал — до свиданья,  
И вот через много лет  
Вхожу в это самое зданье,  
Купив за полтинник билет.

Снежинки с пальто отряхая,  
Вхожу я в зеркальную дверь.  
Не едкой карболкой — духами  
Здесь празднично пахнет теперь.

Где койки стояли когда-то,  
Где умер безвестный солдат,  
По гладким дубовым квадратам  
Влюбленные пары скользят.

Лишь я, ни в кого не влюбленный,  
По залу иду стороной,  
И тучей железобетонной  
Плывет потолок надо мной.

...С какую внезапною властью  
За сердце берет иногда  
Чужим подтвержденная счастьем  
Давнишняя чья-то беда!

## ПРАЗДНИКИ

Бывало — жарили, варили;  
Бывало — гости до утра.  
Мне ж, чуть стемнеет, говорили:  
«Повеселился, спать пора».

Хотя бы в скважинку дверную  
Взглянуть хотелось мне до слез  
В жизнь праздничную, в жизнь иную —  
В ту, до которой не дорос.

И, пробуя со сном бороться,  
Я верил, отходя ко сну,  
Что самый праздник-то начнется,  
Когда я накрепко усну.

\* \* \* \* \*

Как быстро годы пролетели!  
А старость будет ли добра?  
К сосновой подведет постели  
И скажет: «Пожил, спать пора!»

Что если было бы возможно  
Проснуться — и найти к вам путь,  
Цветком пробиться придорожным  
И незаметно, осторожно  
В грядущий праздник заглянуть?..



---

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР.

★

## ДВА РАССКАЗА

### *В ялке*

**ШШШ** ел пятый час, и золотой осенний день уже клонился к вечеру. Сандра, кухарка, поглядела из окна на озеро и отошла, поджав губы,— с полудня она проделывала это, должно быть, раз двадцать. На этот раз, отходя от окна, она в рассеянности развязала и вновь завязала на себе фартук, пытаясь затянуть его потуже, насколько позволяла ее необъятная талия. Облачившись таким образом заново в свой мундир, она вернулась к кухонному столу и уселась напротив миссис Снелл. Миссис Снелл уже покончила с уборкой и глажкой и, как обычно перед уходом, пила чай. Миссис Снелл была в шляпе. Это оригинальное сооружение из черного фетра она не снимала не только все минувшее лето, но три лета подряд — в любую жару, при любых обстоятельствах, склоняясь над бесчисленными гладильными досками и орудуя бесчисленными пылесосами. Ярлык фирмы Карнеги еще держался на подкладке — поблекший, но, смело можно сказать, непобежденный.

— Больно надо мне из-за этого расстраиваться,— наверно, уже в пятый или шестой раз объявила Сандра не столько миссис Снелл, сколько самой себе.— Так уж я решила. С чего это мне расстраиваться!

— И правильно,— сказала миссис Снелл.— Я бы тоже не стала. Ничем не стала бы. Передайте-ка мне мою сумку, душенька.

Кожаная сумка, до чрезвычайности потертая, но с ярлыком внутри не менее внушительным, чем на подкладке шляпы, лежала на буфете. Сандра дотянулась до нее, не вставая, и подала через стол миссис Снелл. Открыв сумку, миссис Снелл достала пачку ментоловых сигарет и спички с маркой Сторк-клуба. Закурила, потом поднесла к губам чашку, но сейчас же снова поставила ее на блюдо.

— Никак не остынет мой чай, я из-за него автобус пропущу.— Она поглядела на Сандру: та мрачно уставилась на сверкающую шеренгу кастрюль, выстроившихся у стены.— Бросьте вы расстраиваться! — приказала миссис Снелл.— Что толку расстраиваться? Или он ей скажет, или не скажет. И все тут. А что толку расстраиваться?

— Я и не расстраиваюсь,— ответила Сандра.— Даже и не думаю. Только от этого ребенка с ума сойти можно, так и шныряет по всему дому. Понимаете, его и не услышишь. Верно вам говорю, никак его не услышишь. Вот только на днях за этим самым столом я лущила бобы — и чуть не наступила ему на руку. Он сидел вон тут, под столом.

— Ну и что? Не стала бы я расстраиваться.

— То есть словечка сказать нельзя, все на него оглядывайся,— пожаловалась Сандра.— С ума сойти.

— Не могу я пить кипяток,— сказала миссис Снелл.— Да, прямо ужас, что такое. Когда словечка нельзя сказать, и вообще.

— С ума сойти! Верно вам говорю. Прямо с ума он меня сводит.— Сандра смахнула с колен воображаемые крошки и сердито фыркнула.— В четыре-то года!

— И ведь хорошенький мальчонка,— сказала миссис Снелл.— Глазищи карие, и вообще.

Сандра снова фыркнула:

— Нос-то у него будет отцовский.— Она взяла свою чашку и стала пить, ничуть не обжигаясь.— Уж и не знаю, чего это они вздумали торчать тут весь октябрь,— проворчала она и поставила чашку.— Никто из них больше и к воде-то не подходит, верно вам говорю. Сама не купается, сам не купается, и мальчонка не купается. Никто теперь не купается. И даже на своей паршивой лодке они больше не плавают. Только деньги задаром потратили.

— И как вы пьете такой кипяток? Я со своей чашкой никак не управляюсь.

Сандра злобно уставилась в стену.

— Я бы хоть сейчас вернулась в город. Кроме шуток. Терпеть не могу эту дыру.— Она неприязненно взглянула на миссис Снелл.— Вам-то ничего, вы круглый год тут живете. У вас тут и знакомства, и вообще. Вам все одно, что здесь, что в городе.

— Хоть живьем сварюсь, а чай выпью,— сказала миссис Снелл, поглядев на часы над электрической плитой.

— А что бы вы сделали на моем месте? — в упор спросила Сандра.— Я говорю, вы бы что сделали? Скажите по правде.

Вот теперь миссис Снелл была в своей стихии. Она тотчас отставила чашку.

— Ну,— начала она,— первым делом я не стала бы расстраиваться. Уж я бы сразу стала искать другое...

— А я и не расстраиваюсь,— перебила Сандра.

— Знаю, знаю, но уж я подыскала бы себе...

Распахнулась дверь, и в кухню вошла Бу-Бу Танненбаум — хозяйка дома, лет двадцати пяти, маленькая, худощавая; сухие, бесцветные, не по моде подстриженные волосы заложены назад за чересчур большие уши. На ней был черный свитер, брюки чуть ниже колен, носки и босоножки. Прозвище, конечно, нелепое, и хорошенькой ее тоже не назовешь, но лицо живое, подвижное, острое — такие не скоро забываются. Она сразу направилась к холодильнику, открыла его и заглянула внутрь. Она стояла, расставив ноги, упершись руками в колени и, довольно немзыкально насвистывая сквозь зубы, легонько покачивалась в такт свисту. Сандра и миссис Снелл молчали. Миссис Снелл неторопливо вынула сигарету из рта.

— Сандра...

— Да, мэм? — Сандра настороженно смотрела поверх шляпы миссис Снелл.

— У нас разве нет больше маринованных огурцов? Я хотела отнести ему.

— Он все съел,— поспешно доложила Сандра.— Вчера перед сном съел последние. Там только две штучки и оставалось.

— А-а. Ладно, буду на станции — куплю еще. Я думала, может быть, удастся выманить его из лодки.— Бу-Бу захлопнула дверцу холодильника, отошла к окну и посмотрела в сторону озера.— Нужно еще чего-нибудь купить? — спросила она, глядя в окно.

— Только хлеба.

— Я положила вам чек на столик в прихожей, миссис Снелл. Благодарю вас.

— Очень приятно,— сказала миссис Снелл.— Говорят, Лайонел сбегал из дому.— Она хихикнула.

— Похоже, что так,— сказала Бу-Бу и сунула руки в карманы.

— Далеко-то он не бегаёт.— И миссис Снелл опять хихикнула.

Не отходя от окна, Бу-Бу слегка повернулась, так, чтоб не стоять совсем уж спиной к женщинам за столом.

— Да,— сказала она и заправила за ухо прядь волос. Потом пояснила: — Он удирает из дому с двух лет. Но пока не очень далеко. Самое дальнее — в городе по крайней мере — он забрел раз на круг в Центральном парке. За два квартала от нашего дома. А один раз он просто спрятался в парадном. Хотел дожидаться отца и проститься с ним.

Женщины у стола засмеялись.

— Круг — это такое место в Нью-Йорке, там все катаются на коньках,— любезно пояснила Сандра, наклоняясь к миссис Снелл.— Детишки, и вообще.

— А-а,— сказала миссис Снелл.

— Ему только-только исполнилось три. Как раз в прошлом году,— сказала Бу-Бу, доставая из кармана брюк сигареты и спички. Пока она закуривала, обе женщины не сводили с нее глаз.— Вот был переполох. Пришлось поднять на ноги всю полицию.

— И нашли его? — спросила миссис Снелл.

— Ясно, нашли,— презрительно сказала Сандра.— А вы как думали?

— Нашли его уже ночью, в двенадцатом часу, а дело было... когда же это... да, в середине февраля. В парке и детей никого не осталось. Разве что, может быть, бандиты, бродяги да какие-нибудь помешанные. Он сидел на эстраде, где днем играет оркестр, и катал камешек взад-вперед по щели в полу. Замерз до полусмерти, и вид у него был уж до того жалкий...

— Боже милостивый! — сказала миссис Снелл.— И с чего это он? То есть, я говорю, чего это он из дому бегаёт?

Бу-Бу пустила кривое колечко дыма, и оно расплылось по оконному стеклу.

— В тот день в парке кто-то из детей ни с того ни с сего обозвал его вонючкой. По крайней мере мы думаем, что дело в этом. Право, не знаю, миссис Снелл. Сама не понимаю.

— И давно это с ним? — спросила миссис Снелл.— То есть, я говорю, когда это он начал бегать?

— Да вот, когда ему было два с половиной, он спрятался под раковиной в подвале,— обстоятельно ответила Бу-Бу.— Мы живем в большом доме, а в подвале прачечная. Какая-то Наоми, его подружка, сказала ему, что у нее в бутылке сидит червяк. По крайней мере это все, чего мы от него добились.— Бу-Бу вздохнула и отошла от окна, на кончике ее сигареты вырос пепел. Она направилась к стеклянной двери.— Попробую еще раз,— сказала она на прощанье.

Сандра и миссис Снелл засмеялись.

— Поторапливайтесь, Милдред,— все еще смеясь, сказала Сандра миссис Снелл.— А то автобус прозеваете.

Бу-Бу затворила за собой стеклянную дверь.

Она стояла на лужайке, которая отлого спускалась к озеру; низкое предвечернее солнце светило ей в спину. Ярдах в двухстах от нее на корме отцовского ялика сидел ее сын Лайонел. Паруса были сняты, и ялик покачивался на привязи под прямым углом к мосткам, у самого их конца. Футах в пятидесяти за ним плавала забытая или брошенная водяная

лыжа, но нигде не видно было катающихся; лишь вдалеке уходил к Парусной бухте пассажирский катер. Почему-то Бу-Бу никак не удавалось толком разглядеть Лайонела. Солнце хоть и не очень грело, но светило так ярко, что все отдаленное — мальчик, лодка — казалось смутным, расплывчатым, точно палка, сунутая в воду. Спустя минуту-другую Бу-Бу перестала всматриваться. Она смяла сигарету, отшвырнула ее и зашагала к мосткам.

Стоял октябрь, и доски уже не дышали жаром в лицо. Бу-Бу шла по мосткам, насвистывая сквозь зубы «Малютку из Кентукки». Дошла до конца мостков, присела на корточки на самом краю и посмотрела на Лайонела. До него можно было бы дотянуться веслом. Он не поднял глаз.

— Эй, на борту! — позвала Бу-Бу. — Эй, друг! Пират! Старый пес! А вот и я!

Лайонел все не поднимал глаз, но ему вдруг понадобилось показать, какой он искусный моряк. Он перекинул незакрепленный румпель до отказа вправо и сейчас же снова прижал его к боку. Но он не отрывал глаз от палубы.

— Это я, — сказала Бу-Бу. — Вице-адмирал Танненбаум. Урожденная Гласс. Пойдем проверим стермафоры.

— Ты не адмирал, — послышалось в ответ. — Ты женщина.

Когда Лайонел говорил, ему почти всегда посреди фразы не хватало дыхания, так что самое важное слово подчас звучало не громче, а тише других. Бу-Бу, казалось, не только вслушивалась, но и всматривалась в то, что он говорил.

— Кто тебе это сказал? — спросила она. — Кто сказал тебе, что я не адмирал?

Лайонел что-то ответил, но слов было не разобрать.

— Кто? — переспросила Бу-Бу.

— Папа.

Бу-Бу все еще сидела на корточках, расставленные коленки торчали углами; вытянув левую руку, она коснулась дощатого настила — не так просто было сохранять равновесие.

— Твой папа славный малый, — сказала она. — Только он, должно быть, самая сухопутная крыса на свете. Совершенно верно, на суше я женщина, это чистая правда. Но у меня душа моряка, и море зовет меня...

— Ты не адмирал, — сказала Лайонел.

— Как вы сказали?

— Ты не адмирал. Ты все равно женщина.

Разговор прервался. Лайонел снова стал менять курс своего судна — он схватился за румпель обеими руками. На нем были короткие штанишки цвета хаки и чистая белая рубашка с короткими рукавами и открытым воротом; впереди на рубашке рисунок: страус Джером играет на скрипке. Мальчик сильно загорел, и его волосы, совсем такие же, как у матери, на макушке заметно выцвели.

— Очень многие думают, что я не адмирал, — сказала Бу-Бу, приглядываясь к сыну. — Потому что я не ору об этом на всех перекрестках. — Стараясь не потерять равновесие, она вытащила из кармана брुक сигареты и спички. — Мне и неохота толковать с людьми про то, в каком я чине. Да еще с маленькими мальчиками, которые даже не смотрят на меня, когда я с ними разговариваю. За это, пожалуй, еще с флота выгонят с позором.

Так и не закурив, она неожиданно встала, выпрямилась во весь рост, сомкнула в кольцо большой и указательный пальцы правой руки и, поднеся их к губам, продудела что-то вроде трубного сигнала. Лайонел тот-

час вскинул голову. Вероятно, он знал, что труба не настоящая, и все-таки весь встрепенулся, даже рот приоткрыл. Три раза крядя без перерыва Бу-Бу протрубила сигнал — нечто среднее между утренней и вечерней зарей. Потом торжественно отдала честь дальнему берегу. И когда, наконец, опять присела на корточки на краю мостков, по лицу ее видно было, что ее до глубины души взволновал благородный морской обычай, недоступный для простых смертных и для маленьких мальчиков. С минуту она задумчиво созерцала воображаемую даль озера. Потом словно бы вспомнила, что она здесь не одна, и важно поглядела вниз, на Лайонела, который все еще сидел, раскрыв рот.

— Это тайный сигнал, слышать его разрешается одним только адмиралам. — Она закурила и, выпустив длинную тонкую струю дыма, задула спичку. — Если бы кто-нибудь узнал, что я дала этот сигнал при тебе... — Она покачала головой и снова зорким глазом морского волка окинула горизонт.

— Потруби еще.

— Невозможно.

— Почему?

Бу-Бу пожала плечами.

— Тут вертится слишком много всяких мичманов, это раз. — Она переменяла позу и уселась, скрестив ноги, как индеец. Подтянула носки. И продолжала деловито: — Ну, вот что. Если ты мне скажешь, почему ты сбежал из дому, я протрублю тебе все тайные сигналы, какие мне известны. Ладно?

Лайонел тотчас опустил глаза.

— Нет, — сказал он.

— Почему?

— Потому.

— Почему «потому»?

— Потому что не хочу, — сказал Лайонел и решительно перевел руль.

Бу-Бу заслонилась правой рукой от солнца — ее слепило.

— Ты мне говорил, что больше не будешь удирать из дому, — сказала она. — Мы ведь об этом говорили, и ты сказал, что не будешь. Ты мне обещал.

Лайонел что-то сказал в ответ, но очень тихо.

— Что? — переспросила Бу-Бу.

— Я не обещал.

— Нет, обещал. Ты дал слово.

Лайонел снова принялся поворачивать корабль.

— Если ты адмирал, — сказал он, — где же твой флот?

— Мой флот? Вот хорошо, что ты об этом спросил, — сказала Бу-Бу и хотела спуститься в ялик.

— Назад! — приказал Лайонел, но не очень уверенно, и глаз он не поднял. — Сюда никому нельзя.

— Нельзя? — Бу-Бу, которая уже ступила на нос лодки, послушно отдернула ногу. — Совсем никому нельзя? — Она снова уселась на мостках по-индейски. — А почему?

Лайонел что-то ответил, но опять слишком тихо.

— Что? — переспросила Бу-Бу.

— Потому что не разрешается.

Долгую минуту Бу-Бу молча смотрела на мальчика.

— Мне очень грустно это слышать, — сказала она наконец. — Мне так хотелось к тебе в лодку. Я по тебе соскучилась. Очень сильно соскучилась. Целый день я сидела в доме совсем одна, не с кем было поговорить.

Лайонел не повернул руль. Он разглядывал какую-то щербинку на рукоятке.

— Поговорила бы с Сандрой,— сказал он.

— Сандра занята,— сказала Бу-Бу.— И я не хочу разговаривать с Сандрой, я хочу поговорить с тобой. Я хочу сесть к тебе в лодку и поговорить с тобой.

— Говори с мостков.

— Что?

— Говори с мостков!

— Не могу. Очень далеко. Мне надо подойти поближе.

Лайонел рванул румпель.

— На борт никому нельзя,— сказал он.

— Что?

— На борт никому нель-зя!

— Ладно, ты мне скажи, почему ты сбежал из дому? — спросила Бу-Бу.— Да еще после того, как обещал мне больше не бегать?

Возле кормового сиденья лежала маска. Вместо ответа Лайонел подцепил ее пальцами правой ноги и быстрым, ловким движением швырнул за борт. Маска тотчас ушла под воду.

— Мило,— сказала Бу-Бу.— Дельно. Это маска дяди Уэбба. Он будет в восторге.— Она затянулась сигаретой.— Раньше в ней нырял дядя Сеймур.

— Ну и пусть.

— Ясно. Я так и поняла,— сказала Бу-Бу.

Сигарета торчала у нее в пальцах как-то вкривь. Внезапно почувствовав ожог, Бу-Бу выронила сигарету в воду. Потом вытащила что-то из кармана. Это был пакетик величиной с колоду карт, обернутый в белую бумагу и перевязанный зеленой ленточкой.

— Цепочка для ключей,— сказала Бу-Бу, чувствуя на себе взгляд Лайонела.— Точь-в-точь такая же, как у папы. Только на ней куда больше ключей, чем у папы. Целых десять штук.

Лайонел подался вперед, выпустив руль. Он подставил ладони чашкой.

— Кинь! — попросил он.— Пожалуйста!

— Одну минуту, милый. Мне надо немножко подумать. Мне следовало бы кинуть эту цепочку в воду.

Лайонел смотрел на нее, раскрыв рот. Потом закрыл рот.

— Это моя цепочка,— сказал он не слишком уверенно.

Бу-Бу, глядя на него, пожала плечами.

— Ну и пусть.

Лайонел медленно отодвинулся на прежнее место, не спуская глаз с матери, и стал нащупывать за спиной румпель. По глазам его видно было: он все понял. Мать так и знала, что он поймет.

— Держи! — Она ловко бросила пакетик ему на колени.

Лайонел поглядел на пакетик, взял его в руку, еще поглядел — и внезапно швырнул его в воду. И сейчас же поднял глаза на Бу-Бу — в глазах был не вызов, но слезы. Еще мгновение — и губы его искривились, словно опрокинутая восьмерка, и он отчаянно заревел.

Бу-Бу осторожно встала, как человек, который в театре отсидел ногу, и спустилась в ялик. Через секунду она уже сидела на корме, держа рулевого на коленях, и укачивала его, и целовала в затылок, и сообщала кое-какие полезные сведения:

— Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Только если их корабль пошел ко дну. Или если они потерпели крушение, и их носит на плоту, и им нечего пить, и...

— Сандра... сказала миссис Снелл... что наш папа... большой... грязный... иуда...

Бу-Бу чуть вздрогнула; она спустила мальчика с колен, поставила перед собой и откинула волосы у него со лба.

— Сандра так и сказала, да?

Лайонел изо всех сил закивал головой. Он придвинулся ближе, все не переставая плакать, и встал у нее между колен.

— Ну, это еще не так страшно,— сказала Бу-Бу, стиснула сына коленями и крепко обняла.— Это еще не самая большая беда.— Она легонько куснула его за ухо.— А ты знаешь, что такое иуда, малыш?

Лайонел ответил не сразу — то ли не мог говорить, то ли не хотел. Во всяком случае он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бу-Бу, выговорил глухо, но внятно:

— Чуда-юда... это в сказке... такая рыба-кит...

Бу-Бу легонько оттолкнула сына, чтобы поглядеть на него. И вдруг сунула руку сзади ему за пояс — он даже испугался,— но не шлепнула его, не ушипнула, а только старательно заправила ему рубашку.

— Вот что,— сказала она.— Сейчас мы поедем в город, и купим маринованных огурцов и хлеба, и будем есть прямо в машине, а потом поедем на станцию встречать папу, и привезем его домой, и заставим его покатать нас на лодке. И ты сможешь ему отнести паруса. Ладно?

— Ладно,— сказал Лайонел.

К дому они не шли, а бежали наперегонки. Лайонел прибежал первым.

*Перевела с английского Нора Галь.*

## *Человек, Который Смеется*

Когда мне было девять лет — а было это в 1928 году,— я с гордостью нес высокое звание члена Клуба команчей. Каждый день после занятий, в три часа, наш вождь собирал нас, двадцать пять команчей, у выхода 165-й школы на 109-й стрит около Амстердам авеню. Там мы с шумом и толкотней набивались в специально переделанный продуктовый фургон, и вождь вез нас в Центральный парк (материальная сторона была согласована с нашими родителями). Если погода было хорошая, мы играли в футбол, или в соккер, или в бейсбол — все зависело (хоть и в небольшой степени) от времени года. В дождливые дни мы неизменно отправлялись либо в Музей естественной истории, либо в Метрополитэн-музей.

По субботам и в праздники рано утром вождь объезжал наши квартиры и вывозил нас в своем обреченном на слом автобусе из Манхеттена на просторы Вэн Кортленд Парк или Пэлисайдз. Если нам хотелось всерьез потренироваться, мы отправлялись в Вэн Кортленд, где спортивные площадки были такие, как положено, и в команде соперников не маячили бэби в коляске или раздраженная старая леди с палкой. Если же наши команческие сердца влекло к походной жизни, мы ехали в Пэлисайдз и жили без всяких удобств. (Помню, как однажды в субботу я заблудился в дебрях между главной аллеей и западным концом моста Джорджа Вашингтона.) Однако я сохранил присутствие духа. Я просто сел в величественной тени огромного рекламного щита и, мужественно сдерживая слезы, развернул свой завтрак. Я почти не сомневался, что вождь найдет меня. Он всегда находил нас.

В свободное от команчей время вождь был просто Джоном Гедсуд-

ским из Стейтен Айленд — чрезвычайно застенчивым, мягким молодым человеком двадцати двух или двадцати трех лет, студентом-юристом Нью-Йоркского университета. Это была весьма заметная личность. Не буду даже пытаться перечислить здесь все его достоинства и достижения. Скажу лишь мимоходом, что он был бойскаутом из отряда «Орлов», чуть было не стал самым лучшим в Америке нападающим за 1926 год, и, кроме того, всем было известно, что ему когда-то очень настойчиво предлагали попробовать попасть в нью-йоркскую бейсбольную команду «Великан». Он беспристрастно и невозмутимо судил на всех наших буйных спортивных соревнованиях, великолепно умел разжигать и тушить костер, ловко и без обидного снисхождения оказывал первую помощь. Все мы, от самого малолетнего сорванца до совершеннолетнего, любили и уважали его.

Как сейчас помню, как он выглядел в 1928 году. Если бы дюймы наращивались по нашему желанию, мы, команчи, в мгновение ока сделали бы его гигантом, но на самом деле в нем было от силы пять футов и три дюйма, не более того. Волосы у него были иссиня черные, лоб совсем низкий, нос большой и толстый, а туловище и ноги одинаковой длины. В кожаной куртке плечи у него казались могучими, а на самом деле были узкие и покатые. Однако в то время я считал, что в вожде удачно соединились все самые фотогеничные черты знаменитых киноактеров Бака Джоунза, Кена Майнарда и Тома Микса.

Каждый вечер, когда уже совсем темнело и проигрывающая команда начинала отекать от всех своих промахов, мы, команчи, настойчиво и безжалостно требовали от нашего вожды рассказов — на это он был мастер. К этому времени, разгоряченные и взвинченные до предела, мы бросались к автобусу и с визгом и воплями дрались за место поближе к вожде. (В автобусе было два ряда плетеных соломенных сидений. Левый ряд был на три сиденья длиннее, и эти места считались лучшими в автобусе — они доходили до сиденья водителя.) Вождь влезал в автобус только после того, как мы все рассаживались, поворачивал свое сиденье к нам и тонким, но приятным тенорком излагал очередной выпуск «Человека, Который Смеется». С того самого раза, как он начал рассказывать, мы слушали его с неослабевающим интересом. Для команчей это была самая подходящая история. Она могла бы вырасти до размеров классической эпопеи и обрастала все новыми и новыми подробностями и в то же время была очень удобной. Вы всегда могли взять ее с собой и додумать — ну, скажем, выпуская воду из ванны.

В раннем детстве Человек, Который Смеется — единственный сын богатого миссионера в Китае — был похищен разбойниками. Когда семья миссионера отказалась (по религиозным мотивам) уплатить за сына выкуп, разбойники, самолюбие которых было сильно задето, засунули голову мальчика в тиски и немного закрутили винт вправо. Когда объект этого редкого эксперимента вырос, его безволосая голова была похожа на орех пекан, а вместо рта у него было огромное овальное отверстие. Ноздрей не было вовсе — они срослись. Вследствие этого, когда Человек, Который Смеется дышал, ужасная, лишенная возможности смеяться яма под носом расширялась и сокращалась (как мне это представляется) подобно какой-то чудовищной вакуоли. (Вождь больше показывал, чем объяснял, как дышал Человек, Который Смеется.) Посторонние падали в обморок, едва взглянув на ужасное лицо несчастного. Знакомые переходили на другую сторону. Как ни странно, но разбойники разрешали ему скитаться около своей штаб-квартиры — если он закрывал лицо легкой розовой маской из лепестков мака. Эта маска не только давала разбойникам возможность не видеть лица их приемного сына, но

и позволяла узнавать, где он; само собой понятно, что от него несло опиумом.

Каждое утро, мучимый одиночеством, Человек, Который Смеется бешумно, как кошка, прокрадывался в густой лес, окружавший убежище разбойников. Там он дружил с невероятным количеством всяких зверей: с белыми мышами, собаками, львами, удавами, волками. Более того, там он даже снимал маску и разговаривал со зверями своим мелодичным голосом на их собственном языке. Они не считали, что он урод.

(Вождю понадобилось месяца два, чтобы дойти до этого места. Начиная отсюда он стал рассказывать все более и более вдохновенно, к великому удовольствию команчей.)

Человек, Который Смеется был очень сообразителен и очень скоро овладел наиболее ценными секретами разбойничьего ремесла. Впрочем, он был невысокого мнения об их методах и немедленно изобрел свою собственную, более действенную систему. Вначале он себя ограничивал, а потом стал хозяйничать по всему Китаю, грабя, оглушая и даже убивая — в случае крайней необходимости. Вскоре его хитроумные преступные методы в соединении с исключительным благородством и честностью завоевали ему сердца людей. Как ни странно, но его приемные родители (разбойники, которые и толкнули его на путь преступления) узнали о его успехах чуть ли не последними. Когда же они узнали, их охватила безумная зависть. Однажды они усыпили его наркотиками, а потом гуськом прошли мимо его кровати, и каждый всаживал свой кинжал в открытое одеялом тело. Но их жертвой оказалась мать вождя разбойников — неприятная, склочная женщина. Это событие еще больше разожгло ненависть разбойников к Человеку, Который Смеется, и в конце концов он был вынужден запереть всю банду в глубокий, но красиво убранный мавзолей. Время от времени они оттуда убегали и доставляли ему некоторые хлопоты, но убивать их он не хотел. (Эта черта его характера — сострадание — просто доводила меня до отчаяния.)

Вскоре Человек, Который Смеется стал то и дело переходить китайскую границу и уходить во Францию, в Париж, где он не без удовольствия щеголял своим скромным талантом под носом у Марселя Дюфаржа, всемирно знаменитого сыщика, очень остроумного, хотя и большого чахоткой. Дюфарж и его дочь (очаровательная девушка, но и несколько вероломная) стали злейшими врагами Человека, Который Смеется. Много раз они пытались заманить его в ловушку. Из чисто спортивного интереса Человек, Который Смеется сначала нарочно им поддавался, а затем внезапно таинственно исчезал, не оставив ни малейших указаний на способ своего исчезновения. Время от времени он бросал в парижскую канализацию язвительную записочку. Она немедленно доставлялась Дюфаржу. Дюфаржи только и делали, что хлюпали по парижской клоаке.

Скоро Человек, Который Смеется скопил самое большое в мире богатство. Большую часть этих денег он анонимно пересылал монахам одного небольшого монастыря — скромным аскетам, посвятившим свою жизнь выведению немецких овчарок. То, что оставалось, Человек, Который Смеется обращал в бриллианты, которые он клал в изумрудные сейфы и время от времени опускал в Черное море. Его личные потребности были невелики. Питался он исключительно рисом и орлиной кровью и жил в крошечном домике с подземным спортивным залом и тиром на берегу бурного моря в Тибете. Вместе с ним жили четыре слепо преданных ему сообщника: быстроногий лесной волк по имени Черное Крыло, славный карлик по имени Омба, великан-монгол по имени Хонг, которому белые люди выжгли язык, и прекрасная девушка евразийка, которая безответно любила Человека, Который Смеется и так

о нем заботилась, что временами даже проявляла излишнюю щепетильность, когда речь заходила об очередном преступлении. Человек, Который Смеется отдавал приказания из-за черной шелковой ширмы. Никому, даже Омбе, славному карлику, не разрешалось лицезреть его.

Я, конечно, не собираюсь этого делать, но мог бы сколько угодно водить читателя — насильно, если необходимо, — взад и вперед через парижско-китайскую границу. Как ни странно, но я считал Человека, Который Смеется своим выдающимся знаменитым предшественником — ну, вроде генерала Роберта Э. Ли, чьи великие подвиги еще не все известны человечеству. Это еще довольно скромно по сравнению с тем, что приходило мне в голову в 1928 году, когда я рассматривал себя не только как прямого потомка Человека, Который Смеется, но и как единственного его законного наследника. В 1928 году я был даже не сыном своих родителей, а дьявольски коварным обманщиком, только и ждущим их малейшего промаха, чтобы доказать им, кто я на самом деле, — конечно, лучше без применения насилия, но если понадобится... Чтобы не разбить сердце моей мнимой матери, я намеревался взять ее с собой в мои подземные владения. Я придумывал для нее какое-то пока еще неопределенное, но вполне благородное звание. Но труднее всего в 1928 году было для меня следить за каждым своим шагом, за своим собственным поведением. Продолжать притворяться. Чистить зубы. Причесываться. Во что бы то ни стало заглушать мой естественный ужасный смех.

В действительности я был не единственным из живущих на земле законных потомков Человека, Который Смеется. В Клубе команчей было двадцать пять членов — двадцать пять живущих на земле законных потомков Человека, Который Смеется, — и все мы ходили по городу со злобным видом, инкогнито, приглядываясь к нашим тайным злейшим врагам-лифтерам, шепча украдкой приказы в уши охотничьих собак, прицеливаясь указательным пальцем в лоб учителя арифметики. Мы выжидали. Выжидали удобного случая, чтобы вселить ужас и восхищение в сердца окружающих нас простых смертных.

Однажды в феврале, как раз после открытия команчского бейсбольного сезона, я заметил в автобусе вождя нечто новое. Повыше зеркальца над стеклоочистителем висела в рамке маленькая фотография девушки, одетой в академический студенческий костюм. Мне показалось, что фотография девушки никак не вяжется с суровой, чисто мужской обстановкой автобуса, и я напрямик спросил вождя, кто это такая. Он сперва уклонился от ответа, но затем признал, что это девушка. Я спросил, как ее звать. Он без особого желания ответил: «Мэри Хадсон». Я спросил его, она что, кинозвезда, что ли? Он сказал, что нет, она учится в колледже Уэсли. Подумав, он добавил, что Уэсли — это очень аристократический колледж. Я спросил, чего ради он повесил ее фотографию в автобусе. Он слегка пожал плечами, давая понять, как мне показалось, что ее просто подсунули ему.

В течение следующих двух недель фотография — подсунули ее или нет — продолжала висеть в автобусе. Ее не выбрасывали вместе с конфетными обертками. Впрочем, мы, команчи, привыкли к ней. Постепенно она стала для нас таким же обычным, ничем не примечательным предметом, как спидометр.

Но однажды, когда мы ехали в парк, вождь остановил автобус у тротуара на 5-й авеню там, где 60-я стрит, за добрых полмили от нашего бейсбольного поля. Двадцать его пассажиров немедленно потребовали объяснения, но вождь его не дал. Вместо этого он принял свою обычную позу и совершенно не вовремя приступил к новому выпуску Человека,

Который смеется. Однако едва он начал, как кто-то постучал в дверь автобуса. Рефлексы вождя были в тот день крайне обострены. Он повернулся на сто восемьдесят градусов, рванул ручку двери, и в автобус вошла девушка в меховой шубке.

Между прочим, за всю мою жизнь только три девушки поразили меня с первого взгляда неопишуемой красотой. Одна была тоненькая девушка в черном купальном костюме, которая никак не могла раскрыть оранжевый зонтик на Джоуна Бич — это было примерно в 1936 году. Второй была девушка на борту корабля в Карибском море, которая швырнула своей зажигалкой в дельфина в 1939 году. А третьей была знакомая вождя — Мэри Хадсон.

— Очень я опоздала? — спросила она, улыбаясь вождю.

С тем же успехом она могла поинтересоваться, не уродина ли она.

— Нет! — сказал вождь.

Он чуть растерянно посмотрел на команчей, сидевших рядом, и махнул, чтобы мы подвинулись. Мэри Хадсон села между мной и мальчишкой, которого звали Эдгар и еще как-то там. Между прочим, лучший друг его дяди вел тайную торговлю спиртным. Мы освободили ей почти все сиденье. Автобус рванул с места, как это случается у шоферов-любителей. Команчи все, как один, молчали. Пока мы ехали обратно к нашей обычной стоянке, Мэри Хадсон, наклонясь вперед, с воодушевлением рассказывала вождю, на сколько поездов она опоздала и на какой поезд не опоздала; жила она в Дугластоне, на Лонг Айленде. Вождь очень нервничал. Он не только не поддерживал разговор, он и ее-то вряд ли слушал. Помню, его рука то и дело соскальзывала с рычага скоростей.

Когда мы вышли из автобуса, Мэри Хадсон увязалась за нами. Могу поручиться, когда мы подошли к бейсбольному полю, на лице буквально каждого команча было написано, что некоторые девушки просто не знают, когда им пора сматываться домой. И в довершение всего, когда я и еще один команч кидали жребий, какой команде выходить на поле первой, Мэри Хадсон задумчивым голосом сказала, что хочет играть с нами. Наш ответ не мог быть выражен яснее: если до этого команчи просто с удивлением поглядывали на это существо женского пола, то теперь мы вытаращили на нее глаза. А она улыбнулась. Это нас немного обескуражило. Тогда вождь решил взять дело в свои руки, но только обнаружил свою беспомощность. Он отвел Мэри Хадсон в сторону, так, чтобы команчи не могли его слышать, и с серьезным видом начал ей что-то втолковывать. В конце концов Мэри Хадсон прервала его. Команчи прекрасно слышали, что она сказала.

— А я хочу, — сказала она. — Я тоже хочу поиграть!

Вождь тряхнул головой и начал объяснять снова. Он показал на поле, размокшее, в рытвинах, потом поднял биты и показал ей, какая она тяжелая.

— Наплевать, — отчетливо проговорила Мэри Хадсон. — Я столько проехала до Нью-Йорка — к зубному врачу, и вообще — и я хочу играть.

Вождь снова тряхнул головой, но сдался. Он неуверенно подошел к тому месту, где ждали «Храбрецы» и «Воины» — две команды команчей, — и посмотрел на меня. Я был капитаном «Воинов». Он назвал имя моего центра, который был болен и сидел дома, и предложил, чтобы Мэри Хадсон заняла его место. Я сказал, что мне не нужен центр. Тогда он сказал: «То есть как это, черт побери, не нужен центр?» Я был потрясен. Впервые в жизни я слышал, что вождь ругается. Более того, я чувствовал, как улыбается Мэри Хадсон. Чтобы сохранить душевное равновесие, я поднял камешек и запустил им в дерево.

Мы вышли на поле. Во время первой подачи центру делать было нечего. Я время от времени оглядывался со своего места. И каждый раз

Мэри Хадсон весело махала мне рукой. Она напялила перчатку кэтчера — забрала ее себе, и все тут. Зрелище это было ужасное.

Мэри Хадсон была девятой. Когда я ей об этом сообщил, она состроила гримаску и сказала:

— Ну, тогда бейте побыстрее.

И, между прочим, мы и на самом деле заторопились. Мэри должна была бить с первой подачи. Она сняла меховую шубку и даже перчатку ради такого дела и подошла к базе в темно-коричневом платье. Когда я дал ей битку, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь покинул свой судейский пост за подающим и с озабоченным видом вышел вперед. Он велел Мэри положить конец биты на правое плечо.

— Я и так положила,— сказала она.

Он велел ей не сжимать битку чересчур сильно.

— Я и так не сжимаю,— сказала она.

Он велел ей смотреть только на мяч.

— Ладно,— сказала она.— Уходи с дороги.

Она с силой размахнулась и ударила по первому поданному ей мячу. Удар был что надо. Я думал, она успеет добежать до второй базы, но она добежала до третьей.

Когда прошло мое удивление, потом страх, потом восторг, я взглянул на вождя. Он, казалось, не стоял, а парил над подающим. Он был безмерно счастлив. Мэри Хадсон махнула мне с третьей базы. Я махнул в ответ — просто никак не мог удержаться. Мало того, что она так била, эта девушка знала и как махнуть вам с третьей базы.

До конца игры она ни разу не промахнулась. Первую базу она прямо-таки презирала, здесь ее было не удержать. А до второй она добежала трижды.

Правда, бегала она хуже всех, но мы и так выигрывали и не обращали на это внимания. Думаю, у нее получалось бы еще лучше, бери она мяч чем угодно, только не перчаткой кэтчера. Но она ее не снимала. Она сказала, что эта перчатка — шик.

Весь следующий месяц или около того она играла с командами дважды в неделю (наверно, в дни, когда ходила к зубному). Иногда она приходила к автобусу вовремя, иногда опаздывала. Иногда тараторила без умолку, иногда просто сидела и курила свои сигареты «Герберт Таритон». От нее пахло чудесными духами — как только сядешь рядом, сразу чувствуешь.

Однажды в холодный апрельский день, собрав нас, как обычно, в три часа на углу 109-й стрит и Амстердам авеню, вождь вывел битком набитый автобус на 110-ю стрит, потом, как всегда, свернул на 5-ю авеню. Но волосы у него были смочены и приглажены, а вместо куртки он надел пальто, из чего я резонно заключил, что к нам должна присоединиться Мэри Хадсон. Когда мы промчались мимо нашего обычного въезда в парк, у меня уже не было на этот счет никаких сомнений. Как и следовало ожидать, вождь остановил автобус на углу 60-й стрит. Затем, чтобы как-то убить время и занять команду, он повернулся к нам и выложил нам очередной выпуск «Человека, Который Смеется». Я помню этот выпуск до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать его здесь.

Обстоятельства сложились так, что лучший друг Человека, Который Смеется, лесной волк Черное Крыло, самым глупейшим образом попал в ловушку, составленную Дюфаржами. Хорошо зная, как ценит Человек, Который Смеется верность в дружбе, Дюфаржи обещали ему освободить Черное Крыло в обмен на его собственную свободу. В порыве благородства Человек, Который Смеется согласился на это условие. (Хоть он и был

гениален, но, случилось, какие-то винтики у него не сработывали!) Было условлено, что Человек, Который Смеется встретится с Дюфаржами в полночь в назначенном месте в глухом лесу, окружающем Париж, и там при свете луны Черное Крыло выпустят на свободу. Однако Дюфаржи вовсе не намеревались освобождать Черное Крыло, которого они боялись и ненавидели. В ночь, когда должна была совершиться сделка, они привязали к дереву другого волка, предварительно выкрасив его левую заднюю лапу в белый цвет, как у Черного Крыла.

Но Дюфаржи не учли двух обстоятельств: сентиментальности Человека, Который Смеется и того, что он владеет языком лесных зверей. Лишь только он позволил дочери Дюфаржа привязать себя колючей проволокой к дереву, ему очень захотелось сказать своим нежным, мелодичным голосом несколько прощальных слов тому, кого он считал своим верным другом. Подставной волк, привязанный неподалеку на залитой лунным светом лужайке, был просто потрясен тем, что незнакомец знает волчий язык, и некоторое время вежливо внимал его последним личным и деловым советам. Потом это ему надоело, и он стал переминаться с лапы на лапу. Внезапно он довольно невежливо оборвал Человека, Который Смеется и сообщил ему, что прежде всего его зовут не Черное Крыло, или там Серые Ноги, или еще как-нибудь в этом роде, а что имя его Арманд и к тому же он никогда не бывал в Китае и не имеет ни малейшего желания туда отправляться.

Страшно расвирепев, Человек, Который Смеется сдернул языком маску и при лунном свете показал Дюфаржам свое лицо. Мадмуазель Дюфарж как подкошенная упала в обморок. Ее отцу посчастливилось: как раз в эту минуту у него начался приступ кашля и он пропустил смертельно опасный момент. Закончив кашлять, он увидел, что его дочь лежит навзничь на залитой лунным светом земле, и сразу понял, что произошло. Прикрывая глаза ладонью, он выпустил всю обойму из своего автоматического пистолета на звук тяжелого, с присвистом, дыхания Человека, Который Смеется.

На этом месте рассказ оборвался.

Вождь вынул из кармана дешевенькие часы, взглянул, повернулся на своем сиденье и включил мотор. Я тоже посмотрел на свои часы. Было почти половина пятого. Когда автобус тронулся, я спросил у вождя, разве он не собирается ждать Мэри Хадсон. Он мне не ответил, но прежде, чем я успел повторить вопрос, он повернул голову и крикнул нам:

— А ну потише там, черт побери!

Непонятно, что он этим хотел сказать: в автобусе все время было совершенно тихо. Каждый из нас размышлял над обстоятельствами, в которых мы оставили Человека, Который Смеется. Бояться за него мы давно уже перестали — слишком мы в него верили, — но все же мы не могли спокойно слышать о страшных опасностях, которые ему угрожали.

Во время третьей или четвертой подачи я увидел Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке примерно в сотне ярдов от меня, зажата между двумя нянями с детскими колясками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и, кажется, смотрела в нашу сторону. Взволнованный этим открытием, я крикнул вождю, который стоял за подающим. Он подошел ко мне очень быстрым шагом, но все-таки не побежал.

— Где? — спросил он.

Я показал. С минуту он глядел в том направлении, потом сказал, что сейчас вернется, и покинул поле. Шел он медленно, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел прямо на поле и стал смотреть. К тому времени, как вождь подошел к Мэри Хадсон, его пальто было снова застегнуто на все пуговицы, а руки он опустил по швам.

Он простоял возле нее минут пять, что-то ей говоря. Потом Мэри

Хадсон встала, и они двинулись к бейсбольному полю. Они шли не разговаривая и не глядя друг на друга. Когда они подошли, вождь занял место за подающим. Я крикнул ему:

— Будет она играть?

Он велел мне встать на место. Я встал, не сводя глаз с Мэри Хадсон. Засунув руки в карманы шубки, она медленно прошла к черте поля и села там на скамейку для игроков, как раз за третьей базой. Затем она закурила еще одну сигарету и закинула ногу на ногу.

Пока били «Воины», я подошел к ее скамейке и спросил, не хочет ли она играть левым. Она покачала головой. Я спросил, не простудилась ли она. Она снова покачала головой. Я сказал ей, что у меня совсем нет левого, что один игрок играет и за центр и за левого. На это она вообще ничего не ответила. Я подкинул мою рукавицу в воздух и попытался поддать ее головой, но она упала в грязную лужу. Я вытер ее об штаны и спросил Мэри Хадсон, не придет ли она к нам когда-нибудь пообедать. Я сказал ей, что вождь очень часто ходит к нам обедать.

— Оставь меня в покое,— сказала она.— Ну, пожалуйста, оставь меня в покое.

Я удивленно посмотрел на нее, потом пошел к скамейке «Воинов», вынув из кармана мандарин и подбрасывая его в воздух. На половине пути я повернулся и зашагал обратно, глядя на Мэри Хадсон и сжимаемая в руке мандарин. Я понятия не имел, что происходит между вождем и Мэри Хадсон (и сейчас ничего не понимаю, разве что смутно догадываюсь), но почему-то я был твердо убежден, что Мэри Хадсон навсегда выбыла из нашей команды. Именно эта уверенность — хотя фактов было мало — привела меня в такое смятение, что я на ходу врезался в детскую коляску.

Еще через подачу стемнело, и играть стало трудно. Мы начали собирать пожитки. Когда я последний раз взглянул на Мэри Хадсон, она стояла у третьей базы и плакала. Вождь взял ее за рукав шубки, но она вырвалась и побежала по бетонированной дорожке. Она все бежала, пока совсем не скрылась из виду. Вождь не пошел за ней. Он стоял и смотрел ей вслед. Потом он повернулся и пошел с поля, подобрав две биты: мы всегда их оставляли ему. Я подошел к нему и спросил, не подрались ли они с Мэри Хадсон. Он велел мне заправить за пояс рубаху.

Как всегда, последние несколько сот ярдов до автобуса команчи мчались со всех ног, воля и толкаясь, пробуя друг на друге приемы вольной борьбы, но не на секунду не забывая, что настало время для «Человека, Который Смеется». Перебегая улицу, я споткнулся о чей-то свитер и шлепнулся. Когда я добежал до автобуса, лучшие места были уже заняты, и мне пришлось сесть в середине. Со злости я двинул своего соседа локтем в бок, а потом обернулся и стал смотреть, как вождь переходит улицу. Еще не совсем стемнело — ну, как бывает в начале шестого. Вождь шел, подняв воротник, с битами под мышкой и смотрел себе под ноги. Его черные волосы, которые утром были смочены и приглажены, теперь высохли и растрепались. Помню, я заметил, что у него нет перчаток. Когда он влез в автобус, там уже было тихо — так стихает в театре, когда гаснут огни. Разговоры заканчивались торопливым шепотом или просто обрывались. Тем не менее вождь сказал:

— Хорошо, хорошо, только сперва прекратите этот шум, а то никакого рассказа не будет.

Тут же наступила полная тишина, и вождю не оставалось ничего другого, как приступить к рассказу. Устроившись на сиденье, он вынул платок и тщательно высморкался — сначала одну ноздрю, потом другую. Мы терпеливо ждали, но без интереса наблюдая за ним, как всякие зрители. Покончив с платком, он аккуратно сложил его вчетверо и снова

засунул в карман. Затем он приступил к новому выпуску «Человека, Который Смеется». С начала до конца он занял не более пяти минут.

Четыре пули Дюфаржа попали в Человека, Который Смеется, две из них — в сердце. Когда Дюфарж, который все еще прикрывал глаза, чтобы не видеть Человека, Который Смеется, услышал страшные звуки агонии, он пришел в восторг. Его подлое сердце забилося от радости, он подбежал к дочери, которая так и лежала без сознания, и привел ее в чувство. Теперь эти трусы так расхрабрились, что осмелились наконец взглянуть на Человека, Который Смеется. Голова его поникла, как у мертвеца, подбородок он уткнул в залитую кровью грудь. Медленно и алчно отец и дочь стали подходить к дереву, чтобы получить разглядеть свою добычу. Но их ждала полнейшая неожиданность. Человек, Который Смеется, который вовсе и не думал умирать, был занят тем, что незаметно сокращал мышцы желудка. Когда Дюфаржи подошли совсем близко, он вдруг поднял голову, жутко захохотал и аккуратно, одну за другой, изрыгнул все четыре пули. Это произвело на Дюфаржей такое сильное впечатление, что сердца у них буквально лопнули, и они мертвыми упали к ногам Человека, Который Смеется. (Если рассказу все равно суждено было быть на этот раз коротким, то лучше бы уж он кончился на этом месте: команчи сумели бы дать разумное объяснение внезапной смерти Дюфаржей. Но это был еще не конец.) День за днем Человек, Который Смеется продолжал стоять, привязанный к дереву колючей проволокой, а трупы Дюфаржей разлагались у его ног. Истекая кровью, оторванный от своих запасов орлиной крови, он был на краю гибели. Но однажды хриплым, но проникновенным голосом он обратился за помощью к обитателям леса. Он попросил их привести Омбу, славного карлика. Так они и сделали. Но путь туда и обратно через китайско-парижскую границу был долог, и к тому времени, как Омба прибыл на место с санитарной сумкой и запасом свежей орлиной крови, Человек, Который Смеется был уже при смерти. Прежде всего в порыве сострадания Омба разыскал маску и почтительно прикрыл ею ужасное лицо своего хозяина, затем быстро поднес к закрытому маской рту пузырек с орлиной кровью. Но Человек, Который Смеется не отпил из него. Вместо этого он слабым голосом произнес имя своего любимого волка. Омба склонил свою тоже слегка деформированную голову и признался хозяину, что Дюфаржи убили Черное Крыло. Тоскливый, душевраздирающий вопль исторгся из груди Человека, Который Смеется. Он протянул слабую руку за пузырьком с орлиной кровью и раздавил его в кулаке. Затем он приказал Омбе отвернуться, и Омба, рыдая, повиновался. Последним движением, прежде чем упасть ниц на запятнанную кровью землю, Человек, Который Смеется сорвал с лица маску.

На этом рассказ кончился. (Чтобы никогда больше не воскреснуть!) Вождь включил мотор. Напротив меня, через проход, самый юный команч Билли Уолш разразился рыданиями. Никто из нас даже не посоветовал ему заткнуться. Что до меня, то я до сих пор помню, как у меня дрожали коленки.

Несколько минут спустя, когда я выходил из автобуса, первое, на что упал мой взгляд, была тонкая красная бумажка, прилепившаяся к тумбе фонарного столба, — ну в точности лепесток от маски. Когда я пришел домой, у меня зуб на зуб не попадал, и мне было велено немедленно лечь в постель.

*Перевел с английского В. Жельвис.*



# ПУБЛИЦИСТИКА

Б. ЯКОВЛЕВ

★

## ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ...

*К выходу 1—26-го томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина*

**О**коло семнадцати тысяч страниц и более пяти миллионов экземпляров — таковы объем и тираж первых двадцати шести томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина, изданных за 1958—1961 годы.

Двадцать шесть ленинских томов — это двадцать шесть учебников борьбы за коммунизм. В них вошли книги «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики...», «Материализм и эмпириокритицизм», «Социализм и война», десятки брошюр, сотни статей для большевистских газет и журналов.

Все эти работы содержались и в предшествующих четырех изданиях Сочинений. Однако в двадцать шесть томов их Полного собрания включено около четырехсот произведений, в значительной части публикуемых впервые. Они составляют в общей сложности более семисот страниц и — вместе с сопровождающим их комментарием — могли бы образовать по крайней мере два тома ранее неизвестных читателю статей, обзоров печати, рецензий, докладов и речей на партийных съездах и конференциях, обращений и партийных документов.

В период культа личности важнейшие ленинские документы десятилетиями лежали под спудом, не поступая даже в Центральный партийный архив. Ведь только по решению XX съезда было напечатано политическое завещание Ленина — «Письмо к съезду», записки «О придании законодательных функций Госплану» и «К вопросу о национальностях...». Лишь после съезда был издан 36-й том четвертого издания Сочинений, в который вошли все те произведения, которые были изъяты из данного издания.

Вслед за томами 36—39-м четвертого издания Сочинений Институт марксизма-ленинизма подготовил XXXVI Ленинский сборник и конспект переписки между Марксом и Энгельсом. Многие опубликовано и в периодической печати. Однако и это, оказывается, еще не исчерпало ленинского литературного наследия. В Полном собрании сочинений то и дело появляются новые работы, еще не зарегистрированные вышедшим в 1959 году «Хронологическим указателем произведений В. И. Ленина».

Обратимся к новым материалам ленинского публицистического наследия — статьям и рецензиям, листовкам и письмам. Но сначала несколько слов о биографических документах, шире, чем прежде, освещающих революционный путь Владимира Ильича.

### 1. НОВОЕ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ПУТИ ЛЕНИНА

Опубликованное в 1—26-м томах документальное и литературное наследие Ленина охватывает большой исторический период — с 1887 по 1915 год, от окончания семнадцатилетним Владимиром Ульяновым Симбирской классической гимназии — до написанной великим публицистом рабочего класса его уже примерно двухтысячной по

счету литературной работы — редакционного примечания «О лозунге Соединенных Штатов Европы».

Вот 5 декабря 1887 года — на другой день после жандармской расправы с участниками революционной студенческой сходки — студент первого семестра юридического факультета Казанского университета Владимир Ульянов, не признавая возможным «продолжать... образование в Университете при настоящих условиях университетской жизни», отправляет ректору заявление «об изъятии... из числа студентов...»

Вот осенью 1889 года он просит министра народного просвещения разрешить сдать экзамен экстерном при каком-либо высшем учебном заведении, ссылаясь на то, что ему настоятельно необходимо «поддерживать своим трудом семью, состоящую из престарелой матери и малолетних брата и сестры...»

Вот еще четыре года спустя — 16 августа 1893 года — помощник присяжного поверенного В. Ульянов сообщает Самарскому окружному суду, что намеревается «перечислиться в помощника присяжного поверенного в округ Санкт-Петербургской Судебной Палаты». Именно в этом округе молодой адвокат и организует вскоре петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ставший ядром будущей Коммунистической партии.

Ее тогдашним задачам посвящены набросок и незаконченный вариант предисловия ко второму изданию брошюры «Задачи русских социал-демократов». Здесь сжато сформулированы основные этапы исторического развития русской социал-демократии. Война с «критиками» и «размежевка» с «экономистами» выдвигается в качестве одной из главных задач борьбы русских марксистов против ревизионизма. Тогда же, такой скупой, как правило, в своей публицистике на автобиографические признания, Ленин отмечает, что пятилетие 1897—1902 годов многое дало ему «лично в смысле партийного (и теоретического и практического) опыта». За эти годы петербургский пропагандист-подпольщик становится вождем партии российского пролетариата, главным редактором ее центрального органа, ее лучшим публицистом.

Новые материалы Сочинений отвергают некоторые ошибочные утверждения, проносящие порой в мемуарную литературу. Так, иногда распространяется совершенно необоснованное представление о том, что Ленин якобы неизменно и даже вполне «добродушно» разрешал «редактировать свои рукописи и «изменять» их»<sup>1</sup>. На самом деле, отстаивая не только свою политическую позицию, но и форму выражения, всегда всесторонне продуманную и своеобразную, Владимир Ильич отнюдь не отличался эдаким покладистым авторским «добродушием», безразличным к постороннему вмешательству в творческий литературный труд.

В шестом томе дана новая публикация ответов на замечания Плеханова по статье «Аграрная программа русской социал-демократии». В связи с предложением Плеханова голосовать рекомендуемые им крайне неудачные стилистические исправления одной из формулировок статьи Ленин пишет: «Немножечко такта могло бы подсказать автору замечаний, что настаивать на голосовании желаемых им изменений (не к худшему ли?) стилия — весьма неуместно».

Другое столь же необоснованное замечание Плеханова вызывает еще более гневный протест. «Ставлю на голосование,— пишет Владимир Ильич,— вопрос о том, приличны ли по отношению к коллеге по редакции подобные канканные по тону замечания? и куда мы придем, если начнем все так угощать друг друга??»

Отвергая навязываемые Плехановым исправления, Ленин так формулирует свое главное возражение: «Не грех бы поменьше бояться того, что автор подписанной статьи в ы р а з и т с я по-воему».

Замечание это поучительно и для тех современных редакторов, которые подчас напрасно покушаются на индивидуальную литературную манеру того или иного автора.

В заключение Владимир Ильич пишет:

«Стремление голосованиями вмешаться даже в способ выражения членов редакции — верх бестактности.

<sup>1</sup> См. сборник «Ленин — журналист и редактор». Госполитиздат. М. 1960, стр. 340.

Автор замечаний напоминает мне того кучера, когорый думает, что для того, чтобы хорошо править, надо почаще и сильнее дергать лошадей. Я, конечно, не больше «лошади», одной и з лошадей, при кучере — Плеханове, но бывает ведь, что даже самая задерганная лошадь сбрасывает не в меру ретивого кучера.

Ошибается и другой мемуарист, утверждающий, что Ленин-публицист якобы «ни на один момент не останавливает своего внимания на форме, в которую выливается его мысль», «не обращает внимания на такие пустяки», как литературный стиль и т. д.<sup>1</sup> Весьма недостоверную точку зрения эту отвергает любая из сохранившихся рукописей Ленина, вся его литературная деятельность. Тем, кто так некритически полагается на односторонние свидетельства мемуаристов, не сопоставляя их с другими, а главное — с ленинским наследием, следует обратиться хотя бы к новым материалам рецензируемых томов, освещающим многочисленные литературные замыслы Ленина.

Таковы планы брошюры против эсеров, задуманной весной 1903 года; статей «Как они защищаются?» и «1895 и 1905...», намеченных незадолго до первой русской революции; публицистического диалога «Разговор освобожденца с социал-демократом» и статьи «Уроки московских событий». Во всех этих и других подобных случаях Ленин неизменно взыскателен к литературной форме, композиции, образным средствам выражения мысли.

Столь же интересны и новые материалы о ленинской пропагандистской деятельности. Мы имеем в виду, к примеру, планы беседы об экономических кризисах в кружке пропагандистов, созданном осенью 1904 года Женевской группой большевиков из молодых рабочих-эмигрантов, и реферата о булыгинской думе.

Неутомимый пропагандист революционного марксизма был глубоко принципиален в идейной борьбе. В этом смысле чрезвычайно характерен «Ответ Л. Мартову». Ленин отказывается спорить с чим «в плоскости личных нападков и заподозриваний». Подчеркивая, что большевики ведут и в печати и в партии лишь принципиальную борьбу, Ленин предупреждает, что они не позволят «столкнуться себя на проселок личных дрызг и счетов».

После издания первой научной биографии Ленина, подготовленной высококвалифицированным авторским коллективом, казалось, что стали широко известными все основные факты жизненного и революционного пути Владимира Ильича. Новые публикации показывают, однако, что есть еще немало недостаточно изученных материалов, ждущих исследователей и комментаторов. Как увлекательны, скажем, литературные замыслы Ленина, завершить которые помешали перегрузка автора неотложной политической деятельностью или отсутствие издательских возможностей и соответствующих органов партийной печати. Как интересно было бы проследить формирование ленинских идей, их связь с другими работами того же периода — статьями, письмами, выступлениями, попытаться по частям возможно более полно воссоздать целое..

## 2. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЙНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

Новая Программа КПСС опирается в своей принципиальной части на разработанную под идейным руководством Ленина первую Программу партии, принятую в 1903 году. С подготовкой ее проекта связаны многие новые материалы Полного собрания сочинений. В одном из них — наброске отдельных пунктов практической части проекта — Ленин почти за шесть десятилетий до наших дней писал о надзоре «органов местного самоуправления с участием выборных от рабочих» за санитарным состоянием жилищ и условиями труда. Социальные реформы, которые отставала тогда партия, были полностью осуществлены уже в самые первые годы деятельности Советского государства.

Ряд выступлений Ленина на II съезде посвящен Программе и Уставу партии, национальному и аграрному вопросам. Его предложения к пунктам общеполитических

<sup>1</sup> См. сборник «Ленин — журналист и редактор», стр. 310.

требований Программы провозглашают глубоко интернационалистское право каждого «получать образование на родном языке, право каждого гражданина объясняться на родном языке в собраниях, общественных и государственных учреждениях». Право это предоставила всем без исключения национальностям бывшей царской России лишь Октябрьская революция. Отметим также «письмо Правлению Германской социал-демократической партии», написанное 15 марта 1913 года и впервые напечатанное в переводе с немецкого лишь в 1960 году журналом «Коммунист». Возражая немецким социал-оппортунистам, предложившим большевикам выработать новую Программу, «единую» с ликвидаторами, Ленин пишет:

«...наша партия уже давно имеет партийную программу. Еще в 1903 г., т. е. десять лет тому назад, наша программа была утверждена на втором съезде нашей партии. И с тех пор сотни тысяч, а в революционные годы и миллионы, пролетариев России доказали верность этой программе, борясь под знаменем нашей партии. Мы остаемся верны этой программе и сейчас. Ревизию ее мы считаем совершенно излишней».

Примечательно, что при обсуждении Устава партии на II съезде Ленин добился отклонения поправки Мартова, попытавшегося ограничить записанное в проекте право «всякого лица, имеющего какое-либо дело с партией», обращаться непосредственно в ее центральные органы. «...Нельзя никому запретить доходить до центра с заявлением. Это необходимое условие централизации»,— говорил тогда Владимир Ильич.

На III съезде он резко возражал при обсуждении Устава против добавлений, вносящих лишь формализм и волокиту. «Надо дать инициативу и местным комитетам»,— заявил Ленин, выступая при обсуждении резолюции об отношении к национальным социал-демократическим организациям.

Новые ленинские материалы показывают образцы большевистской партийности в действии, в острой политической борьбе со всяческими идейными противниками партии, будь то «экономисты», меньшевики, кадеты, «богостроители», ликвидаторы, троцкисты и прочие враги ленинизма — предшественники современных ревизионистов и сектантов-догматиков.

Выступая в октябре 1903 года на II съезде Заграничной лиги русской революционной социал-демократии и примерно три месяца спустя на заседаниях Совета РСДРП, Ленин бичует меньшевистских лидеров как раскольников, отвергнувших все предложения «о мерах, которые могли бы способствовать восстановлению мира в партии и нормальных отношений между несогласно мыслящими членами партии».

Окончательно убедившись, что политическая линия меньшевиков становится, по его выражениям, победой кружковщины над партийностью, изменой интересам партии в целом, попыткой развратить партию внесением лицемерия в партийные отношения и третировать партию как ничто, Ленин призвал всех членов партии решительно бороться против узурпации и лицемерия.

Все эти положения содержит проект резолюции Женевской группы большинства, приступившей с осени 1904 года к энергичной агитации за созыв III съезда.

Боевые политические позиции Ленина на IV — объединительном — съезде запечатлены в его выступлениях, резолюциях, предложениях. Он предсказал еще тогда, что буржуазные либералы — «кадеты по самому классовому существу, будут стремиться затушить революцию». История первой русской революции полностью подтвердила эти слова.

К выступлениям на IV съезде примыкают доклад и заключительное слово на Второй конференции РСДРП, созванной осенью 1906 года. Ленин разъясняет здесь, как опасна гегемония кадетов в освободительном движении, и так отмежевывается от них: «Мы говорим: с революционной буржуазией мы идем иногда, с оппортунистической и предательской — никогда».

Упомянем и впервые публикуемую на русском языке резолюцию «О задачах пролетариата в современный момент буржуазно-демократической революции», принятую весной 1907 года II съездом социал-демократии Латышского края и напечатанную тогда же по-латышски в газете «Ziņņa». Ленин клеймил там буржуазных либералов, стремившихся затормозить революцию посредством уступок, выгодных черносотенным помещикам и самодержавию.

Полный текст доклада о положении дел в партии на совещании членов ЦК, состоявшемся летом 1911 года, впервые напечатан по копии, написанной рукой Ф. Э. Дзержинского. Доклад определяет задачи большевиков-партийцев, призывает партийные рабочие кружки в России выдвигать кандидатами в IV Думу «только вполне партийных людей, только товарищей, сознавших опасность ликвидаторского течения».

Зимой того же года в конспекте другого доклада о политическом положении отмечаются новые проявления буржуазной контрреволюционности в социал-демократии. Здесь имеются в виду ликвидаторы и все те, в чьем отношении к первой русской революции господствовали «злорадия, страх, ненависть» или «трусость, маловерие, малодушие».

Резко направлены против ликвидаторов и выступления зимой 1914 года на IV съезде социал-демократии Латышского края. Их запись опубликовала в свое время по-латышски бостонская газета «Stradnieks». На русском языке они появились впервые в 24-м томе. Во всей широте Ленин рассматривает здесь бесспорные факты, доказывающие, что большевики сплотили большинство русских рабочих. Он напоминает, что вокруг «Правды» объединилось примерно две тысячи рабочих групп, а вокруг ликвидаторского «Луча» — почти вчетверо меньше.

Ряд документов связан с предполагавшимся в 1914 году созывом VI съезда партии. По предложению Ленина ЦК создал организационное отделение по руководству нелегальной работой, названное из конспиративных соображений Рабочей кооперативной комиссией. Комиссия была призвана руководить подготовкой партийного съезда к августу 1914 года. К июлю этого года были избраны делегаты съезда, намечены маршруты и установлены явки, собраны средства для поездки в Вену, где созывался одновременно Международный социалистический конгресс. Разработанный Лениным порядок дня съезда предполагал обсуждение организационных задач партии, национального вопроса, тактики стачечного и страхового движения.

Первая мировая война закрыла границы и сорвала подготовленный съезд...

### 3. АВТОРУ «ПЕСНИ О СОКОЛЕ»

Историко-партийные документы, впервые включенные в Сочинения, воскрешают множество еще малоизвестных страниц истории Коммунистической партии. Выразительное характеризуют они ленинскую идейную непримиримость.

Один из таких документов — открытое письмо «Автору «Песни о Соколе». Оно вошло в том 26. В сентябре 1914 года Горький весьма неосмотрительно подписался — да еще вместе с реакционерами П. Струве и А. Кизеветтером! — «под шовинистски-поповским протестом» против злодеяний немецких империалистов, обеляющим империалистов Антанты.

Суровое ленинское определение, как всегда, абсолютно точно и обоснованно. Ведь Горький, несмотря на его политическую солидарность с большевиками и социалистическим движением в целом, подписал ханжеский документ, совсем по-поповски ополчавшийся против «жесточких национальных богов, для победы над которыми воплощался на земле Единый Милосердный Бог»<sup>1</sup>.

Заблуждения Горького вынудили Ленина напомнить писателю о беседе с ним по поводу печально знаменитого поступка Шаяпина. Последний встал однажды на колени перед царской ложей и запел в столь постыдной для художника рабочепопской позе гимн «Боже, царя храни...» Горький говорил тогда об артисте: «Его нельзя судить очень уж строго: у нас, художников, другая психология...»

«Другими словами, — комментирует Ленин это высказывание, — художник часто действует под влиянием настроения, которое у него достигает такой силы, что подавляет всякие другие соображения».

«Пусть так, — соглашается Ленин с писателем. — Пусть Шаяпина нельзя судить строго. Он художник, и только... Но Горького рабочие привыкли считать своим. Они

<sup>1</sup> «Русское слово», 28 сентября 1914 года, стр. 4.

всегда думали, что он так же горячо, как и они, принимает к сердцу дело пролетариата, что он отдал свой талант на служение этому делу... И это доверие сознательных рабочих налагает на Горького известную обязанность — беречь свое доброе имя и не давать его для подписи под всякими дешевенькими шовинистскими протестами, которые могут ввести в заблуждение малосознательных рабочих... Имя Струве никакого рабочего не собьет, а имя Горького может сбить».

Письмо это — предметный урок общественного поведения всем художникам-коммунистам не по формальной партийной принадлежности, а по идейным убеждениям. Ленин разъясняет писателю его политический долг. От имени рабочего класса он призывает автора «Песни о Соколе» «идти рука об руку с передовыми его борцами, а не с господином Струве и К<sup>о</sup>!»

Поучительно сопоставить ленинское письмо с прямо противоположной ему по тону статьей Сталина, опубликованной 20 октября 1917 года и претенциозно озаглавленной библейским изречением «Окружили мя тельцы мнози тучны». Бичуя политические ошибки писателя, Сталин уподобил тогда Горького анархисту Кропоткину, эсеровской «бабушке русской революции» Брешко-Брешковской и перешедшей на ликвидаторские, меньшевистские позиции Засулич. «...Лавры этих «столпов» не дают спать Горькому, — писал Сталин. — ...Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив». В противоположность Ленину Сталин ни единым словом не напомнил пролетарскому художнику об его общественном долге. В редакционной статье он якобы от имени всей партии отрекся от Горького, заявив: «Что же, вольному воля... Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов...»

Но, быть может, резкость Сталина диктовалась остротой революционных дней? Обратимся для сравнения к другому ленинскому документу — четвертому «Письму из далека», начинавшемуся критикой политических ошибок Горького в том же 1917 году. Ленин снова приводит здесь — и это помогло исследователям установить принадлежность его перу письма «Автору «Песни о Соколе» — прямодушное заявление Горького, сделанное при одном из свиданий на острове Капри «с неподражаемо-милой улыбкой»: «...Все мы, художники, немного невменяемые люди». Как бы повторяя открытое письмо, Ленин отмечает, что нелегко спорить против этого. Однако, разъясняя всю ошибочность позиции Горького, он тотчас же напоминает, что громадный художественный талант писателя принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.

Итак, Ленин борется за Горького. Сталин борется с Горьким, Ленин привлекает писателя на сторону своей партии. Сталин отталкивает и дискредитирует его. Ленин проявляет чуткость и внимательность подлинно коммунистического руководителя. Сталин обнаруживает лишь жестокость, грубость и нетерпимость, не имеющую ничего общего с идейной непримиримостью. Новый ленинский документ о Горьком — замечательный пример большевистской партийности по отношению к людям культуры и искусства.

#### 4. К 50-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОЙ «ПРАВДЫ»

Огромная роль в борьбе за большевистскую партийность принадлежит «Правде», пятидесятилетие которой отмечается 5 мая этого года. Ленин неустанно трудился для «Правды», написал для нее сотни статей. Он идейно руководил всей деятельностью редакции. В январе 1913 года во время Краковского совещания ЦК партии с партийными работниками он подготовил резолюцию «О реорганизации и работе редакции газеты «Правда». По ленинской оценке, редакция эта, в которой участвовали тогда Сталин и Молотов, была недостаточно выдержана в партийном духе. Резолюция обязывала ее строго соблюдать и проводить все партийные решения.

В наброске другой резолюции отмечалась полная победа партийцев «на легальной арене за 1912 год, именно в области ежедневной рабочей газеты марксистского направления...»

Обширную программу ее деятельности Ленин развивает в статье «Наши задачи». Он воздает должное рабочим-правдистам. Сохранив верность прошлому и строя новое на фундаменте старого, они положили начало решению необыкновенно трудной исторической задачи. Они отстояли «в самое трудное и тяжелое время свою линию от преследований извне и от уныния, маловерия, малодушия, измены изнутри...»

Ленин предлагает вдесятеро шире распространять «Правду». Он задумывает издание общепрофессионального московского, уральского, кавказского, прибалтийского, украинского и других приложений, посвященных движению рабочих разных национальностей России. Он намечает далее создание «Вечерней правды», предназначенной для сотен тысяч пролетариев и полупролетариев города и деревни. Он предсказывает, что нет силы на свете, способной задержать рабочий класс России на его великом пути к освобождению.

В 22—25-м томах впервые опубликовано более двадцати статей, подготовленных для «Правды» в 1912—1914 годах. Среди них подписанное псевдонимом «Постоянный читатель «Правды» письмо в редакцию «О политической бесхарактерности». Оно обличает выборщика П. Судакова, переметнувшегося от правдистов к ликвидаторам.

«Тушинские перелеты» — переходящие от одного направления к другому, — заключает письмо Ленин, — бывали всегда, но рабочие перелеты не уважают...» Напомним, что «тушинскими перелетами» прозвали политических перебежчиков еще в XVII веке, когда ставка Лжедмитрия II располагалась в селе Тушине под древней Москвой...

После длительной исследовательской работы Институт марксизма-ленинизма установил принадлежность Ленину статей, анонимно или под различными псевдонимами («Д», «В», «К—пов», «И. В.» и др.) напечатанных в «Правде» и «Просвещении». К их числу относятся: «Борьба партий в Китае», «Помещики об отхожих сельскохозяйственных рабочих», «Дешевое мясо — для «народа».

Последняя статья — образец публицистического памфлета. Он рассказывает об открытом при городских бойнях тогдашней Москвы так называемом «фрейбанке» — лавке, торгующей дешевым, «обезвреженным», «условно-годным» мясом. Сюда поступало вываренное под наблюдением ветеринаров мясо скота, зараженного туберкулезом и пузырчатými глистами.

Афера с дешевым «народным мясом» послужила поводом для широких публицистических обобщений. Высмеивая лицемерный буржуазный лозунг «Все для народа», Ленин пишет:

«Увидите объявление: «общество народных квартир» — знайте, что подвал или чердак будет дешевый и под врачебным надзором: помереть, конечно, не помрешь, а чоткой заболеешь...

Увидите надпись: «народная библиотека» — вы можете торжествовать. Будет дешевая, а то и бесплатная брошюра, изданная союзом русского народа... под врачебным надзором духовной цензуры».

Памфлет завершается полным сарказма предположением о том, что скоро буржуи откроют «фрейбанк» для «народного» хлеба: из травы, обезвреженной, вываренной, приготовленной под ветеринарным, то бишь... врачебным надзором.

Впервые публикуются и другие статьи — «Октябристы и рабочее движение», «Ничета народных учителей», «Как обманывают рабочих ликвидаторы», «О наших школах», рецензия на книгу Козьминых-Ланина о сверхурочных работах на фабриках и заводах Московской губернии. Все они расширяют сложившиеся представления о публицистическом творчестве Ленина, его тематике, объеме, жанровом и стилистическом многообразии.

История «Правды» таит множество увлекательных сюжетов для художников — летописцев нашей революции. Рабочие-правдисты составляли тогда самый передовой отряд большевистской гвардии. Их судьбы — замечательный материал для создания типических образов борцов пролетариата. Ленин уделял такое внимание идейному, да и организационному руководству «Правдой» прежде всего потому, что видел в ней школу политического воспитания партийных лидеров и кадров, легальный центр партии, находившейся тогда в подполье.

## 5. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Партийную публицистику Ленин называл историей современности. Он считал ее действенным средством, способствующим всемерному расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы за победу коммунизма.

Далеко не всегда и далеко не всеми правильно понимается глубина этого определения воспитательной и просветительной, организующей и мобилизующей роли публицистического слова. Следует, к примеру, поспорить с точкой зрения, высказанной недавно Н. Погодиным в интересной статье «Герой нашего времени». Не отделив, к сожалению, публицистику подлинную от публицистики мнимой, ложной, претенциозной по форме и весьма неглубокой по содержанию, драматург вообще отказывает публицисту в праве на оригинальное творчество. Н. Погодин пишет:

«...Публицист говорит о готовом. Художник думает о зреющем. Публицист пишет о том, что видно каждому. Художник — о том, что каждому не видно. Публицист регистрирует. Художник творит».

Столь категорическое противопоставление творящего художника лишь регистрирующему публицисту легко отвергается творческим опытом не только Маркса и Ленина, но и Герцена, Чернышевского, Белинского, Добролюбова, Писарева, Плеханова... Ведь публицист далеко не всегда «говорит о готовом». Наоборот! Настоящая публицистика не раз опережала другие виды литературы. Она подмечала в действительности ростки нового, передового, еще не раскрытые и художниками. Напомним хотя бы о «Великом почине». Многие в 1919 году знали о коммунистических субботниках. Однако только Ленин увидел в них ростки коммунизма. Нет, публицист не регистрирует, а прежде всего анализирует действительность. Он отстаивает и развивает боевые политические лозунги. Оттого-то так сложна и многообразна творческая лаборатория публициста.

Это красноречиво подтверждают и новые ленинские материалы. В 1—26-м томах опубликованы пометки на книгах, выписки, расчеты, тезисы, планы, конспекты, отрывки, варианты, наброски и другие подготовительные материалы. Они связаны почти с семьюдесятью произведениями Ленина — его книгами, брошюрами, статьями, обращениями, письмами, листовками. И мы видим (хотя бы частично), как протекал творческий процесс работы великого публициста. Мы узнаем, на какой гигантский фактический, литературный, статистический, исторический материал опирался каждый его вывод.

В легальной — подцензурной — печати Ленин нередко вынужден был ограничивать свой публицистический арсенал. В статье «По поводу передовицы в газете «Луч»...» он писал, что хотел бы привести живой, хороший, превосходный, убедительнейший, и исторический, и статистический, положительный пример... «Но воздержусь...» — многозначительно заметил Ленин, сославшись на царские законы о печати. Сколько раз ему приходилось поступать таким образом! Но зато в подпольной и зарубежной прессе его публицистический дар не сковывали никакие ограничения.

Разрабатывая избранную тему, Ленин изучал всю литературу предмета, как правило, на многих языках. Так, в опубликованных впервые материалах к памфлету «Гонители земства и Аннибалы либерализма» есть ссылки на книги английского журналиста Мэкензи Уоллеса, французского правоведа Габриеля Демомбина, немецкого историка Генриха Трейчке, украинского публициста Михаила Драгоманова, на статью журнала «Вольное слово», напечатанную еще в начале восьмидесятых годов.

Документы творческой лаборатории Ленина-публициста показывают, как настойчиво искал он выразительную образную форму, щедро обогащая ее сокровищами классического и современного художественного слова. Рассматривая уроки московских событий, он записывает образ, которым предполагает начать статью:

«Когда вода напирает на плотину, брешь вне шлюз (вершняков) есть начало краха, брешь в плотине: поток устремляется».

Неизменно обращается Ленин и к образам, созданным писателями-классиками. Перед нами проходят в остром политическом переосмыслении крыловская кукушка, что хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку; гоголевская маниловщина; тургеневские «Отцы и дети»; некрасовская «и убогая» «и обильная» Русь; поэтический афоризм Гервега, славящий мощь революционного рабочего класса: «Все колеса остановятся, если

захочет того твоя могучая рука». Поэтический текст этот, как и во многих других подобных случаях, Ленин дает в своем переводе.

Однако, пожалуй, еще больший интерес представляет типизация действительности уже не только художественными средствами. Ленин мастерски создавал публицистические типы, обобщающие характерные черты представителей тех или иных социальных слоев и политических группировок. С исключительной наглядностью это подтверждают и новые материалы его литературного творчества.

Социалист-революционер («эсер» в политическом просторечии эпохи) «как тип», трижды подчеркивает Ленин, задумывая статью «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Зимой 1909 года, отвечая в плане реферата «Современное положение России» на немаловажный вопрос: «Наиболее активные или наиболее дряблые покидают ряды социал-демократии?» — он так характеризует плодотворного литератора-меньшевика: «Череванин как литературный и социальный тип». Точно так же поступает он и в реферате «Манифест либеральной рабочей партии». Здесь на примере Рожкова, переметнувшегося в период столыпинщины от большевиков к ликвидаторам, рассматривается тип «социал-демократа дней свободы». Тип этот представляют буржуазные демократы в марксистском наряде. Один из них — в данном случае Рожков — и предстает в реферате «как образец».

Другой меньшевистско-ликвидаторский идеолог — Потресов — столь же точно оценивается как типичный для ренегатов марксизма увертывающийся и прячущийся либеральный наездник. Впервые полностью опубликованная статья «Рабочая партия и либеральные наездники» так определяет их политически типичные черты:

«Наездники из либеральной интеллигенции, вроде г. Потресова, полны великолепно-барского презрения к решениям рабочей партии. Им дела нет, этим наездникам, до решений партии!»

В Потресове публицистически обобщен тип буржуазного либерала в рабочем движении. Другой не менее гнусный политический тип либерала, уже открыто контрреволюционного, представлял собой кадетский идеолог — профессор Виноградов. Это он в свое время возмечтал о приостановке и всемерном ограничении первой русской революции. В связи с «юбилеем русской интеллигенции» — пятидесятилетием «Русских ведомостей» — Ленин напоминает, что летом 1905 года «звезда» либеральной науки и либеральной публицистики историк Виноградов поместил в этой газете знаменательную, незабвенную, незабываемую «историческую» статью. Вскрыв ее контрреволюционный смысл, Ленин писал: «Виноградовский» либерал, пишущий в «Русских Ведомостях», и Пуришкевич, коллективный Пуришкевич, это — две стороны одной медали, это взаимосвязанные и взаимозависимые явления».

«Коллективный Пуришкевич» — «властитель дум» черносотенцев той эпохи — это и есть публицистический тип, обнажающий в отдельной личности характерные черты породившего ее класса.

Систематическая публикация материалов творческой лаборатории Ленина-публициста — большое достоинство нового издания его Сочинений. Внимательные читатели, а особенно читатели — литераторы, журналисты, пропагандисты могут проследить, как созревает ленинский замысел, обретая все более совершенную форму. Они увидят, как публицистические штрихи, наброски, эскизы, этюды, «силуэты», по терминологии самого Ленина, складываются в цельную и стройную картину политической деятельности, обобщающую ее типические особенности.

Отдаленная от нас нередко уже многими десятилетиями, публицистика Ленина остро актуальна. Она живо перекликается с нашими сегодняшними проблемами, насущными задачами движения к коммунизму. Покажем это в заключение на материале, связанном с основной задачей современности — борьбой народов против империалистических войн, унесших менее чем за полвека десятки миллионов человеческих жизней. В Полное собрание вошло немало новых материалов, показывающих, сколь пронзительно разоблачал вождь социалистической революции происки империалистов.

Еще осенью 1912 года, за два года до того, как встухнула первая мировая война, Ленин в обращении Центрального Комитета партии большевиков «Ко всем гражданам России» разъяснял, что войны «со всеми их бедствиями порождают капитализм, который

порабощает миллионы трудящихся, обостряет борьбу между нациями и превращает рабов капитала в пушечное мясо». Только всемирная социалистическая армия революционного пролетариата,— еще в те годы провозгласил Ленин,— положит конец угнетению и порабощению масс, бояням рабов ради интересов рабовладельцев.

Тогда эта великая армия только еще формировалась. Ныне она способна сорвать любые планы агрессоров и предотвратить новую войну. Агрессоры наших дней так же, как и те, о которых писал в 1912 году Ленин, «готовят войну и в то же время боятся войны, зная, что всемирная война есть всемирная революция». Ленин учит рабочий класс всего мира мужественно бороться против милитаризма. В статье «Антимилитаристская пропаганда и союзы социалистической рабочей молодежи» он обобщает разнообразные формы антивоенной борьбы французских и бельгийских социалистов начала века. Демонстрации, брошюры, воззвания, листки, газеты, журналы, песенники, открытки... Против войны и военщины были использованы все средства пропаганды и агитации.

Поджигатели войны весьма опасаются и публицистических обличений. Их образец — напечатанная летом 1913 года статья «Капиталисты и вооружение». Опираясь на материалы английской рабочей печати, Ленин показывает, как монополии толкают народы на войну. Он устанавливает, какие фантастические прибыли выколачивают благородные торгаши человеколюбительскими материалами.

«Капиталистическая печать и служащие капиталистам политические деятели,— пишет он почти за полвека до наших дней,— кричат о войне, требуют новых вооружений — это так выгодно промышленникам, фабрикующим военные припасы!»

Тогда — в 1913 году — военные промышленники лихо наживались на динамите. Теперь — полвека спустя — они «делают деньги» на атомном психозе, который сами же разжигают.

Но народы обуздают агрессоров, не дадут им развязать новую мировую войну...

Все приведенные нами высказывания Ленина взяты из произведений, опубликованных впервые или по крайней мере не включавшихся ранее в его Сочинения. Разумеется, наш обзор далеко не исчерпал их. Его задача неизмеримо скромнее: показать читателю, как много нового содержит Полное собрание сочинений нашего учителя, как это новое значительно и актуально.



---

Р. ПЕРЕСВЕТОВ

★

## ОДНА ИЗ ШЕСТИ

*Из истории ленинских рукописей*

**И**сть статей было написано В. И. Лениным для «Рабочего дела». Разумеется, не для журнала экономистов, носившего такое название, а для нелегальной газеты, намеченной к выпуску «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», но так и не увидевшей света. Статьи эти остались ненапечатанными. Только рукопись одной статьи — «О чем думают наши министры?» — дошла до нас, и она включена в Полное собрание сочинений Ленина. О содержании пяти остальных мы, к сожалению, можем судить лишь по косвенным свидетельствам<sup>1</sup>.

Во втором томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина (издание пятое) рядом с заглавием статьи «О чем думают наши министры?» можно прочесть выразительное примечание: «Печатается по машинописной копии, сохранившейся в делах департамента полиции».

Те министры, чье направление мыслей вызывало негодование Ленина, давно уже ушли в небытие; их места прочно заняли народные комиссары молодой Советской республики, когда эта статья впервые увидела свет. Точных сведений о том, когда она была написана, не сохранилось. Но известно, что это могло произойти не позднее 8 декабря 1895 года, так как в ночь с 8-го на 9-е статья была изъята при обыске. После этого она пролежала в полицейском архиве около тридцати лет.

Уже после Великой Октябрьской социалистической революции, за два дня до смерти Владимира Ильича, работник ЦК РКП(б) И. П. Товстуха неожиданно обнаружил копию этой статьи в архивном деле департамента полиции «О преступном сообществе социал-демократов в Петербурге». А через несколько дней, 27 января 1924 года, в день похорон Ленина, она была впервые напечатана. Статья появилась в обрамленном траурной рамкой номере газеты «Петроградская правда».

В том же самом архиве, откуда была извлечена эта статья, еще раньше был найден пространный доклад департамента полиции по делу «О возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 годах преступных кружках лиц, именующих себя «социал-демократами»<sup>2</sup>. Как раз из этого доклада и видно, что статья «О чем думают наши министры?» была изъята в ночь на 9 декабря 1895 года во время обыска у студента Петербургского технологического института Анатолия Александровича Ванеева. Вместе с этой статьей жандармы захватили пачку рукописей, предназначавшихся для первого номера «предположенной преступным сообществом к изданию подпольной газеты «Рабочее дело». Что же это была за статья?

На допросе жандармы, как и следовало ожидать, узнали от Ванеева немного. Он им сообщил всего-навсего, что «найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свертке одним лицом, которое он не

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 2, стр. 575, прим. 33. (Здесь и далее, кроме случаев, особо оговоренных, даются ссылки на пятое издание.)

<sup>2</sup> «Сборник материалов и статей. Редакция журнала «Исторический архив», 1921, вып. 1, стр. 93.

желает назвать; он этого свертка не развертывал и потому не знает содержания рукописей»<sup>1</sup>.

Следовательно ничего не оставалось, как подвергнуть рукопись статьи «О чем думают наши министры?» экспертизе. В результате он пришел к заключению, что статья написана не Ваневым, а другим студентом технологического института — Петром Кузьмичом Запорожцем, так же как и еще три из взятых у Ванеева статей. Однако сам Запорожец, арестованный в ту же ночь, это отрицал.

Кто же на самом деле был автором статей, взятых у Ванеева?

Среди захваченных рукописей оказалось три, написанных рукой помощника присяжного поверенного Владимира Ильича Ульянова. В одной из них излагалось содержание первого номера газеты «Рабочее дело» и сообщалось, что она будет выходить в неопределенные сроки, «по мере накопления материала». Другие две рассказывали о стачках ткачей в Иваново-Вознесенске и рабочих фабрики механической обуви в Петербурге. Из доклада видно, что при аресте Ульянова у него также было изъято несколько рукописей, в том числе одна — о ярославской стачке, написанная его рукой. Эта же статья имела и у Ванеева, но была написана другим почерком. Следовательно узнал руку привлеченного по тому же делу студента Петербургского университета Павла Романенко, размножавшего на mimeографе нелегальную литературу и хранившего у себя революционные издания.

«...Зовут меня Владимир Ильич Ульянов». Этими словами обычно начинались протоколы допросов Ленина, запечатлевшие сдержанный, лаконичный тон его ответов<sup>2</sup>.

На допросе по поводу найденных у него рукописей заключенный Ульянов сообщил не больше Ванеева. Они, мол, находились у него случайно, были взяты для прочтения у лица, имени которого он не помнит. Статью о ярославской стачке он переписал с рукописи, взятой у этого же лица и возвращенной автору. Относительно трех рукописей, найденных у Ванеева, Ульянов не отрицал, что они переписаны его рукой, но от дальнейших показаний уклонился. Отказался он также сообщить что-либо по поводу свертка, в котором, по словам следователя, они были обнаружены.

Из всех этих протокольных записей видно, что производившие допрос жандармские подполковники Клыков и Филатьев так и не сумели установить подлинных авторов конфискованных статей. На основании заключения экспертов они сделали вывод, что найденные у Ванеева статьи революционного содержания составлены студентом С.-Петербургского технологического института Запорожцем, а помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов только «участвовал в составлении статей для подпольной газеты»<sup>3</sup>. Каких именно статей — следователи уточнить не смогли.

Лишь много лет спустя, находясь уже в эмиграции, В. И. Ленин сообщил в своей знаменитой книге «Что делать?» некоторые сведения о так и не увидевшем света первом номере газеты «Рабочее дело» и обрисовал вкратце его содержание<sup>4</sup>. Начав с передовицы, призывавшей русский рабочий класс сплотиться для завоевания политической свободы, он назвал еще статью «О чем думают наши министры?» и упомянул о ряде корреспонденций, не раскрывая, впрочем, имен их авторов. Это сделали позже в своих воспоминаниях Ю. О. Мартов и М. А. Сильвин. Указав, что значительное число статей было написано Лениным, они прямо назвали четыре: передовицу и статьи — «О чем думают наши министры?», «Ярославская стачка 1895 года» и «Фридрих Энгельс».

Но в действительности статей было не четыре, а шесть. Еще две статьи Ленин написал о стачках в Иваново-Вознесенске и на петербургской фабрике механической обуви — те самые, которые были найдены при обыске у Ванеева и были написаны рукой Ленина.

Почему не все статьи Ленина были написаны его почерком? Это объяснил М. А. Сильвин. Оказывается, за несколько дней до ареста Запорожец убедил Владимира Ильича не отдавать в типографию статей, написанных характерным ленинским почерком, и сам переписал некоторые из них.

<sup>1</sup> «Сборник материалов и статей. Редакция журнала «Исторический архив», стр. 126.

<sup>2</sup> См. «Красный архив», 1934. № 1 (62), стр. 97.

<sup>3</sup> «Сборник материалов и статей. Редакция журнала «Исторический архив», стр. 159.

<sup>4</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 6, стр. 31—32.

Но почему из этих шести статей в департаменте полиции сохранилась только одна — «О чем думают наши министры?»? Логически в качестве вещественных доказательств к следственному делу должны были быть приобщены и другие. Не были ли они уничтожены ввиду переполнения архива? Ответ на этот вопрос до сих пор не получен.

Правда, утрата пяти статей Ленина отчасти восполняется тем, что в полицейском докладе, найденном в том же архиве, приводится содержание некоторых из них, и прежде всего той, судьбу которой почти угадал сам Ленин.

В своей работе «Что делать?», напоминая о судьбе первого номера «Рабочего дела», Ленин высказал прозорливое предположение, что редакция какого-нибудь исторического журнала вроде «Русской старины» лет через тридцать извлечет передовицу этого номера из архива департамента полиции<sup>1</sup>. Это предположение Владимира Ильича сбылось даже раньше названного им срока.

С того времени, когда оно было высказано, прошло не тридцать, а на восемь лет меньше, и написанная Лениным передовая действительно была найдена. К сожалению, ее обнаружили не в подлиннике, а в пересказе жандармского чиновника. Но так как последний в силу своего служебного положения старался подчеркнуть как раз ее революционную суть, мы все же получаем из этого казенного документа какое-то представление о содержании ленинского произведения.

Во вступительной статье газеты «К русским рабочим», сообщает автор доклада, «излагается, что богатство капиталистов создается рабочими, на долю которых достается лишь каторжный труд и бедность. Для того, чтобы изменить такое положение, рабочие должны соединиться и начать соединенною силою борьбу с капиталистами и с правительством, которое всегда является врагом рабочих,— правительство в борьбе рабочих с фабрикантом поступает с рабочим, как с преступником, натравляет на него войско и полицию, сажает в тюрьму за стачки, лишает его права собраний и сходок для обсуждения своих нужд и преследует даже за знакомство с образованными людьми и чтение книжек»<sup>2</sup>.

Заключительная часть ленинской статьи в докладе приводится дословно: «Итак, борьба с фабрикантом за человеческие условия жизни, борьба с произволом и всевластием правительства; рабочие, соединяйтесь и боритесь дружно и стойко за великое дело!»<sup>3</sup>.

Из того же доклада мы узнаем о содержании и другой статьи Владимира Ильича — «Ярославская стачка 1895 года». Она попала в руки жандармам сразу в двух экземплярах. Подлинник, написанный рукой Ленина, был отобран при обыске у самого ее автора; копию, переписанную студентом Романенко для сдачи в набор, изъяли у Ванеева. В полицейском докладе подчеркивается важная мысль — напоминание Ленина, что ярославская стачка была прекращена силой оружия, что сам царь наложил одобрительную резолюцию на докладе о действиях войск и вынес благодарность их командующему за умелое и своевременное употребление оружия.

Содержание статьи-некролога, посвященной памяти Энгельса, также обнаруженной у Ванеева, передано в жандармском изложении менее подробно. Докладчик сообщает лишь, что эта статья напоминает об Энгельсе как о великом учителе социалистов, стоявших, между прочим, и за интересы русских рабочих, которые должны почтить его память, следуя его призыву: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Статья Ленина о Фридрихе Энгельсе для «Рабочего дела» была утрачена, но осенью того же 1895 года им была написана и действительно опубликована другая статья-некролог в женевском сборнике «Работник»<sup>4</sup>. Она открывалась эпитафией из стихотворения Некрасова «Памяти Добролюбова»:

Какой светильник разума погас,  
Какое сердце биться перестало!

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 6, стр. 32.

<sup>2</sup> «Сборник материалов и статей. Редакция журнала «Исторический архив», стр. 125.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> См. «Работник», № 1-2. Женева. 1896, стр. 69.

Вполне вероятно (такое предположение родилось в Институте марксизма-ленинизма при подготовке к печати Сочинений В. И. Ленина), что утраченная статья была сокращенным вариантом статьи, напечатанной позже в «Работнике». Эта догадка подтверждается и тем, что как раз в этот период Ленин не раз делился с редакцией «Работника» материалами, предназначенными для «Рабочего дела»<sup>1</sup>.

Остается проследить еще судьбу двух из шести статей — о стачках в Иваново-Вознесенске и на фабрике механической обуви.

Ивановский городской судья С. Шестернин, связанный с петербургским «Союзом борьбы», вспоминал впоследствии, что составленный им отчет о стачке ткачей на фабрике Иваново-Вознесенской мануфактуры был отправлен Лениным за границу и напечатан в первом номере женевского «Работника». А в «Рабочем деле» он не появился только потому, что весь подготовленный для этой газеты материал был захвачен жандармами.

В двух письмах, посланных Лениным в ноябре 1895 года одному из редакторов «Работника» П. Б. Аксельроду, Владимир Ильич сообщил о высылке статей для сборника и предлагал материал о пяти стачках, поясняя при этом: «Предполагаем издавать газету, куда и пойдет материал»<sup>2</sup>. Некоторые материалы, посланные Лениным, были использованы в «Работнике» при составлении обзоров о внутреннем положении в России. Именно такое применение могли найти статьи о стачках ткачей в Иваново-Вознесенске и петербургских обувщиков.

Таким образом, доклад по делу «...о преступных кружках лиц, именующих себя «социал-демократами», пока остается главным источником, передающим вкратце содержание ленинских статей, написанных для «Рабочего дела».

Но еще не утрачена окончательно надежда на восстановление полного текста этих ленинских статей. Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской известно, что департамент полиции был не единственным их обладателем<sup>3</sup>.

Надежда Константиновна присутствовала на последнем редакционном совещании, когда Ленин, по словам Сильвина, читал вслух все статьи, подготовленные для первого номера, прежде чем передать их Ваневу. Совещание это происходило на квартире у Надежды Константиновны, и вторые экземпляры всех статей были переданы ей, так как в то время за ней еще не было замечено никакой слежки. На следующее утро она зашла к Ваневу, жившему на улице Первая рота Измайловского полка. Но ей пришлось долго звонить. «Съехал с квартиры», — огорошила ее открывшая дверь горничная. В тот же день она узнала об аресте Владимира Ильича и еще многих членов марксистского кружка. Надежда Константиновна спрятала тогда хранившиеся у нее экземпляры статей у своей школьной подруги Нины Александровны Герд, будущей жены Струве.

О судьбе этого второго экземпляра газеты «Рабочее дело» нет больше никаких сведений. Крупская вскоре уехала из Петербурга в связи с подготовкой I съезда партии, а по возвращении домой и сама была арестована. Подруга ее, Нина Александровна Герд, стала социал-демократкой, но впоследствии отошла от партии, так же как и ее муж, начавший, по характеристике В. И. Ленина, с «кригики Маркса» и докатившийся в несколько лет до контрреволюционного буржуазного национал-либерализма<sup>4</sup>.

Таким образом, судьба второго комплекта статей для газеты «Рабочее дело» остается невыясненной. Но нет достоверных сведений и об их уничтожении. На возможность их гибели указывает все же одна фраза в воспоминаниях Надежды Константиновны: «Чтобы не всаждать еще больше арестованных, было решено пока «Рабочее Дело» не печатать»<sup>5</sup>.

Вернемся, однако, к единственной из шести утраченных статей В. И. Ленина, текст которой дошел до нас полностью.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. I, стр. 463.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 34, стр. 3.

<sup>3</sup> См. «Воспоминания о В. И. Ленине». Госполитиздат. М. 1956, ч. I, стр. 79.

<sup>4</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 330.

<sup>5</sup> «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. I, стр. 79.

Статья «О чем думают наши министры?», найденная в архиве департамента полиции, была без подписи. Из хранившегося в том же архиве доклада о деятельности «преступного кружка лиц, именующих себя «социал-демократами», можно было заключить, что эта машинописная копия была снята в департаменте полиции с другой, изъятой в ночь на 9 декабря 1895 года при обыске у студента Анатолия Ванеева, — той самой, которая была написана рукой Петра Запорожца, признанного на следствии автором статьи.

Известно, что спустя много лет Ленин упомянул об этой статье в книге «Что делать?» и даже кратко охарактеризовал ее содержание («посвященная полицейскому разгрому Комитетов грамотности»<sup>1</sup>). Это, однако, еще не доказывало, что она написана им. Авторство Ленина удостоверяли два других редактора «Рабочего дела» — Г. М. Кржижановский и Ю. О. Мартов. Об этом упоминают в своих воспоминаниях также и М. И. Ульянова, М. А. Сильвин и другие.

Будут ли вслед за статьей «О чем думают наши министры?» когда-нибудь обнаружены и остальные статьи, написанные Лениным для «Рабочего дела», или нет — извлечение из архивной могилы именно этого его произведения было большой удачей. Собираателей литературного наследства Ленина оно навело на след еще одной статьи, по всей вероятности написанной им же.

В статье «О чем думают наши министры?» говорится о секретном письме министра внутренних дел Дурново к фактическому главе правительства Александра III — обер-прокурору синода пресловутому Победоносцеву. Старательный проводник «народной политики» высказывает в нем свою тревогу по поводу проникновения в число лекторов воскресных школ «лиц прямо революционной среды», подозревая в таком проникновении одну из форм легальной борьбы «с существующим в России государственным порядком». Дурново настаивал на тщательной проверке преподавательского состава этих школ.

Приведя обширные цитаты из циничного письма царского сатрапа, Ленин едко высмеял его автора, подметив, что он «смотрит на рабочих, как на порох, а на знание и образование, как на искру».

«Министр уверен, — подтрунивал над ним Владимир Ильич, — что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство». И тут же добавлял, что в этом редком случае он вполне и безусловно согласен со взглядами его высокопревосходительства<sup>2</sup>.

В том же 1895 году, когда В. И. Лениным была написана эта статья, построенная на фактах, взятых из «совершенно доверительного» письма царского министра, в Берлине в центральном органе германской социал-демократической партии «Форвертсе» появилась другая статья на эту же тему, озаглавленная «Секретное письмо господина Дурново Победоносцеву». Автор этой статьи, напечатанной без подписи, приводил в ней те же цитаты из скандального письма Дурново, которые были использованы и Лениным.

Не была ли и эта статья написана Владимиром Ильичем? Ведь именно в 1895 году, незадолго до ареста, он ездил через Германию в Швейцарию для переговоров с Плехановым и при этом дважды останавливался в Берлине и встречался там с германскими социал-демократами. На обратном пути он даже виделся с редактором «Форвертса» Вильгельмом Либкнехтом. Это подтверждается содержанием рекомендательного письма к Либкнехту, написанного Плехановым.

«Мой дорогой друг! — писал Плеханов, — рекомендую Вам одного из наших лучших русских друзей. Он возвращается в Россию, вот почему необходимо, чтобы о его посещении Шарлотенбурга никому не было известно. Он расскажет Вам об одном, очень важном для нас деле. Я уверен, что Вы сделаете все от Вас зависящее. Он сообщит Вам также новости о нас. Приветствую Вас и г-жу Либкнехт.

Преданный Вам Г. Плеханов»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 6, стр. 32.

<sup>2</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 78.

<sup>3</sup> «Воинствующий материалист», кн. 4, 1925, стр. 213.

Статья «Секретное письмо господина Дурново Победоносцеву» появилась в газете «Форвертс» 15 сентября 1895 года<sup>1</sup>. О времени же пребывания Ленина в Берлине Институт марксизма-ленинизма в первые годы своего существования не имел точных данных. Было лишь известно, что в первый раз Владимир Ильич пробыл в Берлине недолго.

В ранних изданиях Института Ленина и в других источниках, давно ставших библиографической редкостью, можно найти интересные сведения о том, каким образом были установлены даты вторичного посещения Лениным германской столицы. Эти сведения подтвердили предположения источниковедов, что напечатанная в «Форвертсе» статья могла быть написана Лениным.

В 1926 году для прояснения ряда вопросов, связанных с пребыванием В. И. Ленина в Германии, и, в частности, для установления автора упомянутой статьи в Берлин выехали по поручению института два научных работника. Прежде всего они направились в берлинский полицей-президиум, надеясь в его архиве найти какие-нибудь сведения о времени и месте прописки приезжавшего тридцать лет назад из Петербурга помощника присяжного поверенного Владимира Ильича Ульянова<sup>2</sup>. Узнав, что это была подлинная фамилия недавно умершего руководителя Советского государства, чиновники полицей-президиума с большим вниманием отнеслись к просьбе посетителей.

Посланцы института вместе с заведующим отделом прописки иностранцев дважды тщательно пересмотрели регистрационные карточки всех приезжих из других стран, фамилии которых начинались с буквы «у». На двух листках удалось обнаружить фамилию Ульянова. Одного из них звали Вольдемар! Уж не переделал ли Владимир Ильич из конспиративных соображений свое имя на немецкий лад? Однако даже тех кратких сведений, которые обычно приводятся в такого рода карточках, оказалось достаточно, чтобы убедиться: оба Ульянова были только однофамильцами Владимира Ильича. Ни по возрасту, ни по месту рождения, ни по времени пребывания в Берлине ни один из них не мог быть Лениным.

Служащий архива любезно разъяснил, что сведения об иностранцах, приезжающих в Берлин, хранятся в полицей-президиуме не больше десяти лет, если прописка не возобновлялась до истечения этого срока. Значит, нельзя рассчитывать на то, что карточка господина Ульянова, посетившего Берлин тридцать лет назад, не была уничтожена. Но вполне возможно, что сообщение о его прописке вообще никогда не поступало в полицей-президиум. Если он был в Берлине недолго, отметка о его пребывании могла быть сделана только в полицейском участке по месту его жительства.

Но приехавшие из Москвы научные работники не располагали сведениями о том, в каком районе Берлина останавливался Владимир Ильич. Они могли лишь предполагать, что это был рабочий район. Узнав, что из лиц, встречавшихся в 1895 году с Лениным, в Берлине живут два ветерана рабочего движения, представители института направились к ним. Ни тот, ни другой, однако, не знали берлинского адреса Ленина.

Оставался еще один путь: попытаться узнать этот адрес в берлинской государственной библиотеке, где Ленин, по его собственным словам, занесенным в протокол после его ареста, занимался «по предметам своей специальности»<sup>3</sup>. Посещавший во время этой заграничной поездки также и парижскую библиотеку, Владимир Ильич счел нужным подчеркнуть, что в берлинской он бывал особенно часто. В библиотеке же, как известно, при получении входного билета каждый читатель обязан сообщить свой адрес.

В прусской государственной библиотеке, носившей раньше название королевской, приезжих из Москвы прежде всего спросили: пользовался ли господин Ульянов книгами в читальном зале или брал их на дом?

Вопрос этот застал москвичей врасплох. В документах, которыми располагал институт, не было никаких сведений, что Владимир Ильич брал книги домой, но такая возможность не исключалась. Зная, что царская полиция имеет свои шупальца за границей, он мог избегать посещения публичных мест. Во время этого разговора выяс-

<sup>1</sup> См. «Летописи марксизма», 1926, т. I, стр. 88.

<sup>2</sup> См. «Записки Института Ленина». М. 1927, вып. I, стр. 171.

<sup>3</sup> «Красный архив», 1934, № 1 (62), стр. 111.

нилось, что в прошлом столетии выдаваемые читателям книги записывались не на их именных карточках, а заносились в регистрационный журнал по фамилиям авторов. Для выяснения вопросов, когда стал читателем библиотеки абонент Ульянов и какие книги он брал, надо было проделать кропотливейшую работу: просмотреть регистрационные журналы за 1895 год на все буквы алфавита!

В журнале выдачи книг на дом 19 августа 1895 года под № 220 был записан абонент «др. В. фон Ульянин». Здесь же была вписана и фамилия его поручителя, оказавшегося известным социал-демократом, приват-доцентом Берлинского университета Лео Аронсом, часто оказывавшим услуги приезжавшим в Берлин русским революционерам.

Тщательно выписав названия всех книг, прочитанных в Берлине доктором фон Ульяниным, представители института вскоре пришли к неутешительному выводу: Владимир Ильич не мог интересоваться одними лишь научными трудами по физике и математике. Из общественно-политической литературы доктор фон Ульянин читал только либеральный журнал «Русский вестник». Сличение подписи абонента в регистрационном журнале с почерком Владимира Ильича окончательно убедило, что это был не Ленин. Впоследствии, по возвращении на родину, исследователи сумели установить, что молодой русский ученый Всеволод Александрович Ульянин вскоре после окончания университета в 1895 году действительно выезжал за границу для углубления своих знаний в области физико-математических наук. Любопытно, что потом он стал профессором физико-математического факультета в том самом Казанском университете, где учился В. И. Ленин.

Пришлось внимательно просмотреть еще несколько томов регистрационных книг за тот же 1895 год. И тут москвичам удалось наконец набрести на то, что они искали, ради чего предприняли эту поездку за границу.

В одном из журналов осенне-зимнего семестра на первой же странице под № 11 был записан присяжный поверенный Владимир Ульянов, проживавший на Фленсбургерштрассе, в доме № 12. Эта запись была подтверждена подписью читателя, не внушавшей ни малейшего сомнения насчет ее принадлежности руке Владимира Ильича. Теперь уже нетрудно было установить, какие книги он читал и как долго посещал библиотеку.

За время с 15 августа по 21 сентября В. И. Ленин прочел в берлинской библиотеке одиннадцать книг, вышедших главным образом в шестидесятых годах прошлого столетия и касавшихся различных вопросов экономического развития и революционного движения в России. Эти книги нельзя было достать в русских библиотеках, среди них были и некоторые сочинения Герцена, Маркса, Энгельса, изданные за границей документы по истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян.

Приезжие, конечно, сразу же направились на Фленсбургерштрассе — ничем не примечательную улицу в районе Моабит, где они и разыскали рядом с вокзалом надземной железной дороги «Бельвю» типичный многоэтажный доходный дом. В этом доме жил Ленин в Берлине перед своим возвращением на родину. Найти дом было нетрудно, так как номер его не изменился. Переменялись — и не один раз — только его владелец и жильцы. Это был тот же трудовой люд — мелкие служащие, рабочие и пенсионеры, — который жил в нем и при Ленине. Среди них, однако, не было уже ни одного, кто его знал. Не сохранилось никаких следов о прописке присяжного поверенного Ульянова и в полицейском участке.

Из библиотечных записей вытекало, что Ленин при вторичном посещении Берлина в 1895 году прожил там больше месяца и во всяком случае находился в этом городе с 15 августа по 21 сентября. Анонимная же статья «Секретное письмо господина Дурново к Победоносцеву», близкая по содержанию к статье «О чем думают наши министры?», была напечатана в «Форвертсе» 15 сентября<sup>1</sup>.

При сличении опубликованных в этой газете цитат из письма Дурново с цитатами, приведенными в тексте статьи «О чем думают наши министры?», выяснилась важная подробность. Автор статьи для «Рабочего дела», то есть Ленин, видимо, располагал не

<sup>1</sup> См. «Летописи марксизма», т. I, стр. 88.

только цитатами из секретного письма министра, но и его полным текстом. Очевидно, Владимир Ильич получил этот текст из России еще во время своего пребывания в Берлине. Использовав это письмо для статьи в «Форвертсе», Ленин переслал его также и П. Б. Аксельроду для готовившегося к изданию сборника «Работник». Уезжая из Женева, Владимир Ильич обещал присылать материал для сборника и начал выполнять это обещание еще до переезда границы.

Это подтверждает сам Аксельрод, писавший в своих воспоминаниях: «Еще из Берлина, куда он уехал из Швейцарии, Ульянов прислал мне различные материалы и рукописи, представлявшие для меня большой интерес»<sup>1</sup>. Благодаря этой помощи Ленина уже в первом номере «Работника» (№ 1-2) смогла появиться обзорная статья Д. Кольцова «Царское правительство и рабочие», в которой наряду с другими полученными извне материалами было еще раз использовано письмо Дурново.

Ряд особенностей появившейся в «Форвертсе» статьи также заставляет предполагать, что она написана В. И. Лениным.

И наконец на это указывает еще одно важное совпадение. Автор статьи в «Форвертсе» касается, между прочим, и вопроса о легализации деятельности русских социал-демократов, говоря: «...с каждым успехом хозяйственного развития русские министры будут становиться все более беспомощными перед «революционной борьбой на легальной почве»<sup>2</sup>.

В статье «О чем думают наши министры?» этот вопрос не был затронут, но позже, находясь уже в ссылке, Ленин развивал эту же мысль в другой статье, написанной для центрального органа партии — «Рабочей газеты» (но не увидевшей света из-за того, что издание этой газеты не было возобновлено).

Текст статьи «Насушный вопрос», переписанный неизвестной рукой, сохранился не полностью — не хватает половины пятого листа, — но уцелела как раз та часть, где Ленин вспоминает совет «Форвертса» частично легализовать революционную деятельность, не пренебрегая возможностями вести ее в законных рамках, и находит этот совет заслуживающим серьезного внимания<sup>3</sup>.

Ездившие в Берлин в 1926 году научные работники посетили и редакцию «Форвертса». Но в архиве ее не сохранилось никаких данных об авторе статьи, анонимно напечатанной в этой газете 15 сентября 1895 года.

«В распоряжении Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС нет других, более веских аргументов, подтверждающих принадлежность статьи В. И. Ленину, поскольку отсутствует архив газеты «Форвертс», — говорится во втором томе последнего, пятого издания Собрания сочинений В. И. Ленина<sup>4</sup>.

Эти другие, более веские аргументы теперь уже вряд ли могут быть найдены. Вель в период, предшествовавший второй мировой войне, социал-демократическая партия Германии, как известно, была запрещена вслед за коммунистической, и значительная часть ее имущества, в том числе, конечно, и многие архивы, была утрачена навсегда.

<sup>1</sup> «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода», изд. Р. М. Плехановой, т. I, М. 1925, стр. 275.

<sup>2</sup> «Летописи марксизма», т. I, стр. 88.

<sup>3</sup> См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 197.

<sup>4</sup> См. там же, т. 2, стр. 567.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МАРИЯ КАСПРОВИЧ

★

## ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

*Мария Викторовна Каспрович — ныне хранительница музея Яна Каспровича в «Харенде» (около горного курорта Закопане в польских Татрах) — происходит из семьи Буниных. Ее отец — брат известного русского писателя И. А. Бунина. Незадолго до первой мировой войны, познакомившись с известным польским «крестьянским» поэтом Яном Каспровичем, Мария Бунина вышла за него замуж и уехала в Польшу, где и провела большую часть своей жизни.*

*После смерти Яна Каспровича, еще в довоенной Польше, М. Каспрович опубликовала книгу «Воспоминания». В прошлом году, спустя почти столетия после отъезда из России, побывала в Москве и Ленинграде.*

*Публикуемая нами статья написана Марией Каспрович специально для «Нового мира».*

**Н**а высоком берегу горной, вечно звенящей реки, над дорогой, ведущей из Поронина в Закопане, стоит деревянный дом — «Харенда» (название, знакомое и близкое полякам). Здесь провел последние три года жизни Ян Каспрович, здесь он умер и тут похоронен.

Из окон «Харенды» виден зубчатый хребет Татр, на балконе и в саду цветут настурции. Но поэт больше не улыбается цветам. Его глаза больше не устремлены на Татры, к вершинам которых он многократно взбирался и которые так чудесно воспевал...

Мне хотелось бы рассказать советским читателям о необыкновенном, можно сказать историческом факте: о том, как чудесно жизнь столкнула нас (хотя и на короткое время) с вождем человечества — Лениным.

Это случилось в 1914 году, в самом начале первой мировой войны. Мы с мужем приезжали тогда каждый год на лето в горную деревеньку Поронин, находившуюся на территории Австро-Венгрии. Там нас и застала война. А по соседству с нами, в той же деревне, летом 1914 года жил Владимир Ильич Ленин.

Мы не были знакомы с ним, но меня, русскую, интересовали политэмигранты, мои соотечественники. Начальник почты утверждал, что они ведут переписку чуть ли не со всей Европой.

С балкона нашего дома я часто видела, как по дороге мимо нас проезжал на велосипеде Ленин. Как сейчас помню его умное, живое лицо.

В один из первых дней войны австрийская полиция по ложному доносу арестовала В. И. Ленина и заключила его в тюрьму в городе Новый Тарг. Но у Владимира Ильича было в Польше много друзей, которые начали хлопотать о том, чтобы вызволить его из тюрьмы. Они обратились к Яну Каспровичу с просьбой: «Поезжайте к старосте в Новый Тарг и убедите его, что Ленина надо освободить. Нам могут и отказать, а вы не получите отказа».

Каспрович тотчас же отправился в Новый Тарг, где долго беседовал со старостой (начальником уезда). Он не ушел от него, пока тот не пообещал выполнить его просьбу.

За Ленина поручились также некоторые депутаты австрийского парламента. И через несколько дней В. И. Ленина выпустили из тюрьмы.

Ленин пришел поблагодарить Каспровича. Сидел он у нас недолго — с полчаса. Когда он ушел, муж сказал: «Какой симпатичный, интересный человек!» В разговоре Ленин упомянул, что собирается за границу и что ему необходим заграничный паспорт. Но как его получить?

Благодаря содействию многочисленных друзей, в том числе и Каспровича, краковский полицмейстер выдал Ленину нужные документы. Вскоре Владимир Ильич уехал в Швейцарию.

Когда в 1917 году в России произошла Октябрьская революция, мы с изумлением узнали, что наш скромный знакомый, Владимир Ульянов, стал вождем русской революции.

Интересен и другой факт. Моя мать и сестра (отец умер в 1908 году) жили в Петрограде. Это были самые тяжелые, военные, годы революции; условия жизни ухудшились. Сестра не могла обеспечить себя и мать. В 1920 году наша переписка прервалась: письма из России в Польшу уже не приходили. Я тревожилась за судьбу своих родных и решила написать Ленину — напомнить ему наше знакомство в Поронине и просить, чтобы он позволил моим родным выехать из России к нам. Адрес был известен всем: «Москва, Кремль, Ленину». То был год войны Польши против России; на всякий случай я написала письмо в двух экземплярах: один отправила с оказией через фронт, а другой послала через Румынию. Это было в январе 1920 года. В апреле я получила из Москвы сообщение о том, что отданы все нужные распоряжения для переезда моих родных в Польшу.

Ленин не забыл нас. Он помнил все и дал нам яркое доказательство своего деятельного сочувствия и дружбы. Вскоре мама и сестра приехали в Польшу.

С тех памятных дней прошло много лет. И вот в 1945 году, когда в наш маленький городок Закопане вступила победоносная Красная Армия, думы о Ленине ожили с новой силой.

Советские войны очутились в том уголке польской земли, где некогда жил их великий мыслитель. Каждый командир и каждый солдат знал это с малых лет. Многие из них тогда, в январе, в лютую стужу, специально приходили ко мне в «Харенду», жадно выпытывали хоть какую-нибудь деталь из жизни величайшего гения русского народа. И я подолгу рассказывала им о Ленине все, что знала сама. «Здесь и жил Ленин?» — спрашивали они. Я качала головой: «Нет, не здесь. Немного дальше, в Поронине».

Заезжавшие в «Харенду» журналисты расспрашивали о Каспровиче, просили дать какую-либо из книг поэта. У меня нашелся русский перевод «Гимнов» Каспровича. Я отдала его. Прощаясь, эти люди выходили, но вдруг останавливались и шли обратно, будто позабыв что-то, и снова стучали в дверь. Кто-нибудь смущенно евоал мне в руку сверток, прыгал в машину и исчезал в снежной пыли... В пакете всегда было немного чая, сахара, хлеба и несколько крутых яиц или кусок колбасы — по-видимому, взятый с собой завтрак. Зима 1944/45 года была особенно тяжелой, хлеба не было вовсе.

Стали появляться у нас и специальные представители из Москвы для сбора материалов о Ленине. Они не только просили рассказывать, но и записывали все, что я знала. Самое важное было определить, в каком из поронинских домов жил Ленин. Предполагалось устроить там музей. Местожительство было установлено, и Дом-музей с особой мемориальной доской был открыт в 1947 году. Музей посещают люди со всех концов земли. Об этом красноречиво свидетельствуют записи в толстой книге посетителей. Заглядывают экскурсанты музея и к нам (музей В. И. Ленина и дом поэта «Харенда» находятся друг от друга всего в трех километрах).

В те дни я познакомилась с майором Н., который одним из первых приехал по этим делам.

Н. приходил в «Харенду» несколько раз. Его всегда сопровождал поляк переводчик. Майор Н. был немолодым человеком, небольшого роста, но крепкого сложения — настоящий великоросс. По-видимому, это был один из деятельных участников револю-

ции и, кто знает, думала я, может быть, даже один из ее героев. О себе он говорил мало, и в каждом его слове чувствовалась большая культура.

Мы подолгу беседовали, нередко до наступления темноты. В комнате тускло горела свеча, перед нами на столике стояли стаканы с чаем, а на маленьком блюдечке лежало несколько кусочков пиленого сахара. Хлеба еще не было, и — увы — мне нечем было угощать собеседника.

Майор охотно пил чай: два-три стакана с одним маленьким кусочком сахара вприкуску, бережно откусывая крохи, чтобы не отхватить лишнего. «Так вот вы какие, — думала я, наблюдая за его деликатными жестами, — суровые революционеры, а души — детские...»

Прошло еще некоторое время. В Закопане впервые после освобождения был организован литературный вечер. После пяти с лишним лет мрачной гитлеровской оккупации мы вновь услышали польскую, свободно звучащую литературную речь. Публики в зале собралось множество. Скорбно и торжественно зачитали список выдающихся польских ученых, художников и писателей, замученных фашистами. Список был длинный, а наша печаль — безмерной. Но все, что потом декламировали, казалось по-новому значительным и интересным.

Мы возвращались в сумерки пешком. Не успели выйти на шоссе, как путь нам преградил внезапно появившийся бронетранспортер. Из него один за другим на дорогу выскочили советские офицеры, человек семь-восемь. Они плотным кольцом окружили нас, весело здоровались, шутили. Среди них я узнала двух своих недавних гостей — тех самых литераторов, которым недавно подарила книгу стихов Яна Каспровича. Один из них сказал:

— Мария Викторовна! Мы уже целый час разыскиваем вас по всему городу. В «Харенде» остался наш грузовик... Мы вам кое-что привезли..

Не успела я оглянуться, как сильные руки подняли меня и посадили внутрь бронетранспортера. Вокруг нас мгновенно собралась большая толпа, настолько все это было необычно и трогательно...

Посреди двора, занимая почти все его пространство, стоял огромный грузовик. Я невольно воскликнула:

— Как вы на нем заехали в наш двор? Это непостижимо!

— Советские люди с препятствиями не считаются! — засмеялся кто-то из моих спутников.

Один из приехавших подошел ко мне, представился: полковник такой-то, из редакции «Красной звезды».

— Мы приехали к вам по поручению командующего фронтом. Куда прикажете выгружать муку? — И, заметив мой удивленный взгляд, добавил: — Не помирать же вам с голода!.. Вы нам только откройте дверь.

Офицеры скинули шинели и, перебрасываясь шутками, начали перетаскивать пятипудовые мешки с мукой прямо в дом. Я совсем растерялась и сконфуженно стояла в коридоре, все еще держа свечу над головой.

Кроме муки, они принесли и поставили на стол ящик. В нем оказались: сахар, жиры, кофе. Под конец втащили в дом целую четверть говяжьей туши.

Я пригласила офицеров в гостиную.

— Нам очень жаль, но побеседовать с вами не удастся... — извинился полковник. — С таким же заданием мы должны сейчас ехать в Поронин, к хозяину домика, где жил Ленин. Советская власть не забывает тех, кто оказал гостеприимство нашему вождю..

Как я уже говорила, приезд офицеров и цель его привели меня в крайнее смущение. Потом это прошло и осталось чувство глубокой признательности и восхищения заботливостью этих, казалось бы, совершенно чужих людей. Столь щедрый подарок поддержал не только меня, но и многих моих друзей. Я сильно подозреваю, что всем этим я обязана вниманию моего сурового друга майора Н.

Да, именно это знакомое, неистребимое в русских людях чувство любви к человеку питало русскую революцию! Новые люди создадут новый облик земли, и самым важным будет то, что никто уже не станет продавать свою душу желтому дьяволу — деньгам. Я всегда думала о том, что русская культура в лице ее великих писателей именно

своим отвращением к золотому тельцу неизменно противопоставляла себя западному миру. Россия не продала за чечевичную похлебку своей чистоты. А вот на Западе за современную цивилизацию, как правильно заметил майор Н., кое-кто платит самым драгоценным — душой.

Мне думается, что некоторые иностранцы не могут, а вернее, не хотят представить себе, чем была для них советская оборона, затем стремительное наступление и вообще вся война Советского Союза против гитлеровской Германии. Этих потерь и лишений, этого отказа от всего личного не вынес бы ни один европейский народ!

Мне также думается, что в русском народе, более чем в других, живет потребность согласования идеи с жизнью, не считаясь с установленными природой «законами»: «К черту эти законы, если они мешают жить! Мы переделаем их на свой лад! Наперекор всему».

Ведь это Ленин сказал: «Надо мечтать!» Это слова реалиста, а не романтика.

Как показательно в этом смысле советское искусство! Русское революционное искусство воплотило в себе революционную мечту, создало произведения, тесно связанные с жизнью, направляющие ее, доступные всем. Сильнее любой пропаганды они побеждают недоверчивые сердца на Западе. Вам, наверное, известно, что появление в Польше русского балета, русских хоров, русского драматического театра — всегда событие (увы, не всем доступное — не хватает билетов!). Советские кинофильмы лучше самых убедительных статей отвечают на вопрос: есть ли в Советском Союзе истинная культура? Захватывает меня и современная советская литература. «Волоколамское шоссе» я перечитала несколько раз, хотя и не очень-то люблю военные повествования. Я старалась уяснить себе причины неодолимого обаяния этой книги и прихожу теперь к заключению, что нас волнует, по-видимому, ее искренность, большая любовь и внимание к человеку — драгоценнейший завет всей русской литературы. Да, книги современных советских писателей изумляют своим высоким уровнем! Книги эти говорят о новых, советских людях. Живые, простые, настоящие, они показаны в действии, в повседневных, малозаметных подвигах. И у всех них есть одно общее — неиссякаемый творческий порыв, коллективизм.

Я часто слышу русскую речь: ее приносят в Польшу радиоволны. Вот говорит женщина, капитан корабля, совершившая несколько далеких, чуть ли не кругосветных рейсов. Как скромно, как естественно она повествует об этом! И не о себе — о своих товарищах, помощниках. Сама она старается держаться в тени. И ты видишь не только ее, но и ее корабль, дружную большую семью тружеников, коллектив.

Вот еще один чистый и звонкий голос. В жестокой схватке с фашистами, защищая важную позицию, эта девушка метала гранаты под гусеницы вражеских танков. Взрывом ей оторвало обе руки... Она говорит об этом просто, словно не о себе. На первом плане не она, а то главное, ради чего не жаль молодости, не жаль красоты, не жаль и самой жизни, — Родина!..

Большие души!

И вот сейчас — в чудесной, новой Москве — я смотрю в глаза одной из тех женщин, которые вынесли на своих плечах великий труд перестройки, а потом и спасения Родины. Это ее голос я слышала по радио и плакала от волнения...

Мне радостно оттого, что Россия обратила к Польше дружеское лицо свое и, как сестра, хочет помочь ее творческому росту, что увлекла ее за собою в торжественное шествие молодых, идущих навстречу будущему народов.

И я снова и снова вспоминаю свою давнюю встречу с великим вождем, заветы которого так успешно воплощает в жизнь советский народ.

*Перевел с польского Я. Немчинский.*



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

РУД. БЕРШАДСКИЙ

★

## УЧЕНЫЙ, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ВСЕ

**Е**сть старый анекдот, как поймать в пустыне льва. Это очень просто: надо просеять весь песок пустыни через сито, и льву будет некуда деться.

Так же просто в наше время отыскать в книгах нужную вам справку, выкладку, цифру, мысль — в общем любую информацию. Надо только сделать сито более частым!

Ну, а если всерьез?

Но, кажется, и всерьез остается один этот выход.

Когда я попробовал чуть пристальней, чем раньше, присмотреться к тому, как современному читателю отыскивать в литературе нужную информацию и что такое сегодняшняя библиография, меня просто ошеломили некоторые цифры. И думаю, они способны ошеломить не одного меня.

Оказывается, больше половины книг, хранящихся в Ленинской библиотеке, не было востребовано никогда, ни одним читателем. Как, новорожденной, попала книжка в библиотеку из родительского лона — еще пахнущая типографской краской, еще с сырым от клея корешком, — так она и легла на полку библиотеки, как урна с прахом на полку колумбария.

Оказывается, в двух крупнейших библиотеках мира — в той же Ленинской в Москве и в библиотеке конгресса США в Вашингтоне — книжный фонд увеличивается теперь каждый год примерно на миллион томов и удваивается чуть ли не за пятнадцать лет.

Общее количество названий книг, вышедших в мире с изобретения книгопечатания, приблизительно тридцать миллионов. Но если до нынешнего столетия книги выходили так, как капает вода из недостаточно плотно привернутого крана, то теперь и сравнение с Ниагарой не будет гиперболой. Теперь на нашей планете ежегодно выпускается пять миллиардов экземпляров книг. Ежегодно появляется двести тысяч новых названий!

Маяковский писал о «курганах книг, похоронивших стих». Он был абсолютно точен. Курганы — не просто холмы, это — могильные холмы. И то грандиозное количество книг, которое сейчас появляется в мире (а тем более которое будет выходить завтра), скорее «похоронит» стих и даже любую книжку, нежели сделает их доступнее для читателя.

Потому-то никто в Ленинской библиотеке и не раскрыл десяти миллионов книг. Если вдуматься, это неудивительно. Хотя и обидно! Разве не нашлось бы в этих книгах ну хотя бы миллиона, ну пусть даже меньше — ста тысяч, еще меньше — хотя бы только десяти тысяч сколько-нибудь стоящих мыслей? Это же если исходить из убийственного расчета, что на тысячу книг встретишь всего одну стоящую мысль! Или и это — преувеличение?!

Но тогда, значит, не книги и не авторы, написавшие их, виноваты, что их живые слова не доходят до читателя, а их мысли никого не делают умнее и не

заставляют думать. Значит, мало выпустить книгу — надо еще дать знать о ней человеку, которому она может понадобиться, известить его, что она уже существует и ждет встречи с ним так же, как, возможно, он с нею.

Однако известить его не просто. Добро бы, вернулись элегические времена: открытые полки знаменитой смирдинской лавки на Невском проспекте; стоя на стремянках, ищут на этих полках новинки Батюшков и Жуковский, Пушкин и Белинский.

Элегическая, конечно, картинка, но и какая же древняя!

Попробуйте, стоя на стремянке, отыскать нужную вам справку, скажем, из области химии, если в одной Японии ежегодно выходит полторы тысячи журналов — не считая книг! — где можно найти статьи, так или иначе относящиеся к химии. Что хлестаковские тридцать пять тысяч курьеров — предел его скромной фантазии — по сравнению с этими полутора тысячами! Эти-то тысячи — не фантазия!

На вопрос дочери: «Ваше любимое занятие?» — Маркс отвечал: «Рыться в книгах».

Сегодняшний ученый может себе позволить такое наслаждение только в качестве редчайшего отдыха.

Но как же тогда ориентироваться в этом безбрежном море? Нужны, естественно, штурманы, лоцманы — опытные морские волки книжных океанов.

Но даже и сами лоцманы-библиографы сплошь и рядом признают себя недостаточно компетентными в том, что же посоветовать читателю: где что ему найти.

Вот вопль двух библиографов Центральной научной библиотеки Казахской Академии наук — С. Г. Медведевой и М. В. Соколова (см. журнал «Советская библиография», № 1, 1960): «Во многих специфических вопросах современной науки и техники библиограф не в состоянии разобраться без квалифицированной помощи специалистов, а таких вопросов с каждым днем становится все больше и больше».

Многие десятки лет читателя, прибегавшего к услугам библиографии, обслуживала универсальная десятичная система (и, надо отдать ей справедливость, весьма неплохо в общем обслуживала). Она давала достаточно как будто точное разграничение всей когда бы то ни было выходившей в мире печатной продукции на десять разделов: 0 — общий, 1 — философия, 2 — религия, теология, 3 — социальные науки, 4 — филология, лингвистика, языки, 5 — математика, естественные науки, 6 — прикладные науки, медицина, техника, 7 — искусство, архитектура, фотография, музыка, развлечения, спорт, 8 — литература, 9 — география, история, биографии.

Вам понадобилось, допустим, найти, что писал по вопросу о кометах Галлей.

К какой науке это относится? Ясно: к астрономии. А астрономия — к чему: к искусству, к теологии или предпочтительнее к естественным наукам? Ясно: к естественным.

Вы смело обращались к разделу библиотечного каталога «Естественные науки», в нем находили более мелкий раздел «Астрономия», в нем — еще более мелкий «Кометы», и здесь, наконец, спокойно обнаруживали на букву «Г» автора — Галлея. Выписывали с библиографической карточки шифр книги, заказывали по нему в столе выдачи книгу, а затем, если к книге не был приложен предметный указатель, перелистывали ее и отыскивали нужные вам высказывания.

Путь был хотя и несколько длительный, но вроде бы надежный. В нем особенно подкупала логическая стройность. Если ты имел должное представление о предмете, являвшемся целью твоих поисков, то непременно его находил.

Но вот... Но вот что сплошь и рядом происходит сегодня. Вы углубляетесь в раздел «Естественные науки», спускаетесь по лестнице подразделов ниже, в «Математику». Еще ниже — в «Вычислительную математику». Еще ступень — «Электронно-счетные машины». И вдруг...

И вдруг обнаруживаете публикацию по вопросу о переводе с русского языка на английский, осуществляемом электронно-счетной машиной!

Но ведь перевод с языка на язык — это филология, лингвистика, языки, короче — 4-й раздел универсальной десятичной системы, а совсем не 5-й, к которому относится математика?

Да. Но разве можно отрицать, что машинный перевод — это вместе с тем и математика? И кроме того, 6-й раздел — прикладные науки и техника, перевод-то осуществляется автоматически, машиной.

Когда-то народная мудрость облекла в следующее выражение образец нелепицы: «На вербе груши!» Это был образец нелепицы и в то же время наглейшей брехни: до чего, дескать, заврался человек!

Однако как ни превышает мудрость всего народа мудрость любого, взятого в отдельности человека, но и она, как видим, исторически ограничена. В те времена, когда она насмеялась над грушей, наливающейся соками на вербе, она еще не предполагала, что в городе Козлове в конце концов появится Мичурин, а электронно-счетная машина начнет переводить тексты с одного языка на другой и даже слагать стихи. (Кстати, образец машинных стихов о любви приведен в книге Кобринского и Пенелиса «Быстрее мысли», и, если говорить по совести, приведенные ими стихи нисколько не уступают тысячам подобных, подписанных именами людей.)

Взаимосвязь, взаимопроникновение, взаимообогащение самых, казалось бы, далеких друг от друга наук сегодня не исключение, а правило. Служанка читателя — библиография, конечно, не может пренебрегать этим.

Но как ей поспеть за этим стремительным процессом взаимопереплетения наук? Пусть универсальная десятичная система плоха, пусть ее разделы, как видим, несмотря на кажущуюся логическую стройность их, негибки. Что дать взамен?

О, человеческая мысль не остановится в поисках выхода! Стараясь преодолеть недостатки универсальной десятичной системы, в Ленинской библиотеке, например, применяют и другие системы классификации литературы. Знаете, сколько их уже применяют? Восемнадцать! Одновременно! А в запасе имеется еще свыше трехсот (!), пока не примененных!

Конечно, это — свидетельство самых активных поисков выхода. Но это же — свидетельство и того, что выход пока не найден.

Смысл существования библиографии в том, чтобы облегчить читателю поиск нужной литературы. Как определял библиографию Ломоносов: «Прямое руководство в науках и чтении многих книг, во время столь краткое жития нашего». Если же читателю, для того чтобы по правилам отыскивать нужную книгу или статью (а без правил с этим не справишься), то есть для того чтобы воспользоваться услугами библиографии, придется предварительно кончать библиотечный вуз, значит это правила неудовлетворительные. Без того, чтобы не быть удобной, простой, доступной, библиография не библиография. Если выгода от пользования ею не сберегает «времени столь краткого жития нашего», значит она не выполняет своего основного назначения.

Я слышал академика И. И. Артоболевского. Это было на обсуждении Реферативного Журнала «Машиностроение». Обсуждение проводилось в Ленинской библиотеке. Устроители вывесили небольшое объявление у входа и обзвонили несколько ведущих машиностроительных предприятий Москвы.

Однако, когда предстояло открыть собрание, обнаружилось, что вести его будет трудно. Зал был полон, проходы забиты стоящими. Кроме того, за настезь раскрытыми дверьми, в фойе, теснилась еще толпа тех, кому не хватило и стоячих мест в зале. Библиография оказалась кровно, насущно необходимой значительно более широкому кругу людей, чем предполагали даже устроители обсуждения.

И. И. Артоболевский говорил от имени редакционной коллегии журнала, но, конечно, и от своего. Говорил, что при всем желании хотя бы бегло просмотреть

литературу по своей специальности он уже физически не в состоянии это сделать. Тем более, что число языков, на которых выходит интересующая его литература, значительно больше того, которым владеет он лично; тем более, что его узкая специальность — теория механизмов — отнюдь не исчерпывает круга его научных интересов и потребностей. Но даже программу-минимум, ограниченную лишь известными ему языками и одной теорией механизмов, он тоже был бы не в силах выполнить, если бы ориентировался только на свои личные возможности.

Он приводил известное высказывание Дж. Бернала, посвятившего ряд лет жизни исследованию «Наука в истории общества», о том, что «во многих областях (науки) создается такое положение, когда по сути дела легче открыть новый факт или создать новую теорию, чем удостовериться... что они еще не были открыты или выведены».

С этим утверждением Бернала полностью согласны и американские бизнесмены, немедленно переведшие на доллары, сколько стоят поиски нужной информации. Вице-президент одной крупнейшей американской корпорации заявил так:

— Если научное исследование стоит не больше ста тысяч долларов, то корпорации дешевле повторить это исследование, чем выяснять по литературе, не было ли оно выполнено где-либо в другом месте и не были ли опубликованы его результаты в какой-либо печатной публикации.

Стоимость работ по разысканию материалов в библиотеках США, по сведениям ЮНЕСКО, обходится в триста миллионов долларов ежегодно.

— Разрешите,— продолжал академик,— прочитать вам еще один абзац из Бернала: «Следует понять — и чем скорее, тем лучше,— что в настоящее время ученые должны быть готовы к тому, чтобы для собственной пользы»,— повторяю, дорогие товарищи: «для собственной пользы», подчеркивает Бернал,— «отдавать часть своего времени делу классификации и распространения информации...»

И затем докладчик привел цифры, взятые из обследования, проведенного среди членов Американского химического общества, насчитывающего восемьдесят тысяч человек и практически объединяющего всех американских химиков. До 61,4 процента своего рабочего времени американский химик тратит на информацию: на то, чтобы разыскать нужный материал, прочесть его, записать итоги собственных опытов — последнее тоже надо включить во время, затрачиваемое на информацию, хотя в данном случае на информацию не получаемо, а создаваемую исследователем. И самое меньшее, что химик в Америке тратит на информацию,— треть рабочего времени: 33,4 процента.

Конечно, «тратит» — понятие относительное. Вернее было бы выразиться: с б е р г а е т этим свое время, чему доказательств сколько угодно.

Скажем, на разработку одного специального устройства американцы затратили (факт, почерпнутый из американской прессы) двести тысяч долларов. А потом обнаружили, что это устройство было осуществлено в СССР еще до того, как они взялись за работу, причем тогда же у нас была опубликована и информация о нем.

Бывает и наоборот: в 1953 году американцы сообщили в печати, что изобрели съемные протекторы на шинах. Мы перевели их информацию спустя шесть лет — в 1959 году, и понадобилось всего две недели, чтобы Ярославский шинный завод приступил к выпуску таких же шин,— настолько просто это было сделать и настолько эти шины были экономичнее, выгодней. Но шесть лет это обходилось нашему народу в бесполезную трату миллионов рабочих часов.

Библиограф-неспециалист не мог этого предотвратить. Только специалисту по плечу отдать должное полезности и важности каждого подобного сообщения и выделить его из потока других. И даже вещь, казалось бы, еще более простую: о чем идет речь в новой статье или книге,— теперь чаще всего по плечу определить только специалисту.

«Литературная газета» однажды рассказала, как незадачливый книготорговец в Новгороде отнес лирический дневник Ольги Берггольц «Дневные звезды» к разделу науки — должно быть, астрономии. Я сам однажды встретил «Золотого

осла» Апулея в совсем неплохом книжном магазине Москвы поставленным в стойла раздела «Ветеринария». Даже необъчная для ослов масть не заставила продавца приглядеться к незнакомой книжке внимательней.

Но дело не в этих анекдотических случаях. Все большая и большая специализация наук, с одной стороны, а с другой — все большее их взаимопроникновение создали теперь такое положение, что только специалист способен разобраться, о чем данная публикация и какие еще она затрагивает области знаний.

Много и интересно работающий над механизацией поисков информации доктор технических наук Л. И. Гутенмахер прямо заявляет в своей книге «Электронные информационно-логические машины»: «Справедлив афоризм, что ученые знают все больше и больше во все меньшей и меньшей области знаний... В каждой области знаний существуют теперь такие термины, что понимание их неспециалистом почти невозможно».

Но отсюда следует: чтобы не сбиться с курса в книжном океане, мало уже одного штурмана; непременно нужна целая штурманская коллегия, притом состоящая из специалистов абсолютной всех областей знания. Кстати, академик И. И. Артоболовский, механик и математик, стоящий у рулевого колеса библиографического журнала, — живое доказательство неизбежности именно такого решения вопроса на нынешнем этапе развития науки.

Впрочем, что значит «не сбиться с курса»? Одно дело, если я намереваюсь, допустим, ознакомиться со всеми материалами, посвященными операции Восьмой армии на Ленинградском фронте за период январь — март 1942 года. Для этой цели мне хватит библиографической описи: дескать, материалы на эту тему напечатаны там-то и там-то. И все. И начинай читать.

Но справки подобного рода требуются ученым и производственникам сравнительно редко. Чаще такой читатель требует от библиографии другого ответа: а где напечатаны новые материалы по такому-то и такому-то вопросу? И есть ли они вообще? Или — еще строже направленный вопрос: где найти описание того, что полезно перенять (и просьба: чтобы изложение было предельно компактным)?

Тут уж одним библиографическим описанием не обойтись. Больше того: хотя в данном случае смысл библиографического поиска в том, чтобы найти что-то полезное для себя (для своих исследований, для своего производства), все равно в девяноста девяти случаях из ста ищущий не верит в стопроцентную безгрешность рекомендателя. Если рекомендатель недостаточно авторитетен, тогда само собой ясно, почему ему нельзя верить, как хотелось бы. Но даже если он крупнейшая величина в своей отрасли, то и тогда есть основания сомневаться в его рекомендациях. Ведь у него настолько устоявшиеся взгляды на ряд вещей, что они — порою помимо его собственной воли — способны помешать ему правильно заметить и оценить то, что идет вразрез с ними, а тем не менее заслуживает поощрения и уж во всяком случае внимания. Разве не из-за таких предвзятых взглядов некоторых теоретиков мы, например, долгое время третировали кибернетику?

Поэтому читатель, в особенности читатель-ученый, читатель-исследователь, предпочитает, как правило, сам знакомиться с содержанием всего нового, что появляется в литературе по волнующему его вопросу. Пусть бегло, но сам!

И вот мы снова подходим ко все тому же: как же его знакомить со всем, что выходит в мире по нужной ему теме, если таких публикаций тысячи, а то и десятки тысяч?

Однако тут пора рассказать тем, кто, может быть, еще не осведомлен, что это такое, о ВИНИТИ и о РЖ ВИНИТИ. Ибо говорить о сегодняшнем состоянии научной и технической информации в мире, не касаясь их, невозможно.

Итак, ВИНИТИ — это Всесоюзный институт научной и технической информации Академии наук СССР и Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ при Совете Министров СССР. Основная производственная деятельность ВИНИТИ — выпуск Реферативного Журнала, или, сокращенно, РЖ, и его «дочернего» предприятия — так называемой «Экспресс-Информации».

Число сотрудников примерно две тысячи штатных, включая же нештатных — в десять раз больше. Это не описка — приблизительно двадцать тысяч. Причем это только «на сегодняшний день», как выражаются в бухгалтерских отчетах; вообще же число сотрудников стремительно растет и будет расти дальше. А Реферативный Журнал несравним ни с каким другим привычным нам журналом. Создание специального института для его выпуска, хотя это всего один журнал, — большая принципиальная наша победа. Недаром США пытаются теперь применить этот опыт у себя, причем заранее отдают себе отчет, что иной социальный строй, господствующий у них, не позволит им воспользоваться всеми преимуществами, имеющимися на стороне нашего ВИНТИ. Однако подробнее об этом — ниже. Пока ограничусь лишь одним отзывом на сей счет. Орган ЮНЕСКО «Импект оф сайенс он сосайети» (№ 3, 1959) заявляет устами П. Буке в статье «Международная конференция по научной информации» следующее:

«В Соединенных Штатах, экономика которых основана на свободной конкуренции, трудно представить себе документационный центр, который можно было бы сравнить с советским институтом. Распространением информации в США занимаются многочисленные частные организации и правительственные учреждения. Результатом усилий этих организаций явилось расширение в США исследований, направленных на улучшение научной информации. Некоторые из этих исследований могут найти эффективное применение, и люди, ответственные за экономику Соединенных Штатов, это хорошо знают. Однако распыление сил не способствует проведению систематических исследований. Естественно, что органы документации испытывают тенденцию к объединению, и четырнадцать подобных центров уже создали федерацию».

Итак, РЖ разбит на пятнадцать серий: «Автоматика и Радиоэлектроника», «Астрономия и Геодезия», «Биология», «География», «Геология», «Геофизика», «Горное дело», «Математика», «Машиностроение», «Металлургия», «Механика», «Транспорт», «Физика», «Химия», «Электроника и Энергетика», а также реферативный сборник «Экономика промышленности» и выпуск «Биохимия». На очереди — издание серии «Сельское хозяйство», «Медицина» и многих, многих других, еще не охваченных нынешним РЖ. Но и то сказать: наш РЖ пока ребенок, ему только восемь лет от роду.

Реферативный Журнал представляет собой регулярно выпускаемые в свет сборники рефератов, аннотаций и библиографических сведений обо всех выходящих в мире новинках по перечисленным отраслям науки и техники, причем в число освещаемых новинок входят не только публикации в журналах, но и всякого рода «Труды», «Сборники», «Известия» и тому подобные издания различных институтов, а также книги, брошюры, рецензии на них, описания патентов и авторефераты диссертаций.

Каждая из серий совершенно самостоятельна. Она отличается от любой другой и своей тематикой, и объемом, и даже периодичностью выхода. Одни дают читателю двенадцать номеров в год, другие — двадцать четыре. Среди десятков тысяч подписчиков РЖ не зарегистрировано ни одного индивидуального подписчика на все серии РЖ. Пора таких энциклопедистов, как Аристотель, Леонардо да Винчи, Ломоносов, миновала. А если и возник бы в наши дни новый Леонардо или новый Ломоносов и смог бы и сегодня обнять своим гением все науки, которым посвящен РЖ, то все равно у него не хватило бы физически времени, чтобы их прочесть. Объем, например, только одной серии Реферативного Журнала — «Биологии» — равен за год объему примерно всей Большой Советской Энциклопедии!

Почему же, несмотря на такую очевидную самостоятельность каждой из серий РЖ, мы все-таки ведем речь об одном, едином РЖ?

Мы с вами уже видели (хотя бы на примере с машинным переводом текстов), как одна и та же публикация способна заинтересовать специалистов в самых разных областях науки и техники: и машиностроителя, и математика, и человека, занимающегося изысканиями в области автоматике, и филолога. И действительно, в нашем — едином! — РЖ вы отыщете реферат, аннотацию или в крайнем

случае библиографическое описание этой публикации и в серии «Машиностроение», и в серии «Автоматика и Радиоэлектроника», и в серии «Языкознание»...

(Прошу прощения, тут я забежал вперед. Серии «Языкознание» пока нет. И вообще в РЖ нет покамест серий, посвященных гуманитарным наукам. Но не будем утрачивать надежду на то, что они в конце концов появятся. Мы очень много теряем на том, что их нет. Впрочем, говорить об этом лишь в скобках не стоит: это слишком важно. Говорить об этом надо, видимо, отдельно.)

Итак, специалисты различных отраслей знания могут узнать об интересующих их публикациях лишь потому, что наш журнал един. Если бы РЖ был посвящен только химии или только математике, то, естественно, его редакторов нисколько не тревожило бы, узнают о такой публикации другие заинтересованные ученые или нет. А они, безусловно, не узнали бы о ней, ибо с чего вдруг специалист полезет в поисках новостей, касающихся его области, в реферативный журнал, посвященный совершенно иной научной тематике, тематике чуждой ему и даже непонятной! И откуда он будет знать, куда именно ему ткнуться?

Подобный пример совсем не выдуманный мною, не гипотетический. Сто тридцать лет выходит немецкий реферативный журнал «Хемисес Центральблатт», свыше семидесяти лет — «Немикал абстрактс» — издание уже упоминавшегося нами Американского химического общества. Исторически возникновение этих РЖ обуславливалось ростом той или иной отрасли промышленности. Но издание РЖ — дело очень дорогое: дорого стоит приобретение литературы, дорого стоит квалифицированное реферирование, немало съедает редактирование, набор, печать. Между тем доход от подписки недостаточен, так как тираж РЖ сравнительно невелик — ведь журнал обслуживает только специалистов. Поэтому РЖ всегда нуждались в дотации, и субсидировали их, как правило, крупнейшие компании данной отрасли промышленности. А они, естественно, нисколько не были заинтересованы в том, чтобы тратиться на развитие науки вообще — на обслуживание таких областей знания и техники, исследования в которых не сулили им прибыли.

И так и получилось, что затраты на приобретение, скажем, полутора тысяч японских журналов, где можно встретить статьи, полезные химику, одинаковы и у РЖ ВИНТИ и у «Немикал абстрактс». Но у нас в ВИНТИ результаты просмотра этих тысяч журналов становятся в итоге достоянием ученых и производителей самых разных специальностей. И не только потому, что одна и та же публикация, способная пригодиться и химику и, скажем, физику, дойдет и до того и до другого, о чем мы уже говорили. Но также и потому, что громадное количество используемых журналов печатает одновременно статьи по разным разделам науки. Для «Немикал абстрактс» любая статья, не имеющая отношения к химии, это только накладные расходы, пустая порода, затрудняющая извлечение руды, — и все. А меж тем, чтобы установить, есть ли в статье что-нибудь о химии или нет, все равно приходится просматривать весь получаемый журнал! И какая же это непроизводительная трата сил, знаний, средств — отправлять затем в утиль все, что не приносит барыша монополии, субсидирующей такой РЖ!

Преимущество нашего ВИНТИ — это наглядное преимущество социалистической системы, которая заинтересована в развитии всех отраслей науки и знания, как мать в нормальном росте всех своих ребят. Капиталистическая система не способна создать такую всеобъемлющую «монополию», как единое народное хозяйство, и потому неизбежно расточительна по природе своей. Расточительна и одновременно скупа. А мы благодаря своей щедрости экономны. Это — не парадокс, это — диалектика.

И, может быть, самое интересное — это то, что к аналогичному выводу силой вещей приходит теперь и ряд ученых капиталистических стран, причем мнение их звучит так веско, что его не может замолчать даже буржуазная печать. Вот несколько чрезвычайно показательных отзывов о ВИНТИ, появившихся в зарубежной прессе за последние год-два.

«Приоритет СССР во многих областях науки и техники (особенно когда дело касается практического использования достижений науки) в значительной степени

объясняется наличием мощного информационного центра», — пишет шведский журнал «Чемикалиефаккет» (№ 10, 1960, статья «Русские достижения в области технической информации»).

С мнением шведов перекликается мнение западногерманского журнала «Фольксвирт» (№ 23, 1959):

«Нигде на Западе нет такой строгой централизации документации и информации, как в СССР и других восточноевропейских странах. Правда, в США издается большое количество различных документационных и реферативных журналов в области техники. Однако отсутствие единого руководства и сотрудничества между этими документационными учреждениями чаще всего приводит к дублированию и нерациональному расходованию огромных средств. Хотя в США полностью переводится на английский язык около сорока пяти русских отраслевых журналов, возможности получения переводов русской технической литературы чаще всего препятствует хроническое отсутствие денежных средств».

Даже пресловутый газетный король У. Р. Херст-младший вынужден подтвердить то же самое:

«По отзыву американского газетного короля У. Р. Херста-младшего, опубликованному во французской газете «Монд», система организации научной информации и распространение ее среди различных научно-исследовательских центров в Советском Союзе заслуживает особого внимания», — сообщает западногерманская газета «Гардиан» (№ 1409, 1958).

ВИНИТИ был создан в 1952 году. Точнее, в 1952 году при Академии наук СССР был создан ИНИ — Институт научной информации. Заветную мечту о создании такого мощного института специально для экономики драгоценного времени ученых лелеял еще С. И. Вавилов в бытность свою президентом Академии наук.

Позднее — и в очень скором времени — ИНИ преобразовали в Институт научной и технической информации. Потому что сразу обнаружилось, что не только трудно, но и нецелесообразно строить два параллельно работающих центра, остро необходимых стране: один — научной информации, а другой — технической. Та и другая так тесно переплетены между собой, что почти во всех случаях жизни их пришлось бы разделять насильственно.

А зачем?

И ИНИ чрезвычайно скоро превратился в ВИНИТИ с двойным подчинением: кроме президиума Академии наук, еще и Государственному научно-техническому комитету при Совете Министров СССР (ныне преобразованному в Государственный комитет по координации научно-исследовательских работ при Совете Министров СССР). Это не вызвало никаких возражений ни с чьей стороны: преимущество нашей социальной системы с ее единым народным хозяйством и общенародными же задачами сказывалось снова и снова.

Очень интересно провести в ВИНИТИ хотя бы день. В коридоре — бесконечные двери с внушительными табличками: «академик такой-то», «член-корреспондент Академии наук такой-то», «доктор наук такой-то». Это редакторы разных серий Реферативного Журнала, члены редколлегий, заведующие секторами. И не «почетные» редакторы или члены редколлегий, чьи фамилии часто лишь украшают обложку журнала, нет, — в ВИНИТИ приходится работать засучив рукава. Иначе непрекращающийся ни на час поток научных публикаций со всего мира захлестнет, затопит институт.

ВИНИТИ обрабатывает семьсот тысяч статей в год.

Мне хочется повторить эту цифру — так, как заставляют повторять слова на телеграфе, когда телеграфистка сомневается: а не ошибся ли отправитель?

Нет, я не ошибся. Я могу повторить, как на телеграфе: «ВИНИТИ обрабатывает в год 700 000 статей — семьсот тысяч». И даже чуть больше!

Вдумаемся в эту цифру. Она означает, что почту в институт привозят грузовики и что каждый день вся такая порция должна быть прочитана от строки до строки, описана, прореферирована, что в строго установленные сроки рефераты

должны быть подготовлены к печати, отпечатаны, забандеролены и отправлены подписчику. (Кстати, у института собственное почтовое отделение.) Завтра придет новая такая порция, и если сегодняшнюю не отправить на библиографическо-реферативный конвейер немедленно, то институт завтра же начнет лихорадить.

Что же представляет собой этот конвейер?

Пойдем след в след за любым поступившим журналом.

Вот он только вытряхнут из почтового мешка и еще в бандероли лег на стол отдела предварительной научной обработки литературы. Откуда он? Как называется? Это надо занести в его «паспорт» — в его библиографическую карточку. Какой области науки или техники посвящен?

Но для того чтобы ответить даже на эти вроде бы самые элементарные вопросы, и то уже требуются обширные специальные знания. Существует столько языков на свете, что даже человек, разбирающийся в десятках их, поймет надпись далеко не на каждом штемпеле.

А как называется журнал? То же самое: попробуй прочти! И уж тем более разберись с ходу, чему он посвящен!

На первом этапе поступившие журналы распределяют, так сказать, лишь вчерне: либо в группу литературы на языках народов СССР и стран народной демократии, либо в английскую группу, либо в романскую, либо в германо-скандинавскую, либо в дальневосточную.

В языковой группе научный сотрудник — разметчик — уже прочтет поступивший материал. Вернее, просмотрит его. И против каждой прочитанной статьи поставит свой штампель: скажем, «Геол-23». Это значит, что разметчик № 23 адресует статью редакции «Геологии». Если же статья, по его мнению, одновременно может быть нужна и геологу, и физика, и географу, то на полях выстроится ряд отметок: и «Геол-23», и «Физ-23», и «Геогр-23» — и лишь после этого ей разрешат отправиться в группу библиографов.

Как видите, даже до библиографов не так-то просто дойти статье в институте! Библиографы составят библиографическое описание на каждый размеченный в журнале материал. Потом журнал пройдет еще группу контроля, где проверят, правильно ли составлено описание; отсюда его передадут в группу технической обработки.

Вы, возможно, удивитесь: какой еще технической обработки? Неужели поступивший материал все еще недостаточно обработан?

Да, недостаточно. Потому что чаще всего экземпляр-то был один. А как в этом случае выполнить направления разметчика: послать его и геологам, и физикам, и географам? Что им, в очередь друг за другом выстроиться (и задерживать выпуск очередного тома РЖ)? Не годится. Проще размножить экземпляр.

Группа технической обработки этим и занимается. Она закажет нужное количество фотокопий отмеченных страниц, разрежет на отдельные статьи те журналы, которые поступили в двух или более экземплярах, одновременно отпечатает библиографические карточки.

И лишь когда все это будет сделано, отработанные журналы передадут в отдел хранения, а статьи и фотокопии, наконец, в редакции соответствующих серий РЖ.

Но и здесь есть свои библиографические группы. Их задача — направить полученный материал в соответствующий раздел редакции. Это тоже достаточно сложное дело. Потому что каждая серия насчитывает много разделов. К примеру, «География» — одиннадцать: «Физическая география и Картография» — раз; «Биогеография и Медицинская география» (это — раздел географической науки, посвященный географическому распространению болезней и их природной очаговости, а также влиянию природных условий на здоровье человека) — два; «Экономическая география и Страноведение» — три... И так далее.

В серии «Биология» еще больше разделов — двенадцать; в «Машиностроении» все двадцать. Это не бюрократические извращения, — это отражает истинную

картину необычайной кустистости чуть ли не каждой современной науки. Большое число секторов в каждой редакции — явление естественное и неизбежное.

Когда статья попадает наконец в раздел, редактор последнего выносит самый важный приговор: дать ли о ней реферат, дать ли о ней аннотацию или ограничиться только библиографическим описанием. Ибо материал различной ценности заслуживает и различного освещения. Одно дело — статья, впервые трактующая о каких-то новых открытиях, новых фактах, оригинальных исследованиях. Конечно, она заслуживает изложения самого подробного в пределах возможностей Реферативного Журнала — обстоятельного реферата, то есть ознакомления читателя с тем. «что сказано в произведении, как автором ставится и какими методами и решается вопрос, каковы основные положения и выводы. Реферат раскрывает не только тематику книги или статьи, но и ход мысли автора, отчетливо указывает, в чем заключается оригинальность постановки вопроса, что в произведении наиболее ценно»<sup>1</sup>.

Такого же обстоятельного изложения заслуживает и материал, который читатель не сумеет получить, даже если заинтересуется им, — тот материал, который, хотя, может быть, весьма важен, но отсутствует в ВИНТИ, и редакция судит о нем лишь по чьей-то чужой публикации. Значит, надо отреферировать эту публикацию.

Материал менее ценный может быть отражен в аннотации, то есть в заметке, информирующей лишь о том, какие темы затронуты в статье. Назначение аннотации: «позволить читателю более определенно судить о целесообразности ознакомления с оригиналом»<sup>2</sup>.

Наконец, о работах, не содержащих в себе никаких принципиально новых данных, скажем о популяризаторских, опирающихся целиком на уже опубликованные сведения, можно ограничиться библиографической справкой: мол, в таком-то государстве, в таком-то городе, в таком-то журнале, на таких-то страницах опубликована статья на таком-то языке, под таким-то названием, принадлежащая перу такого-то автора. Кто заинтересуется ею — пожалуйста, ВИНТИ по индивидуальному запросу подписчика вышлет и фотокопию статьи и даже перевод ее. Правда, только по индивидуальному запросу: ибо мало кому нужны знания из вторых рук, если есть возможность быть осведомленным о первоисточниках. (К сожалению, библиографическим описанием приходится ограничиваться и в другом случае: когда ВИНТИ, не располагая ни самим изданием, ни хотя бы подробными сведениями о его содержании, знает о нем лишь то, что сообщила национальная библиография, выпускаемая, как правило, каждым государством с той или иной степенью регулярности. Это в первую очередь относится к книгам: в отличие от периодики они поступают в ВИНТИ редко<sup>3</sup>.)

Впрочем, вернемся к редактору раздела. Достаточно ли ему решить, чего заслуживает полученная статья: библиографии, аннотации или реферата, — чтобы это решение так уже и превратилось в библиографию, аннотацию, реферат?

К сожалению, недостаточно. Надо еще подобрать человека, который сумел бы их сделать. Хорошо, библиографическое описание в состоянии произвести и машина. Но аннотацию, но реферат? Сделать из статьи выжимку, в которой было бы сохранено все существенное и опущено все менее важное, — для этого нужно прежде всего решить, что существенно, а что нет, а машина сделать это не может,

<sup>1</sup> Сб. «Вопросы организации и методики научно-технической информации и пропаганды» (М. 1960) — А. А. Фомин. Всесоюзный институт научной и технической информации. Его структура и содержание работы, стр. 19.

<sup>2</sup> «Инструкция для референтов Реферативного Журнала «География». 1961, стр. 4.

<sup>3</sup> Кстати, в укор ВИНТИ следует, пожалуй, поставить то, что его Реферативный Журнал перестал теперь отмечать, по какой причине об издании дана лишь библиографическая справка: из-за того ли, что в СССР вообще не видели этого издания, или почему-либо еще. Прежде примечания делались: дескать, описание составлено по такой-то национальной библиографии, таким образом читателю было ясно, что в РЖ самого издания не видели. Теперь, экономя место в журнале, эти примечания убрали. Напрасно: не на всем следует экономить!

тем более когда речь идет о чем-то новом, оригинальном. Это может сделать только человек.

Поэтому редактор должен наметить еще и человека, которому он поручит реферат. Для этого редактор должен наизусть знать всех специалистов того узкого раздела науки, которому посвящена публикация, да еще знать, кто из них способен правильно оценить ее, да еще должен располагать сведениями, кто из них какими языками владеет, да еще должен быть уверенным, что намеченный автор напишет нужный редакции реферат или аннотацию в срок, то есть знать, насколько он занят и насколько дисциплинирован.

Однако, чтобы решить эти вопросы, редактор прежде всего должен быть сам крупнейшим специалистом в своей области науки и техники. Вот почему участие в работе редакции РЖ академиков И. И. Артоболевского, П. С. Александрова, А. Н. Колмогорова, Л. И. Седова и еще тридцати семи других, активное участие в работе редколлегии РЖ до самого последнего дня жизни академика А. Ф. Иоффе — не случайность, а жизненная необходимость. Вместе с тем это яркое выражение и того факта, что ведущие ученые страны ясно отдают себе отчет, насколько обязательно их личное участие в организации всего процесса реферирования в РЖ.

В связи с этим надо сказать еще вот о чем. На первый взгляд может показаться, что редакции РЖ, должно быть, трудно привлекать специалистов к писанию аннотаций и рефератов: это же лишняя нагрузка человеку, а времени у специалиста и так в обрез!

Тем не менее специалисты с неизменной охотой большей частью откликаются на предложение РЖ о сотрудничестве. Их чрезвычайно соблазняет то, что они затем начинают получать готовеньким, не тратя на это нисколько своего времени, все, что выходит в их узкой области знания на языке, которым они владеют. А это — громадное преимущество, способное подкупить каждого влюбленного в свое дело специалиста! Ведь все равно он непременно стремится к тому, чтобы познакомиться с этой литературой. А тут его не только избавляют от забот по ее отысканию и доставанию, но еще и обеспечивают ею раньше всех в стране!

Вот чем объясняется громадный круг внештатных сотрудников института, о численности которого мы уже упоминали. Он, естественно, не ограничен Москвой и даже пределами Советского Союза. У ВИНТИ прочные связи с учеными стран социалистического лагеря, они много и плодотворно сотрудничают в РЖ.

Общее число материалов, «переваренных» Реферативным Журналом за 1960 год, повторяю, семьсот тысяч. Семьсот тысяч рефератов, аннотаций, библиографических описаний сделано им за год! Такого размаха не знает и не знал ни один РЖ в мире, ни один институт информации! Недаром американский журнал «Эр Форс» писал о ВИНТИ еще в 1957 году: «Никогда не будет известно, сколько миллиардов рублей и сколько десятков тысяч человеко-лет драгоценного времени, идущего на научно-исследовательскую работу, сэкономила эта система России».

А газета «Нью-Йорк таймс» четыре месяца спустя привела язвительные слова одного члена Национального научного фонда в Вашингтоне, что самый надежный путь улучшить осведомленность США в той или иной области науки и техники — это доставать рефераты, издаваемые ВИНТИ, и переводить их на английский язык.

Еще резче написал о том же известный американский журналист Джон Хантер, после своей поездки по СССР выпустивший в 1958 году книжку «Внутри России сегодня»: «Одной из научных областей, в которых русские особенно сильны, является реферирование... Русское реферирование настолько полно и настолько совершенно, что достигло степени, когда американские ученые узнают о новых успехах в своей области, достигнутых американцами, из русских реферативных журналов... Это намного превосходит все, что когда-либо пытались предпринять какое-нибудь другое правительство или частная организация где бы

то ни было в мире... Соответствующие американские попытки в этой области представляются ничтожными».

Джон Хантер не просто известный американский журналист. Он известный реакционный журналист, а книжонка «Внутри России сегодня» — яростная, злобная антисоветчина. Поэтому особенно стоит прислушаться к отзыву Хантера о советском реферировании. Он его делает не из любви к истине, а цедит со скрежетом зубным.

Спустя некоторое время после выхода книжонки Хантера (но, конечно, вне зависимости от нее, просто так совпало) к директору ВИНТИ профессору Александру Ивановичу Михайлову обратились представители крупной американской издательской фирмы «Ренд девелопмент корпорейшн» с предложением, чтобы ВИНТИ осуществлял для фирмы перевод на английский язык всех серий РЖ. А фирма будет выплачивать ВИНТИ за это десять миллионов долларов в год и немедленно издавать эти переводы в США.

Александр Иванович поблагодарил за лестную оценку качества нашего РЖ, подразумеваемую подобным предложением, и поинтересовался: а почему бы фирме не переводить самой наш РЖ? Ведь подписка на него свободная, неограниченная, уважаемые господа получают все серии, вероятно, в срок...

— О да, — подтвердили американцы, — все серии поступают аккуратно.

— Ну вот. Зачем же вам, чтобы мы осуществляли переводы на английский в России? Не проще ли вам переводить на родной язык самим?

Представители «Ренд девелопмент корпорейшн» знали не хуже Александра Ивановича Михайлова, какие, выражаясь деликатно, «фокусы» можно проделывать с переводами. Конечно, перевод — зеркало. Но разве нельзя при желании придать зеркалу некоторую кривизну? Или замутить его?

Людям сведущим отлично известна такая, например, манера, особенно распространенная среди некоторых японских издателей. Любезно идя навстречу читателю — учитывая, что японский язык сравнительно мало известен за границей, — они с готовностью, сразу на двух языках, печатают тексты своих публикаций: левая колонка — оригинал статьи, правая — перевод на другой язык (чаще всего английский). И если сверять перевод с началом публикации или с концом ее, то вы, пожалуй, никогда не обнаружите расхождений. Но вот в середине перевода — а она всегда меньше бросается в глаза — нет-нет да и обнаружится, что, к сожалению, оказалось непереуведенным именно основное положение статьи, суть ее! Вот тебе и любезный издатель...

Но, конечно, даже намека на возможность такого рода «негочностей» в беседе представителей «Ренд девелопмент корпорейшн» с Александром Ивановичем Михайловым не возникало ни малейшего: есть вещи, упоминание о которых среди порядочных людей просто исключено.

Нет, представители фирмы потому и обратились к ВИНТИ со своим предложением, что полностью убедились в безукоризненной научной точности и авторитетности советского РЖ. И на вопрос директора ВИНТИ ответили без обиняков: мы предпочитаем, чтобы переводы на английский с русского делали вы, потому что у вас родился и с необычайной быстротой развивается такой богатый, такой гибкий и вместе с тем такой своеобразный русский научный и технический язык, что полноценно переводить с него за пределами вашей родины невероятно трудно. Мы просто не найдем в США нужного количества достаточно квалифицированных переводчиков...

Михайлов еще раз поблагодарил представителей фирмы — «Ренд девелопмент корпорейшн» была, кстати, не единственной фирмой, обращавшейся с таким предложением к ВИНТИ; предлагали ВИНТИ осуществлять перевод РЖ на английский и крупнейшее англо-американское издательство «Пергамон Пресс» и такие мощные американские фирмы, как «Консалтантс бюро» и «Артс энд Сайенсиз Пресс». Михайлов обещал подумать, посоветоваться и дать ответ в ближайшие дни.

Но, подумав и посоветовавшись, ответил отказом. У ВИНИТИ хватает своих дел и забот, тем более что непрерывно растущее народное хозяйство ставит перед ним все новые и новые задачи. Пусть американцы сами трудятся над переводом РЖ ВИНИТИ, если понимают, что уже не могут обойтись без него; пусть бьются сами над тем, чтобы осуществлять эти переводы в нужный им срок и с необходимой точностью.

И перевод на английский язык нашего РЖ и наших научно-технических журналов осуществляется в США без нашей помощи. А переводят там немало и с каждым годом все больше. Сейчас в США дублируется на английском языке издание свыше семидесяти наших научно-технических журналов. От корки до корки! Приступили американцы также к переизданию и некоторых серий РЖ ВИНИТИ. Например, серии «Металлургия».

Вот что такое ВИНИТИ и его РЖ. Есть, впрочем, у института еще одно издание, о котором мы до сих пор упомянули лишь мельком, а оно заслуживает того, чтобы его знали не меньше РЖ и знали бы повсеместно — и на производственных предприятиях и в лабораториях ученых. Это «Экспресс-Информация».

Дело в том, что время выпуска в свет каждого тома РЖ исчисляется рядом месяцев и сократить срок на неделю или даже на день — чертовски грудная задача. Ведь что такое выпустить том РЖ? Мы с вами познакомились с тем, как поступившая в ВИНИТИ статья отправилась наконец к референту — иногда в Москву, иногда в Новосибирск, нередко в Варшаву, Прагу, Берлин.

Получив ее и прочитав, референт сплошь и рядом должен заглянуть во многие другие материалы: реферат — работа не механическая. Надо дать доскональный отчет прежде всего самому себе: а что в присланной статье принципиально нового? И бесспорно ли это новое? Если же не бесспорно, то почему? Надо и в этом разобраться и об этом рассказать читателю.

Итак, проходит некоторый срок, пока реферат пишут и пока редакция получает его.

Затем его надо огредактировать, сверить приведенные в нем цифры и другие фактические данные, перепечатать на машинке, сверить после машинки, нередко снабдить различными чертежами.

А время идет, идет...

Наконец реферат подготовлен полностью. Но типография не принимает его в единственном числе: она требует целый том сразу! (Я не касаюсь сейчас того, разумно это или нет. В принципе, конечно, неразумно: чего ради подготовленному к печати материалу вылеживаться в редакции? Такой способ сдачи материала естествен для работы типографий книжных. А РЖ, хоть и имеет вид книги, этому принципу подчинен быть не может: у него цели другие, чем у книги. Ведь получив целый том сразу, типография все равно не начнет его набирать весь; все равно часть материалов какое-то время будет лежать в ней без движения — дожидаться своей очереди. Так почему ж не устранить это, введя такой порядок, при котором типография производит набор тома постепенно, по мере поступления оригиналов из редакции? Правда, это требует идеальной организации производства в типографии и столь же идеального соблюдения графика со стороны редакции. Но тем не менее сами интересы дела толкают на то, чтобы был введен именно такой порядок. И он постепенно внедряется в ВИНИТИ и его полиграфическом комбинате.)

Но все равно, даже и при такой сдаче материала в типографию том сразу не выпустишь: ведь составляющие его рефераты приходят в редакцию постепенно.

«Кемикал абстрактс» реферировать материалы через пять с половиной — шесть месяцев после их выхода в свет. Это наиболее оперативный из всех зарубежных реферативных журналов. Сотни других реферировать получаемые статьи и спустя год, и два, и даже больше. РЖ ВИНИТИ уже почти догнал «Кемикал абстрактс». Но это не предел. Можно изрядно сократить сроки прохождения материала в редакции: за счет того, чтобы быстрее снимать фотокопии при размножении статей; за счет улучшения качества перепечатки материала на машинке (а это

экономит время на следующем этапе — при вычитке); за счет полного уничтожения срока, в течение которого готовый к набору оригинал лежит в редакции, дожидаясь «компаньонов» для отправки в типографию. Да много еще за счет чего!

Быть может, удастся сократить сроки и за счет организации полиграфического процесса: нам говорят, что усовершенствование литьевого набора, разработанное в лабораториях ВИНТИ, способно ускорить процесс набора минимум в два раза. Это усовершенствование заключается в следующем: обычную пишущую машинку снабжают небольшой приставкой, благодаря которой текст в процессе перепечатывания рукописи автоматически переносится в кодированном виде на перфорационную ленту. Затем перфолента подвергается контролю на автоматическом действующем аппарате и после исправлений, если они необходимы, используется для автоматического набора на литье. Литье же надо оборудовать для этого лишь сравнительно несложным электроустройством.

Обидно лишь, что именно РЖ, так сказать крестный этого изобретения, может использовать его только с большими ограничениями! Препятствие заключается в том, что приставка убыстряет лишь обычный набор. Между тем знаков, требуемых для набора РЖ, во много раз больше, чем на нормальной литьевой клавиатуре: Реферативному Журналу без конца требуются самые разнообразнейшие знаки — и математические, и химические, и буквы многих алфавитов, — и расположить все это на одной клавиатуре немислимо. Такой набор больше других способен удовлетворить лишь некоторые серии РЖ: например, «Биологию», «Географию», «Геологию».

Однако вернемся к «Экспресс-Информации».

Итак, выпуск тома любой из серий РЖ, как ни сокращая сроки прохождения материалов в редакции и в типографии, всегда из-за комплектации тома будет более длительным, нежели выпуск отдельной статьи. А есть такие публикации, которые — и это бывает ясно сразу! — должны быть доведены до потребителя немедленно. Специалисту достаточно только взглянуть на информацию о производстве шин со съёмным протектором, чтобы тут же понять, что оно и у нас может — а следовательно, и должно! — быть налажено в считанные дни. Зачем же информации об этом ждать подборки целого тома РЖ? В отличие от выпусков РЖ, ценность которых в том, что они реферируют всю, без исключений, печатную продукцию, посвященную определенной области науки и техники за определенный срок, «Экспресс-Информация» — информация выборочная. Это тоненькие тетрадошки с несколькими рефератами или сокращенными переводами только некоторых, наиболее важных статей. Эти публикации снабжены иллюстрациями, чертежами, схемами и цифрами, благодаря чему отпадает необходимость обращаться затем к оригиналу. И если срок выхода тома РЖ исчисляется шестью-семью месяцами и лишь как перспектива намечен срок в два месяца, то «Экспресс-Информация» поступает к потребителю уже через тридцать, максимум сорок дней, а в дальнейшем придет еще скорее.

Вот что такое «Экспресс-Информация», и вот что такое РЖ ВИНТИ, и вот что такое сам ВИНТИ. Согласитесь, что я не мог продолжать разговор о состоянии научной и технической информации в мире, не рассказав хотя бы в самых кратких словах, что такое ВИНТИ — детище советской науки и культуры, возникшее лишь в самые недавние годы, когда на повестку дня всего народного хозяйства Родины была поставлена как очередная неотложная задача догнать и перегнать по уровню производства самые передовые капиталистические страны, когда на повестку дня стало развернутое строительство коммунизма в нашей стране:

И ВИНТИ был создан и сразу стал образцом для всего мира.

Но то, что он был создан так стремительно, сказывается в его деятельности на всем, причем не всегда, к сожалению, положительно.

Он был создан в такие краткие сроки, что ряд лет приходилось добираться к нему по незамощенной дороге.

Для него даже дом не успели выстроить (а ему ведь дом нужен специально распланированный и оборудованный, а не первое попавшееся помещение). Но так как другого не было, ему дали именно первое попавшееся помещение, и сотрудники до сих пор сидят как сельди в бочке в комнатах неудобных и гулких, где сосредоточиться немислимо, где все время приходится мешать друг другу, задевая друг друга локтями и боками, сидят за допотопной формы столами, пользуются допотопной формы ящиками для карточек.

И полиграфическому комбинату дали первое попавшееся здание (кстати, за тридевять земель от института, на станции Панки. Добираться туда приходится по железной дороге).

Но несмотря на все это, лучший в мире ВИНТИ создан, и лучший в мире РЖ — тоже.

Однако теперь, когда наш РЖ уже существует и берегает стране и народу миллионы (или, скорее, даже миллиарды) человеко-дней, теперь как раз и пора особенно пристально взглянуть: а не изжил ли он себя (или изживает)?

Не надо пугаться этой постановки вопроса. Я предвижу, что можно возразить против нее. Как — могут сказать (и справедливо скажут!), — разве позволительно пренебрегать такими весомыми достижениями, о которых, например, сообщает один из заводов? В результате внедрения новых технологических процессов, нового оборудования и приспособлений, при разработке которых были использованы информационные материалы ВИНТИ, заводу удалось сэкономить за год миллион двести пятьдесят тысяч рублей (в старых ценах).

Или завод «Ростсельмаш»? Долгое время там безуспешно бились над задачей получения чугуна повышенной прочности, но который бы легко поддавался термической обработке. Благодаря использованию реферата из РЖ «Металлургия» эта задача была решена.

А знаете ли вы — приведут мне и такие данные, — что общий экономический эффект от внедрения в производство мероприятий, заимствованных из материалов научно-технической информации, составляет только по одному Ленинградскому совнархозу сто двенадцать миллионов рублей (в старых масштабах цен), по Горьковскому совнархозу — сто десять миллионов, по Удмуртскому совнархозу — шестьдесят миллионов?

С другой стороны, факты, которые можно назвать доказательством от противного: извлекается ли нашим народным хозяйством стопроцентная польза из материалов РЖ? Справедливо ли говорить, что РЖ изжил себя, если, несмотря на весь экономический эффект, который он способен дать, о нем сплошь и рядом даже не слыхали еще?

Одна сотрудница редакции РЖ «Металлургия», инженер, рассказывала мне о всяких своих «горестных заметках». Работники редакции РЖ — старшие (а иногда и младшие) научные сотрудники — по несколько раз в год ездят на заводы, проводят производственные совещания, посвященные темам научной информации, особенно важным для этого предприятия или для целой группы соседствующих предприятий. Ездят с удовольствием: кроме того, что им самим приятно «подышать» воздухом производства, это с успехом сказывается на журнале.

— И вот приезжаю я на один металлургический завод — крупнейшее предприятие страны, — делилась со мною моя собеседница. — Затраты на нем измеряются миллионами, возможная экономия от внедрения всяких усовершенствований — также... Познакомившись с заводом поближе, спрашиваю я главного инженера: «Хочу поинтересоваться, — спрашиваю, — достаточно ли вам помогает знакомство с нашим РЖ и с каким экономическим эффектом вам удалось внедрить что-нибудь, заимствованное из него?» — «Простите, а что такое ваш ерже?» Я решила: он шутит. «РЖ, — смеюсь, — это мы сокращенно так называем, по привычке. Но, если хотите, назову полностью. Я — о Реферативном Журнале нашем». — «А-а... Вы, значит, выпускаете Реферативный Журнал? Понял. Но я его не встречал покамест, не приходилось...» Меня даже в холод бросило: для

кого ж мы работаем? Чего ради стараемся?! Ради чего я, инженер, металлург, сижу тогда в редакции?! Разве меня не тянет на производство? Еще как! Однако я же понимаю, что РЖ нужен нисколько не менее, чем работа на производстве! Как будто оглушил меня главный инженер. Пришла после этого к начальнику самого крупного цеха: «А вы как относитесь к РЖ?» И он на меня тоже смотрит, не понимая: о чем это я? Тут уж я прекратила опрашивать руководящих работников завода и отправилась в библиотеку. «Сколько,— допытываюсь,— выписываете экземпляров «Металлургии»? — «Металлургии»? Ни одного. Выписываем только один экземпляр выпуска «Производство чугуна и стали». Для удобства читателей и снижения подписной цены мы теперь разбили все серии РЖ еще на отдельные выпуски. Скажем, в «Металлургии» у нас девять выпусков: «Теория металлургических процессов», «Металлургическая теплотехника», «Производство чугуна и стали», «Металлургия цветных и редких металлов», «Сварка» и т. д. Ведь, к примеру, практика-сварщика не так уж часто интересуют общие вопросы тепловой работы печей — то, что мы даем в выпуске «Металлургическая теплотехника». Прежде он, подписываясь на РЖ «Металлургия», должен был все равно оплачивать стоимость и этого раздела и, кроме того, ждать, пока редакция скомплектует весь том. Теперь мы избавили его от лишнего затрат и от лишнего ожидания целого тома. Индивидуальная подписка в связи с этим резко возросла. Но чтобы заводская библиотека решила на этом «экономить»! «И сколько ж у вас человек,— продолжаю я атаковать библиотекаря,— пользуются этим выпуском — «Производством чугуна и стали»?» Но что я спрашиваю об этом библиотекаря, если сам главный инженер не слыхал о нашем РЖ! Действительно, библиотекарь так и ответил, как я ожидала: «Точно не помню: не то один, не то двое. Скорее, один...»

Создать лучший в мире реферативный журнал и не суметь добиться того, чтобы он приносил наибольшую пользу! Но ведь это то же самое, что отстроить роскошный Дворец культуры и разрешить ему пустовать.

Как негодовал Владимир Ильич, когда видел что-нибудь в таком духе! Вспомним хотя бы его переписку с И. М. Губкиным о замене труб при бурении цементным раствором. Владимир Ильич писал:

«Главнефть.  
тов. Губкину

3.VI.1921 г.

Просматривая журнал «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство»<sup>1</sup>, я в № 1—4 (1921) наткнулся на заметку (с. 199) «О замене металлических труб цементным раствором при бурении нефтяных скважин».

Оказывается, что сие применимо при вращательном бурении. А у нас в Баку такое есть, как я читал в отчете бакинцев.

От недостатка бурения мы гибнем и губим Баку.

Можно заменить железные трубы цементом и пр., что достать все же легче, чем железные трубы, и что стоит, по указанию вашего журнала, «совершенно ничтожную» сумму!

И такого рода известие вы хороните в мелкой заметке архивного журнала, понимать который способен, может быть, 1 человек из 1 000 000 в РСФСР.

Почему не били в большие колокола? Не вынесли в общую прессу? Не назначили комиссии практиков? Не провели поощрительных мер в СТО?

Пред. СТО В. Ульянов (Ленин)<sup>2</sup> (В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 430).

<sup>1</sup> Реферативных журналов в РСФСР тогда еще не было, не то Владимир Ильич, конечно, был бы их первым читателем. Издавались лишь начиная с 1920 года «Сообщения о научно-технических работах в Республике», которые были прообразом Реферативного Журнала совершенно нового типа: в них библиографировались и рецензировались даже неопубликованные работы. «Сообщения» сокрушительно разбивали клевету о том, что научная мысль заглохла у нас.

<sup>2</sup> Иван Михайлович Губкин ответил В. И. Ленину, что это пока лишь не проверенное

Но разве журнал, не дошедший до того читателя, которому он нужен, — не тот же «архивный журнал»?

Правда, система научной и в особенности технической информации у нас не исчерпывается ни Реферативным Журналом ВИНТИ, ни его «Экспресс-Информацией». У нас есть ЦИТЕИНЫ и ЦБТИ — центральные отраслевые институты и бюро технической или научно-технической информации, чьими задачами, в отличие от ВИНТИ, является создание обзорной и рекомендательной литературы по той или иной отрасли техники, то есть литературы, пропагандирующей лишь бесспорные достижения отечественной и зарубежной науки и техники и передовой производственный опыт. Библиографической информацией занимаются и библиотеки. Причем, выпуская собственные бюллетени, также стремятся делать их рекомендательными — е расширенными аннотациями, а то и с рефератами, то есть дублируют чужую работу. Споры нет: все перечисленные организации делают много полезного. Но сколько же в их работе и параллелизма — расточительного, пустого, вредного! И как стойко порою защищают эти порочные позиции те, кто, кажется, больше всех заинтересован в ликвидации любого параллелизма в деле научно-технической информации.

Вот, скажем, такой пример. А. А. Третьякова — автор книжки, которая называется «Методика использования информационно-технических материалов для внедрения передового опыта и определения его экономической эффективности». Брошюра издана Ленинградским домом научно-технической пропаганды в 1959 году. А. А. Третьякова с восторгом и умилением пишет в ней, что слесарь завода «Комсомольская правда» тов. Д — в (Третьякова называет его фамилию полностью, но я не хочу этого делать) часто посещает Дом научно-технической пропаганды, «просматривает все перечни рекомендуемых к внедрению предложений и успешно реализует их на своем заводе. За последнее время т. Д — вым внедрены, например, самоцентрирующий шкивьосъемник, приспособление для расточки отверстий в крестовинах, приспособление для крепления лерок, эксцентриковый экстрактор для извлечения режущего инструмента из шпинделя станка и ряд других (что — других? — Р. Б.). Заимствованные т. Д — вым мероприятия оформлены как рацпредложения» (стр. 6, 8).

Чем же тут восторгаться работнику Дома научно-технической пропаганды? Плакать бы впору! Ведь что получается: что делает носящий такое значительное название «Дом», если передовой опыт других предприятий внедряет на заводе «Комсомольская правда» не он, а т. Д — в, который, кстати, благодаря существующей системе поощрения изобретательства еще, возможно, получает премии за эти «рационализаторские предложения»!

Я ни в какой мере не хочу умалить пользы, которую т. Д — в приносит своему предприятию. Он, конечно, обуреваем самыми добрыми намерениями: помочь заводу. Но почему тех материалов, которые уже приготовил Дом научно-технической пропаганды, не читает руководство завода «Комсомольская правда», а предпочитает выплачивать премии за их «доставку» на завод т. Д — ву? И почему этот Дом ограничивается тем, что подбирает нужные материалы лишь у себя, а не доводит их до сведения завода?

Затхлым духом кустарщины веет от примера, вызвавшего такой восторг у А. А. Третьяковой. И сколько у нас еще этой кустарщины!

...Впрочем, не разбил ли я собственных первоначальных утверждений? Начал с того, что РЖ будто бы уже изживает себя, а кончил тем, что надо еще много и упорно работать, лишь бы добиться должного его использования!

---

опытом частное мнение, извлеченное из американского технического журнала, и потому заменить трубы при бурении цементным раствором еще нельзя.

В. И. Ленин согласился с тем, что это, конечно, меняет дело, но в то же время в его следующей записке И. М. Губкину звучит упрек по поводу недостаточной точности журнала: «...насколько помню, эту, самую важную часть английского текста в русском журнале опустили» (Ленинский сборник, XX, стр. 230).

И тем не менее одно другого не исключает. Да, в деле научно-технической информации у нас еще много и параллелизма и кустарщины; однако когда мы устраним их (а мы их в конечном счете устраним же!), то некоторые другие факторы — те, что не зависят от них, — все-таки останутся. И, несмотря ни на что, подсекут корни РЖ, если он будет продолжать находиться в сегодняшнем состоянии.

Что это за корни?

Я уже мельком упоминал о них. Упоминал, что годовой объем РЖ «Биологии» равняется примерно всей Большой Советской Энциклопедии. Упоминал, что все серии РЖ выходят теперь уже отдельными выпусками, ибо пользоваться целым томом серии стало невероятно трудно: в целом томе труднее отыскивать то небольшое, что только нужно тебе в нем; целый том намного дороже; из-за громоздкости формата он значительно менее удобен в чтении и для хранения; его приходится дольше ждать.

Но и «выпуски» — не предел дробления тома. Науки и дальше будут все более и более специализироваться — это процесс естественный и радостный, поскольку отражает все более глубокое проникновение человека в законы природы и общества. И число публикаций по каждой науке будет без конца увеличиваться, в особенности по мере избавления народов от гнета эксплуататорских систем, прежде всего — капитализма, и, следовательно, по мере приобщения все больших масс человечества к культуре. Все это, конечно, можно только приветствовать. Но если уже теперь существуют как отдельные отрасли библиографии, к примеру, «библиография библиографии естественных наук» — так сказать, библиография во второй степени (и проклевывается в третьей степени: «библиография библиографии библиографии естественных наук»), то спустя пятнадцать—двадцать—тридцать лет, наверно, придется возводить библиографию уже и в четвертую, и в пятую, и не знаю в какую еще степень!

Нет оснований отказываться от справедливого в принципе вывода, что время, которое ученый или производственник тратит на получение информации, есть время, сбереженное им для работы. Но когда он начнет расходовать на эту «экономия» сто процентов своего рабочего дня (а то даже и в полный рабочий день не уложится!), что толку тогда от справедливости принципа!

Так каким же должен быть принцип классификации печатного материала, чтоб он позволил быстро и точно найти любую потребную человеку информацию?

Алфавитный? Тематический? Хронологический? Географический? К сожалению, любой из них обладает, как нетрудно убедиться, тьмой-тьмушей недостатков!

Но раз это так, то, значит, выход следует искать в принципе, который отличался бы коренным образом от всех, известных до сих пор.

А что характерно для применения всех принципов поиска литературы, о которых мы до сих пор говорили? То, что все они рассчитаны на поиск не а в т о м а т и ч е с к и й, на участие во всех стадиях этого поиска человека, причем человека, немало знающего, быстро догадывающегося, хорошо грамотного. Это он должен разобраться, что хоть перевод с одного языка на другой — дело лингвистов, а все-таки информацию о машинном переводе ищи в разделе «Математика».

Однако есть предел и у человеческой памяти. Разве мера способности запомнить («одна человеческая память») не столь же реальна и определена, как, допустим, мера мощности («одна лошадиная сила»)? И разве не назрела уже потребность в такой мере? Посмотрите: запомнить даже то, чем одна наука отличается от другой, чтобы благодаря этому знать, где что искать, — и это уже становится не под силу человеку.

Где же выход? Если человек не справляется, выход в одном — в машине. Теперь, с успехами кибернетики, появилась возможность дублировать кое-какие умственные процессы деятельности человека. Библиография, конечно, не может быть в этом не заинтересована.

Что же можно дублировать, что можно механизировать?

Во-первых, все библиографические описания. Машина способна «выбрать» сама из поступившего материала фамилию автора, название статьи, сведения о месте и дате издания и т. д.

Это уже громадная помощь в деле поисков информации. Используя такую машину, можно буквально в считанные дни знакомить читателя со всеми последними поступлениями. Если же применить для этой информации не списки, а карточки (на каждую публикацию в отдельности), то любой подписчик, будь то научный работник, инженер, техник, студент, рабочий, колхозник-новатор, сумеет далее сам составить из них собственную справочную карту.

Затем можно использовать электронные машины для составления авторских, предметных, патентных и некоторых других указателей. Это ускорит их выпуск во много десятков раз.

Машина выполнит и переводы — тоже неоценимое подспорье. Конечно, она не переведет Гейне так, как это сделал Лермонтов в «На севере диком стоит одиноко...». Но для научной статьи это и не нужно.

Однако заменит ли машина человека в составлении реферата?

Одно дело — библиографическое описание, перевод — работы, требующие лишь того, чтобы были отысканы определенные, не выходящие за рамки уже доступных машине, слова и словосочетания. А другое — реферат. Здесь прежде всего важно оценить, что существенно, а чем можно пренебречь, причем исходя не из формального анализа словосочетаний, а из анализа даже таких тонкостей, как «бесцветные», казалось бы, слова вроде «автор считает»; «автор утверждает». Ведь и они способны придать мысли автора особый оттенок — сомнения или утверждения. Машина этого не «поймет»! Далее. При оценке реферируемой статьи приходится выявлять, что в ней нового, то есть такого, что прежде не было известно никому, а следовательно, не могло быть удовлетворительно запрограммировано в машине. Затем оценка предполагает наличие прогноза референта: насколько выявленное им новое перспективно. Но если новое неизвестно машине, то тем более она не может составить никакого приемлемого прогноза.

Машина в состоянии дублировать и ускорять лишь те функции умственной деятельности человека, которые удается свести покамест к простейшим, к механическим, например к счету. Но всегда в умственной деятельности человека останется нечто высшее, что не под силу никакой машине, поскольку она не владеет веществом мозга: останется возможность принимать неожиданное решение. И, как известно, такие решения далеко не всегда, к счастью, — свидетельство наступающего безумия. Куда чаще они — смелый рывок в будущее. Машина же, делающая такой «ход конем», только «сумасшедшая», просто-напросто неисправная, нуждающаяся в ремонте. И все.

Ну, хорошо; предположим, машина никогда не напишет реферата лучше человека. Но кто сказал, что сам-то по себе реферат обязателен? Кто сказал, что он — лучшая из возможных форм информации? Это же неверно в принципе. Лучшая информация — чтение оригинала. Реферат родился на свет как раз в результате того, что читателю стало трудно разыскивать и получать оригинал.

Бесспорно, реферат проглотить легче: он компактнее оригинала. Но ведь это существенно только в одном случае — если цель просмотра рефератов исключительно вспомогательная, предварительная: чтобы они помогли решить, какие же все-таки читателю необходимы оригиналы. Конечно, в этом случае чем реферат отнимет меньше времени, тем лучше. Но если удастся каким-нибудь иным способом известить читателя, что нужный ему материал ждет его в такой-то и в такой-то статье, а все остальные ничего не дадут, что ему тогда до краткости или пространности реферата?

Что и говорить, путь, конечно, заманчивой: читатель излагает запрос (дескать, ищу ответа на то-то и то-то) — и сразу же получает готовую информацию, очищенную от всего лишнего.

Мечта?

Да, мечта. Но такая, к осуществлению которой уже активно ищут пути. Если, предположим, химику требуются все сведения «о некотором заданном химическом соединении»<sup>1</sup>, то машина способна уже сегодня — причем за долю секунды! — выдать ему всю необходимую информацию. А ведь число известных науке «химических соединений уже превосходит миллион, а число описанных конкретных химических реакций достигает многих миллионов»<sup>2</sup>. Сколько же времени должен был бы просматривать их человек!

Правда, я не случайно вынужден был прибегнуть к примеру именно из области химии. Дело в том, что в этой науке ряд решающих для нее сведений о химическом составе веществ можно выразить не словами, а структурными формулами. Человечество давно уже прибегает для удовлетворения многих своих потребностей к этому языку. Перо, которым оснащали дикари какую-нибудь срочную весть, — сигнал того, что ее следовало доставить незамедлительно; международный морской код — сигнализация флажками или морзянкой; стрела или рука с вытянутым указательным пальцем — «следуйте в этом направлении» — все явления одного порядка. Как бы различно ни произносились такие сигналы на различных языках — условный код или графическая стрелка всеми будут поняты одинаково.

Конечно, на таком языке людям между собой сговориться легче. Но, к сожалению, чересчур небольшое число понятий обнимается им.

А вот в химии, к счастью, — почти что все. Поэтому и машине легче иметь с ними дело.  $H_2O$  — во всех случаях жизни  $H_2O$ , тут машина ничего не упустит! Машину спросят, например, в каких структурных формулах встречается  $H_2O$ ? И немислима опасность, что машина собьется, спутается, где-то пропустит  $H_2O$ , потому что в этом «где-то»  $H_2O$  укрылось под «псевдонимом». Это не вопрос о наличии, предположим, богатств в недрах Кольского полуострова, который можно выразить десятками, сотнями, а то и тысячами р а з н ы х ф р а з. В химии  $H_2O$  иначе не выразишь, как только через  $H_2O$ !

А чтобы машина точно отвечала, ее надо точно спрашивать. Химия, равно как математика, приспособлена сегодня к этому лучше всех остальных наук.

Но, конечно, придет такое время, когда удастся разработать однозначный язык и для всех других дисциплин, и это сыграет огромную роль в механизации поиска нужной информации в л ю б ы х областях знания.

Над всем этим: и над проблемой «машинного языка», без которого машину ни о чем толком не спросишь; и над тем, чтобы обеспечивать читателя сразу нужным оригиналом, минуя реферат; и над тем, как, до тех пор пока все это еще не создано, упростить пользование ныне употребляемыми РЖ; и над созданием самых совершенных систем классификации литературы — над всем этим и еще над десятками смежных проблем бьется сейчас коллектив ВИНТИ и творческая мысль многих и многих библиографов и специалистов в области информации во всем мире. Ибо проблемы информации — проблемы необычайно широкие. Это не только поиски способа быстро выдать читателю нужную ему статью и книгу. Это в такой же степени вопрос и о том, как строить курс любой дисциплины во всех наших учебных заведениях, начиная от школы и кончая вузом.

Все громче и громче раздаются голоса школьников и учителей, студентов и профессоров: учащиеся задыхаются от громадного количества сведений, которые требует с них программа! Они не в состоянии запомнить столько! А ведь программы увеличиваются еще и еще, ибо непрерывно и стремительно развиваются науки, которые они обязаны отразить!

Как же быть?

<sup>1</sup> Л. И. Гутенмахер. Электронные информационно-логические машины. Изд. АН СССР. 1960. стр. 169.

<sup>2</sup> Там же, стр. 159.

Мне кажется, что то или иное решение проблем информации имеет и к этому существеннейшему вопросу прямое касательство.

Из чего практически до сих пор исходят составители учебных программ? Из того же, из чего исходили их предшественники два, три, четыре столетия назад, когда книга была редкостью, когда цена ее была такой высокой, что только считанные счастливицы могли надеяться всегда иметь под рукой нужное им издание. Тогда поневоле человек, прошедший какой-то курс наук, обязан был в дальнейшем рассчитывать в своей практической работе только на собственную память. Составитель учебной программы с него и спрашивал: а все ли ты за помнил? И экзаменатор тоже коршуном глядел: а не пользуешься ли ты тайком от меня каким-нибудь справочником? Ах, пользуешься? Тогда кол тебе! На работе у тебя справочников не будет!

Теперь все это не так: Будут справочники на работе и у инженера, и у техника, и у рабочего! Больше того — будет много справочников! И книг будет много. И трудность уже заключается в том, что их будет с избытком. И поэтому надо заранее научить, как отыскивать в них нужное, а не бояться того, что человек лишний раз заглянет в книгу. Лишний раз не беда. Беда вот, если, заглянув сто раз, человек выяснит, что не сумел найти нужного, потому что не подготовлен, как искать.

С необычайной остротой встанут сейчас некоторые практические вопросы: с одной стороны, пересмотр буквально всех учебных программ под углом зрения того, что человек, закончивший какой-либо курс, будет затем постоянно иметь в своем распоряжении очень много подсобных материалов по этому курсу; а с другой стороны, в старших классах школ и в вузах надо совершенно безотлагательно начать обучение людей тому, как практически пользоваться услугами библиографии. Научить человека любить книгу — это прежде всего научить человека, как найти ту книгу, которая ему нужна!

\* \* \*

Ученый, который знает все... Какая древняя это мечта — о мудреце, чьему умственному взору открыто все на свете, чей взгляд проникает и в толщу земли и в души людей, постигает все явное и тайное ведает тоже. Древняя страстная и прекрасная мечта. Но вот ведь странно: казалось бы, чем человек делается образованнее, тем больше он должен был бы избавляться от этой наивной мечты. Ведь понимает он уже, что не может существовать такой ученый, который знал бы все.

Но мало ли что — понимает... А все-таки хочется! Нестерпимо хочется, чтобы все-таки был, — наперекор всему, а был бы! — такой кудесник на свете, который все-все знает!

Потому что не только слабость человеческую отражает эта мечта возложить на плечи кого-то другого; чтобы он знал все (а значит, и за тебя самого все бы знал!), но и сила человеческая в этой мечте живет: великолепная уверенность человека в самом себе, в том, что все-таки все человек в состоянии познать!

Хотите навестить ученого, который знает все?

Поезжайте на московском метро до станции «Сокол», а там отправляйтесь по адресу: Балтийская улица, 14, ВИНТИ. Этот ученый живет там. И дорога к нему уже замощена.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Д. ДАР, А. ЕЛЬЯНОВ

★

## ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ

### СНОВА В ПУТЬ

**К**огда мы решили проехать на мотоциклах пятнадцать союзных республик, мы лишились покоя: с нами захотели поехать двенадцать знакомых студентов, семь школьников, два молодых писателя, одна немолодая поэтесса, один инспектор ГАИ, один известный радиореporter, один боксер-перворазрядник и еще двадцать три человека разных профессий и возрастов.

Все они звонили нам по телефону, обещая выучиться водить мотоцикл, получить четырехмесячный отпуск и безропотно переносить все дорожные трудности. Мы отвечали измененными голосами, что нас нет дома, но нам не верили и обижались.

Мы хотели, чтобы нашим попутчиком, как и в прошлые годы, стал кто-нибудь из литературного кружка «Голос юности».

Этот литературный кружок существует уже много лет. В нем занимаются воспитанники ремесленных и технических училищ Ленинграда. Старший из нас больше десяти лет был руководителем этого кружка, а младший пришел в кружок пятнадцатилетним пареньком-ремесленником; сейчас он уже и сам обучает будущих слесарей и механиков.

Путешествовать вместе мы начали семь лет назад. Но первые путешествия даже не называли путешествиями, просто после занятий кружка все вместе отправлялись бродить по городу, по улицам и набережным, мимо замечательных ленинградских дворцов и ничем не приметных домов. И нам это очень нравилось. Ребята, в большинстве приезжие, открывали город, как новую книгу, а старшему было радостно смотреть на все их глазами. Оказалось, что раньше мы ходили по городу совсем иначе: просто шли домой или из дому и ничего не замечали. А можно ходить так, что каждая улица и каждый перекресток будет рассказывать о себе массу интересного. Мы увидели, например, дом, в котором собирались декабристы, увидели травинку, пробившуюся сквозь трещину в асфальте, увидели мальчугана в пионерском галстуке и очках, который сидел на скамейке в Михайловском саду и самозабвенно читал толстенный том энциклопедического словаря.

По воскресным дням мы отправлялись пешком в Сестрорецк или Пушкин.

Чем больше мы путешествовали, тем острее чувствовали то беспокойство, которое знакомо каждому путешественнику: ведь за Сестрорецком есть Зеленогорск, а за Зеленогорском — Выборг. За Пулковом есть Чудово, а за Чудовом — Новгород. Слишком короткой казалась дорога, которую мы успевали пройти за день. Слишком коротким казался день. Слишком коротким казалось лето.

На следующий год у нас уже были велосипеды.

Теперь мир стремительно мчался навстречу — море и небо, дома и деревья. Скорость, как высота, меняет масштаб, которым мы измеряем мир: если раньше наше внимание привлекала травинка, то теперь — поле; раньше — дерево, теперь — лес.

Мы уезжали на много дней. Неделями не возвращались домой. Ночевали на сеновалах, в жарких деревенских избах, на узких гостиничных койках. В то лето мы объездили всю Прибалтику.

Мы были уже отравлены жаждой странствий, приключений, неудобств и случайных встреч. Нас манило пространство, и во всех карманах протирались географические карты.

Через год мы установили на своих велосипедах маленькие моторчики.

На велосипедах с моторчиками проехали за два лета около десяти тысяч километров: в 1958 году совершили путешествие по маршруту Ленинград—Сухуми—Одесса—Ленинград, а в 1959 году попытались проехать все пятнадцать союзных республик. Но пока добрались до Караганды, лето уже кончилось, и пришлось возвращаться в Ленинград. И мы поняли, что скорость — это такая штука, которой всегда недостаточно.

Стоя под осенним дождичком на улицах Караганды и видя, как лихо проносятся мимо мотоциклисты, которым ничего не стоит «выжать» семьдесят—восемьдесят километров в час, мы сказали себе: «Ну что ж? Еще все впереди».

### МЫ ВЫБИРАЕМ ПОПУТЧИКА

По опыту прошлых путешествий мы знали, что выбрать попутчика — это самое важное; даже важнее, чем выбрать вид транспорта. Мы уже не раз убеждались, что человек может быть отличным товарищем в Ленинграде и никуда не годным товарищем в дороге.

Нам вспоминался Вася К. Это было много лет назад, когда мы еще думали, что от попутчика требуется только хороший характер, отличное здоровье и готовность переносить всякие неприятности без нытья. Этим требованиям Вася полностью удовлетворял. К тому же его никак нельзя было назвать «маменькиным сыночком». Его детство проходило сначала в детском доме, а потом в общежитии ремесленного училища. Так что парень он был тертый. «С таким, — думали мы, — не пропадешь!»

Но на первом же привале он спросил: «Где консервы?» Мы показали, где консервы, хотя укладывали их все вместе. Потом он спросил: «А чем их открывать?» Потом он спросил: «А чем их есть?»

Мы терпели день, второй, третий, но когда на четвертый день остановились переночевать в какой-то гостинице и, войдя в отведенную нам комнату, услышали Васин вопрос: «А где здесь выключатель?» — мы поняли, что путешествие испорчено.

Нам вспоминался и Витя С. Он ездил с нами в Прибалтику. Тогда мы еще не знали, что в пути даже достоинства человека иногда могут стать его недостатками.

Витя знал тысячи забавных историй. «С ним не соскучишься», — говорили у нас в кружке. И действительно, его можно было слушать хоть до утра. Но в Ленинграде мы встречались один-два раза в неделю, а в пути были вместе изо дня в день.

Как только мы просыпались, Витя сразу же начинал рассказывать что-нибудь интересное. Мы все время слышали его забавные истории. Даже на ходу он пытался рассказывать.

Уже через неделю мы больше не могли его слушать. Мы умоляли: «Помолчи хоть минуту». А он обижался. Но мы вовсе не думали его обижать, нам просто хотелось хоть иногда услышать пение птиц или помолчать и подумать о своем, и путешествие было испорчено.

Готовясь к новому путешествию, мы вспоминали всех наших неудачных попутчиков и удачных вспоминали тоже.

Герман поехать не мог — у него заболела бабушка. Володя женился и хотел ехать только вместе с женой. Очень просился в путешествие Костя, но он любит выпить. Он, конечно, не пьяница, но от рюмочки никогда не откажется. А в пути

нам будет предложено немало рюмочек-и стопочек. Но у нас существует неписанный закон: в дороге ни грамма спиртного.

Так, перебирая одного товарища за другим, мы остановили свой выбор на Алексее Ковалеве.

Он появился в нашем кружке много лет назад, окончив ремесленное училище в Ярославле и приехав в Ленинград поступать в индустриальный техникум. Он был тогда высокий сухощавый парень, молчаливый, медлительный и застенчивый. Он сел в уголок и тихо спросил: «В чем смысл жизни?» Мы ответили, как умели. Тогда он спросил: «Что такое счастье?» Мы ответили и на этот вопрос. Тогда он спросил: «А как отличить истину от лжи?» И так всегда и повсюду: где бы он ни был, в мастерской, в кино или в трамвае — он доискивался смысла, цели и истины.

Мы очень его полюбили. Вместе с нами он бродил по городу и совершал первые велосипедные путешествия. А когда окончил техникум, то уехал на родину, в Ярославль, и стал мастером в том ремесленном училище, где раньше учился сам. И все время писал нам письма.

Однажды мы получили от него такое письмо: «Если вы не возьмете меня в путешествие, я все равно отремонтирую свою «макаку» и поеду за вами».

Мы знали, что Алексей Ковалев слов на ветер не бросает. Как он сказал, так и будет. И мы послали ему телеграмму: «Готовь мотоцикл. Жди Ярославле».

И не пожалели об этом.

### ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА — В ПРОШЛОМ

И вот мы снова в пути. Опять над нами громадное небо, какого не увидишь в городе, и под нами громадная земля, изрезанная реками и дорогами, а вокруг — леса и поселки.

Мы мчимся вдоль берега Невы на мотоцикле с коляской. Это ИЖ-56. Он лобастый и рогатый. Мы еще не привыкли ни к его скорости, ни к гулу, ни к третьему колесу. И все еще не верится, что теперь не нас обгоняют автомобили, а мы обгоняем их.

Со всех сторон к мотоциклу привязаны канистры, рюкзаки и различные свертки. На сиденье коляски уложена одежда: одежда на случай дождя, одежда на случай холода и те пиджаки и брюки, которые мы будем надевать в городах, чтобы нас не приняли за бродяг.

Один из нас восседает на одежде, как на троне. И на выбоинах взлетает так высоко в воздух, что другой с тревогой посматривает, попадет ли он обратно в коляску или шлепнется на дорогу.

Первую остановку вы делаем в прошлом. Это Невская Дубровка. Справа — редкая сосновая роща. Слева — бугристый, поросший травой пустырь. За ним — Нева. На том берегу — завод и новый поселок.

На пустыре растут молодые деревца. Они еще совсем тонкие и нежные. За младенческой зеленью листьев — небольшой обелиск. Это памятник погибшим здесь бойцам.

Осенью 1941 и зимой 1942 года здесь шли тяжелые бои. С трех сторон были немцы, с четвертой — Нева. Этот небольшой клочок берега тогда называли пятачком. Каждый день через Неву сюда переправлялось пополнение из Ленинграда. Обратное с «пятачка» возвращались немногие.

Мы пошли мимо обелиска по неглубоким рвам и ямам, заросшим влажной от росы травой и полевыми цветами. Мы шли все дальше и дальше к той холодной октябрьской ночи, когда старший из нас лежал где-то здесь раненый, в воронке от снаряда.

Когда я пришел в сознание, то увидел над собой кровавую тучу. Она была совсем низко, тяжелая, набухшая; казалось, что вот-вот упадут на лицо **красные липкие капли,**

Я никогда не видел такой тучи и не мог понять, отчего она такая. И вдруг вспомнил, что на нашем берегу уже несколько дней горит завод. Днем пламени не видно, только черные клубы дыма, а ночью дым становится багровым и на небо отбрасывается зарево. И сразу же мне вспомнилась тесная нора, которую вырыли в глубине землянки бойцы моего взвода. Я забирался в эту нору, свертывался там и, засветив фитилек в консервной банке, прочитывал все газеты, которые приносили из батальона. Я вспомнил, как учился командовать: меня считали интеллигентом, и мои вежливые приказания звучали неубедительно. А потом — переправа через Неву, доверчиво прижавшиеся ко мне в лодке бойцы моего взвода, и разрывы мин, и фонтаны воды, и берег. Он открылся мне, когда в небе повисла осветительная ракета, и в неправдоподобном освещении я увидел пустынную мертвую землю и обугленные стволы деревьев с обрубками голых ветвей. А потом — траншея. Засыпанные землей серые шинели солдат. Нарастающий гул голосов. Последняя папироса в кулаке. И нестерпимое ожидание. И вот сигнал атаки. Я лезу из траншеи, падаю обратно и лезу опять. И это уже не я, а кто-то другой, который оставил смерть позади, и теперь ему ничего не страшно. Он пробежал несколько шагов, сжимая автомат и что-то крича, но вдруг толчок, и уже не он, а я полетел куда-то кубарем.

И вот кровавая туча надо мной и крепко стиснутый в кулаке комок мокрой глины. Мне очень холодно, я не могу шевельнуться, даже приподнять голову, только пальцами нащупываю что-то теплое, мокрое и липкое.

Наверное, я часто терял сознание, а когда приходил в себя, казалось, что ночь никогда не кончится и что мое тело — оно никогда еще не было таким моим — стало ватным, тряпочным и кто-то рвал его в клочья.

Однажды я различил одинокий пучок травы на фоне светлеющего неба и повисший надо мной приклад винтовки. Было тихо. Ни выстрелов, ни голосов. Я выглянул из воронки. Кругом — серые глыбы земли, обгоревшие пни и культияпки деревьев. Я понял, что не знаю, где наши, а где немцы и куда ползти. Это было самое страшное из всего, что я пережил на войне. Мне показалось, что я остался один на земле, во всем мире, и стало так жалко себя и так некого было стыдиться, что я заплакал.

А когда в следующий раз вернулось сознание, уже рассвело, и небо надо мной было как гранитная плита. Очень хотелось пить. И ни о чем другом я не мог думать. Мне увиделась раковина в кухне, и водопроводный кран, и струя воды, под которую можно подставить стакан, или кружку, или пригоршню. Вспоминался горячий чай в синей пузатой чашке и одеяло — шершавое и родное. Я натягивал его до подбородка, а когда было холодно, покрывался им с головой. И тогда я понял, что нет в жизни больших благ, чем прильнуть губами к чашке с горячим чаем, накрыться теплым одеялом, услышать участливый голос.

— А теперь? — спросил младший. — Теперь вы тоже так думаете?

— Теперь? — повторил старший. — Если сказать по правде, так теперь мне мало этих благ, но каждый раз, когда мы с тобой пьем чай из нашего термоса или ложимся на кровати с чистыми простынями, мне хочется сказать: «Ну, и счастливые же мы с тобой люди!»

### СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ

Ночевали в маленьком городке Новая Ладога. Ночь была такая светлая, что, открыв глаза, старший подумал, будто уже день. Он растолкал младшего и с ужасом сказал, что мы, кажется, проспали, и только потом взглянул на часы. Оказалось, что еще нет пяти. Но спать уже расхотелось.

Дорога шла прямо на восток, прямо к нежной заре на нежном небе. Но старшего несколько не радует красота природы, когда в наших баках мало бензина, а запасные канистры пусты. Его даже раздражает, если младший со свойственной его возрасту беспечностью думает в это время не о бензине, а о чем-нибудь другом.

Недалеко от Сясьстроя мы остановили встречный грузовик. Молодой шофер явно не выспался. Он был зол и даже не открыл дверцу кабины.

— Некогда мне тут валандаться с вами, — сказал он, — еду в Ленинград.

Он уже тронулся с места, но на секунду притормозил.

— Куда собрались, на рыбалку или на охоту?

У него были маленькие презрительные усики. А лицо — завязтого танцора и покорителя девичьих сердец.

Мы сказали, что собрались проехать все пятнадцать республик.

— На этой тарактелке?

Вот теперь он проснулся. Заглушил мотор. Вылез из кабины. Он ходил вокруг мотоцикла, трогал пустые канистры, запасную резину, проверял прочность багажника.

Через пять минут он уже предлагал не только наполнить бензином наш бак и канистры, но даже написать записку своему «брательнику», чтобы тот дал нам новый аккумулятор, который «брательнику» совсем ни к чему.

Хорошо ехать рано утром, когда бак полон бензина и мотоцикл рвется вперед так, что его не удержать. Вот тогда можно наслаждаться природой. А наслаждаться было чем: справа — весенний лес, а слева — безбрежное, как море, зеленоватое Ладожское озеро.

Проехали поселок Пашский, перевоз и маленький старинный город Лодейное Поле. И там и там строились новые каменные дома. Есть ли вообще сейчас в Советском Союзе хоть один городок, где бы не строились каменные дома? Что-то мы таких не встречали.

Остановились в красивом поселке. Вдоль улицы — небольшие коттеджи с приветливыми крылечками и застекленными верандами. Розовые, белые, голубые. Это поселок 3-й Свирской гидроэлектростанции. Здесь было очень тихо — и в домах и на широком пустынном шоссе. Могучие опоры поддерживали провода высокого напряжения, которые провисали от своей тяжести. Опоры были похожи на великанов. Великаны занимались гимнастикой. Одни вытянули руки вверх, другие раскинули в стороны, а третьи выжимали руками поперечные перекладины.

А вокруг тишина. Но если прислушаться, то кажется, что идет мелкий частый дождик — шорох, хруст, потрескивание, будто все вокруг насыщено электричеством...

В столовой свирских электриков к нашему столику подсел пожилой человек, чисто выбритый, в ладной синей спецовке — инженер или механик. Узнав, кто мы и куда путь держим, он сказал:

— Зря будете тратить лето. Писать надо только об электричестве. Оставайтесь здесь и пишите книгу. Ах, какая это может быть книга!

Он готов был рассказывать нам об электричестве хоть до вечера, а когда мы спохватились, что пора ехать, он поглядел на нас с сожалением и грустью.

— Зря, — сказал он, — право, зря. Сидели бы здесь и писали книгу. А я рассказал бы вам столько интересного!

Он вместе с нами вышел из столовой и долго смотрел вслед. Когда мы оборачивались и видели его, нам было немножко стыдно: может быть, действительно правильнее было бы остаться тут и написать книгу об электричестве?

За районным центром Подпорожье дорога пошла лесом. То вверх, то вниз. Деревни здесь встречались редко. Мы ехали быстро. Ночевать предполагали в Вытегре. Вдруг мы услышали тонкий протяжный свист, и мотоцикл стало мотать из стороны в сторону.

Первый прокол.

В Ленинграде нас предупреждали: размонтировать мотоциклетное колесо не так просто. Без тренировки изрядно помучаетесь.

Потренироваться мы не успели. Ну что ж, будем мучиться.

Было уже почти два часа ночи, когда покрывка наконец села на обод и мы взылись за насос. Качали долго и отчаянно — новая камера выпускала воздух. Мы прыдывали ее монтажной лопаткой.

Силуэт мотоцикла смутно чернел среди осинника. По радио передавали джазовую музыку. На дороге не было ни машин, ни прохожих.

Что делать? Ехать со спущенной камерой — погубим покрышку. Ночевать в лесу — холодно и сыро. Решили завести мотор и потихоньку дотащить мотоцикл до ближайшей деревни.

Деревня спала. Хотя бы в одном окошке свет! Все окна темные, все двери заперты.

Мы ходили от дома к дому, стучали в окна: «Хозяева!.. Хозяева!..» Хозяева не откликались. Только в одном доме открылось окно, и мы увидели баба-ягу. Ключьями седые волосы, крючковатый нос почти касается крючковатого подбородка. Глаза глубоко запали, с красными веками. Во рту всего два зуба, длинных и желтых. На лбу сажа, будто баба-яга только что вылезла из трубы.

Мы еще не успели ее ни о чем попросить, как она сказала:

— Ночуйте, милые. У меня всегда шоферы ночуют. Сейчас дверь отворю.

Мы вошли в темную комнату, и баба-яга, не зажигая света, стала устраивать нам постель на полу. Она была глуховата и, спрашивая нас, не слушала ответа, а все говорила сама.

Мы улеглись на старых овчинах, а она устроилась на лежанке возле печки и долго еще бормотала, кряхтя и охая.

— Ох, милые, — говорила она, — уж больно я стара, все косточки болят. Семьдесят восьмой год пошел. Из Ленинграда, што ли? Поди, в Вытегру? У меня внук тоже шофер. Леонид. Может, знакомы? Ох, не спится мне что-то, старой. Сон не берет. За день намаешься, а ночью ноженьки ноют. У меня сын в Соколе живет. Слышали — Сокол? Механиком он там. Хорошо живет. Квартира у него из двух комнат. А я вот с дочкой. Мужа у нее на войне убили, пятеро внуков осталось. Хлебушка-то не было, так я с внуками траву собирала, лепешки пекла. А теперь за правнуками хожу. Одному пятый годок, другому два годика. Из Ленинграда, што ли? А в Соколе не бывали? Гостила я у сына прошлую зиму. Сам за мной приехал. «Хватит, говорит, тебе работать. Поедем, поживешь как барыня. Сиди, говорит, пей чай под радио и песни пой». В деревне жила, так ни одной песни не знала, а тут все как есть выучила. Песни-то я пою, а сердце по дочке болит. Как-то она без меня управляется? И так жалко мне ее, так жалко. Все сижу и плачу. «Уеду», — говорю. А сын не пускает. «Чего тебе, старая? Мало ты за свою жизнь маялась? Отдохни на старости». А я как порешила уехать, так мне ничего больше не надо. Не ем, не пью, все в окошко смотрю — когда пароходы пойдут?

Так она бормотала и бормотала, кряхтя и охая.

А утром мы увидели ее при свете. Она оказалась совсем иной — высокая и сутулая; у нее были сильные руки, цвета древесного корня, с набухшими синими венами, жесткие руки, привычные к земле, навозу, золе.

Сколько огородов они вскопали? Сколько испекли хлеба, выгребли золы, перестирали тряпок? Сколько вынянчили детей и внуков? Каждая морщина и трещина на этих руках — след труда, терпения и любви. Это были святые руки старухи, которые вырастили и вскормили всю красоту и молодость на земле.

## ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

В Вытегре был разведен мост. По реке прошел пароход, почти такой же ширины, как сама река. Казалось, что он с усилием протискивается между домишками, садиками и огородами.

Вытегра — городок старинный. В этом одноэтажном деревянном городке очень много машин и прохожих. На улицах — яркие лозунги о семилетке и Волгобалте.

Пока ждали переезда, заглянули в городской музей. Там было много ребятишек, все они собрались в одном зале, где среди чуел и макетов смешно и жалобно урчал маленький живой косматый экспонат. Он стоял на задних лапах в клет-

ке-и выпрашивал конфеты. Несколько дней назад этого медвежонка поймали в лесу, недалеко от города и поместили в музей рядом с макетом гидроэлектростанции.

За Вытегрой встретили цыган. Они шли шумной и пестрой толпой, похожие на стаю заморских птиц. Впереди — лошадь с бумажными цветами в гриве. На телеге — лопаты, ломы, топоры. Цыганки — в широких длинных юбках, ярких шалях. Можно было подумать, что это ансамбль цыганской песни и пляски. Но это бригада строителей Волгобалта.

Несколько лет назад они остановились табором возле Вытегры. Здесь их застал закон о поселении. Для цыган освободили два барака, всех детей и всю молодежь от восьми до двадцати пяти лет записали в первый класс школы.

— Дай погадаю, начальничек, — сказала немолодая цыганка, побренькивая монетками на шее. И вдруг не то похвасталась, не то пожаловалась: — Вот власть наша советская — цыгане плотину строят!

— Ну и как?

— А что ж! — Она лихо мотнула широченной юбкой. — Цыгане всегда довольны... Дай прикурить.

Дорога поднялась на холм, и мы оказались как бы на островке среди черного океана лесов. В одном месте лес расступился, и там возвышались громадные бетонные стены, похожие на стены высокого недостроенного цеха, — железные связи арматуры напоминали скелет какого-то чудовища.

Строители уже ушли домой. Как бы на полуслове и полужесте замерли подъемные краны, экскаваторы, вагонетки. От этой немой неподвижности вся громадная стройка казалась частью природы, такой же молчаливой, незавершенной и монументальной, как скалы, как лес, как берег реки.

Эту запись делаем в поселке Белый Ручей. Здесь строится много домов — целые улицы.

Ночевали у лесоруба пенсионера Николая Фомича Лобанова. У него новый дом. В доме — привезенная из Ленинграда мебель, ковры.

У Николая Фомича три сына. Старший окончил в Ленинграде Политехнический институт и сейчас работает инженером в Иркутске. Второй — тоже инженер и тоже в Сибири. Третий — тракторист. Живет вместе со стариками. Это белокурый красавец с широкой грудью и чугунными мускулами. У него есть новый мотоцикл, охотничье ружье, замысловатые спиннинги.

— Зарабатывают у нас будь здоров! — говорил он, сидя на диване, босой, в белой майке. Он раскинул загорелые руки на спинке дивана и покачивал на колене маленького белокурого здоровячка сынишку. Молодая жена весело шила на швейной машине. Уютно мурлыкала кошка. пышно росли фикусы.

— Поди скучно все ездить да ездить, — жалел он нас. — Ну что за интерес, не понимаю. Чего смотреть-то? Вот я радио включу и все буду знать. А то в кино пойдем. И книг у нас на этажерке вон сколько! Чего ездить-то?.. Ну разве в командировку...

Когда мы намечали маршрут, то называли столицы республик и областные центры. О таком городке, как Белозерск, мы даже не думали — он был всего лишь точкой на географической карте. А здесь говорят: «Теперь уж недалеко до Белозерска... Когда я учился в Белозерске... Когда я поеду в Белозерск...», — и мы считаем километры, оставшиеся до Белозерска. Там райисполком, редакция, гостиница, ресторан. Там можно позвонить в Ленинград, купить свежие газеты, заварить крыло мотоцикла. И нам становится странно, что до сих пор мы так безразлично относились к Белозерску, к Вытегре, к Новой Ладогге, к сотням других городков, названия которых напечатаны на карте самым мелким шрифтом.

**ЗДРАВСТВУЙ, АЛЕКСЕЙ!**

Ярославль был врезан в закатное небо трубами заводов, прямоугольниками зданий, золочеными куполами церквей.

Алексея Ковалева искали долго. Ни прохожие, ни милиционеры не знали, где та улица, которая нам нужна. Одни посылали в одну сторону, другие — в другую.

Мы объездили весь город, блуждали в лабиринтах заводских корпусов и заборов, несколько раз выезжали к высокому берегу Волги. Дважды пересекли старинную площадь — там, как русские кустарные игрушки, стояли нарядные церковки, обнесенные строительными лесами.

Потом очутились в такой части города, где самому старому дому не больше пяти лет, а самый молодой еще не покрыт крышей. Улицы здесь были разрыты, лежали трубы газопровода. Кучи песка и шпалы обозначали будущую трамвайную линию.

Возле одного дома увидели мотоцикл без одного колеса. Только отдаленно он напоминал «макаку» — так мотоциклисты называют марку К-125. Все в нем было переделано: подвески, вилки, багажник. Все было необычное, нестандартное. Мы вспомнили нашего Алексея Ковалева, его страсть все переделывать по-своему и поняли, что этот мотоцикл может принадлежать только ему.

Вошли в длинный коридор. Там было много дверей. Из одной комнаты слышался негромкий голос. Кто-то говорил не спеша, уверенно и страстно:

— Я думаю, что самое тяжкое преступление — это ложь. Неважно, большая или маленькая. За ложь я расстреливал бы как за убийство.

Мы уверенно раскрыли дверь и увидели его. Он сидел на корточках и снимал покрышку с мотоциклетного колеса. Его плечи, локти и колени торчали острыми углами, будто весь он был собран из детского конструктора. А двое мальчишек-ремесленников слушали его, боясь проронить хоть слово.

Здравствуй, наш добрый искатель истины!

**МЫ ВСПОМИНАЕМ «ГОЛОС ЮНОСТИ»**

Всю ночь мы вспоминали Ленинград, Дом культуры трудовых резервов и наш литературный кружок «Голос юности».

И что в нем такого, в этом кружке, похожем на сотни других литературных кружков? Почему он так связал нас на всю жизнь? Почему мы так рады, когда получаем письма от Павлика Басова, Лени Артеменко, Игоря Румянцева? Сейчас они взрослые люди, женаты, имеют детей. Басов работает бригадиром плотников на Чукотке. Скоро выйдет в свет первая книга его рассказов. Артеменко — мастер ремесленного училища в Воронеже. Он кончает университет. Его стихи нередко печатаются в журналах и газетах. Румянцев заведует клубом в забайкальской тайге на золотых приисках. Он пишет роман о своей таежной жизни и два раза в год присылает нам телеграммы с подписью: «Джек Лондон».

А мы их помним совсем молодыми парнями в синих форменных гимнастерках или кителях. Ребята иногда приходили на занятия прямо из мастерских. Даже не успев переодеться. Прежде всего посылали кого-нибудь в магазин, приносили колбасу и десять — двенадцать батончиков. Колбасу нарезали большими ломтями, и все жевали; потом начинался разговор.

Иногда у нас в кружке выступали известные писатели и поэты. А иногда мы сами выступали в детских домах.

Перед выступлением отутюживали брюки, чистили ботинки, надраивали пряжки и пуговицы. На сцену выходили все вместе. Первым читал стихи Володя Губин. Он был тогда маленький, самоуверенный и очень любил Маяковского. И стихи его были похожи на стихи Маяковского. Но писать он умел почему-то только про козны Уолл-стрита. А ни о чем другом не мог написать ни строки, как ни старался.

Он выходил на край сцены, становился в позу народного трибуна и, грозно вращая глазами, бросал в зал громовым голосом: «Спины разогните, негры!..»

Потрясенные детдомовцы разгибали спины и смотрели на Володю с обожанием.

Потом выступала маленькая застенчивая Ева Хесина. Она очень волновалась и от волнения пищала таким тоненьким голосом, что только мы, сидевшие рядом с ней, слышали ее проникновенное признание: «Люблю тебя, мой фрезерный станок!». Но зал, хотя и не мог ничего расслышать, провожал ее такими же восторженными аплодисментами, как и Володю.

После выступления нас окружали детдомовцы. Трогали пряжки на ремнях, спрашивали: кем мы будем? Хорошо ли нас кормят? И здорово ли у нас дерутся? А в благодарность за выступление вели в столовую и понли компотом из сухофруктов.

Мы вспоминали Толю Татарчука, нашего могучего атлета с добрым, доверчивым лицом и детскими пухлыми губами. Сейчас он служит в армии, а тогда учился в ремесленном училище. Когда в «Комсомольской правде» были опубликованы его стихи, он получил двадцать восемь писем. Писали ему только девушки. С Урала, из Чехословакии, из Средней Азии, из Польши. Все они хотели с ним познакомиться или хотя бы завязать переписку. Он принес все письма на занятия кружка. Большой и смущенный, он стоял перед нами с пачкой писем в руках и спрашивал, что с ними делать. И весь вечер мы все вместе отвечали на письма.

Девушек у нас в коллективе было мало, а разговоров о девушках — много. Все ребята по очереди влюблялись, но особенные хлопоты доставила нам любовь Жени Синицына, самого восторженного нашего лирика.

Женя был всегда весел и всегда влюблен. Он немного заикался, и это придавало особую прелесть его шуткам и его признаниям. Однажды в Театре Ленинского комсомола он познакомился с девушкой. У нее была челка, ее звали Нина, и она сказала, что живет в Гавани. А проводить себя не разрешила.

Два дня после этого Женя бродил по Гавани в надежде ее встретить. Он был не на шутку влюблен, бедняга! Мы даже не думали, что он может так серьезно влюбиться. Даже стихи стал писать грустные, и не смеялся, и не шутил.

Ребята решили ему помочь. В воскресенье все отправились в Гавань. Ходили из дома в дом, расспрашивали дворников и ребятшек, не живет ли в этом доме девушка с челкой по имени Нина.

Нужную Нину нашел Слава Трусов. Он вызвал ее на площадку лестницы и сказал:

— Ты меня не знаешь, я из Дома культуры трудовых резервов. Один наш парень уже целую неделю тебя разыскивает, все стихи про тебя пишет.

Мы представляем себе, как, наберное, Слава покраснел, когда говорил с девушкой. Он был очень самолюбивый и от этого стеснительный.

Слава приехал из какой-то глухой деревни. У нас на занятиях он понял, как мало до сих пор прочитал книг, и рассердился на всех, а больше всего на себя. Днем он учился в железнодорожном училище, вечером ходил в общеобразовательную школу, а в промежутке чуть ли не через день бывал в библиотеке с чемоданом и набивал его книгами. За одну зиму он прочитал столько, сколько другие не прочитали и за десять лет. Читал преимущественно по ночам. Когда в комнатах общежития тушили свет, Слава выходил в коридор и с книжкой в руках садился на пол под лампочкой.

Он писал рассказы. В них действовали одни только воры и хулиганы. Мы говорили:

— Страшноватый рассказ.

Он отвечал:

— Зато правда. Врать не заставите.

Это было в 1953 году. Слава работал плотником. Его поместили в общежитие вместе с бывшими уголовниками, освобожденными из лагерей по амнистии.

Возле койки Славы стояла тумбочка с книгами. Он пристраивался на койке и писал. А кругом шумели пьяные, пили, дрались, звенели разбитые бутылки. Каждый день милиция забирала то одного, то другого.

Ребята пошли в горком комсомола. Славу перевели в другое общежитие. Сейчас он уже отслужил в армии и собирается поступить в университет. Он работает плотником на стройке и пишет рассказы о своих новых друзьях.

О наших товарищах из «Голоса юности» мы могли вспоминать до утра. Но Алексей Ковалев взглянул на часы и сказал:

— Без трех минут три. Пора спать.

И мы легли спать, потому что рано утром надо было ехать дальше, уже втроем.

### А-ЭТО ПОМНИШЬ?

В Москву мы не заезжали. По окружной дороге выехали с Ярославского шоссе на Горьковское. Ночевали на пересечении двух дорог. Сегодня с утра едем по шоссе Москва—Казань. В прошлом году мы проезжали здесь на велосипедах. Не хочется ехать по одной и той же дороге вторично; ведь вся прелесть наших путешествий в том, что каждый день видишь что-то новое. Но делать нечего. Наш путь лежит через Горький и Казань к Ижевску.

Шоссе несет нас, как река, широкая и полноводная. По бетонному простору мчится много машин. Они мчатся с предельной скоростью, и каждая машина, которая догоняет нас или которую догоняем мы, как бы подзадоривает: а ну, давай, жми! И мы жмем в каком-то упоении скоростью. На спидометре уже семьдесят... семьдесят пять... восемьдесят.. А ну, давай, жми, давай!.. Мелькают деревни и города. Мы снисходительно поглядываем вокруг и чувствуем, как в наши души закрадывается опасное самодовольство.

Поля, леса, мосты, деревни. Поля, леса, мосты, деревни.

— А эту рощу помнишь?

— А эту деревню?

— А этот мост?

Ну конечно, помним. И мост, и деревню, и рощу.

В этой роще мы в прошлом году устроили привал. Там нашли ручеек с такой вкусной водой, что не надо было ни лимонада, ни чая.

Теперь туда не заедешь. Там что-то строится, у ручья стоит бетономешалка и штабелями уложен кирпич.

А в этой деревне нам в прошлом году не уступила дороги ленивая хрюшка. Напрасно мы звонили, кричали, махали руками. Она не сдвинулась с места, пока один из нас не перелетел вверх тормашками и через хрюшку и через свой велосипед. Вот тогда она поглядела на нас с любопытством и отошла в сторону.

Теперь мы встретили здесь трех парней с красными повязками на руках. С виду они похожи на школьников, а держатся, как генералы.

— Быстро едете, — сказал один.

— Ваши документы, — сказал другой.

— Покурим! — сказал третий.

Это общественные автоинспекторы и колхозные дружинники. Дежурят уже два часа — и хоть бы одно происшествие!

— Вот вчера нашим ребятам повезло, — сказал один, — задержали пьяного шофера.

Им скучно и очень хочется нас задержать. Они такие славные ребята, что мы даже чувствуем угрызения совести оттого, что ни в чем не провинились.

А вот и тот мост, где в прошлом году кончался новый участок шоссе и все автомобили сворачивали на узкую и разбитую старую дорогу. Она вела вдоль высокой песчаной насыпи. По насыпи медленно двигались широкие бетоноукладывающие машины. У их штурвалов стояли загорелые парни в широкополых шляпах, а девушки укрывали мешковиной влажный бетон.

Теперь мы несемся по этой насыпи, и колеса наших мотоциклов легко и весело вздрагивают на стыках бетонных плит.

Почему мы раньше думали, что дважды ехать по одной и той же дороге скучно? Да и вообще, разве бывает какая-нибудь дорога одной и той же?

### ХУДОЖНИК НА ШОССЕ

На обочине стоял мотороллер. А на дороге, среди мчащихся автобусов, грузовиков, легковых машин и мотоциклов, расположился со своим мольбертом немолодой художник. Он тоненький, как мальчик, у него острые скулы, а на костистый лоб спадает прядь седых волос.

Машины проносились мимо него. Шоферы высовывались из кабин и грозили кулаками. А он стоял посреди дороги с кистью в руке и пытался запечатлеть на полотне скорость.

— Будь она проклята, эта скорость, — сказал он с отчаянием и вдохновением. — Никак не пойму, в чем ее зрительная суть. А тут еще шоферы ругаются и инспекторы гонят на обочину.

На полотне были изображены шоссе, автобус и лес. Лес казался живым — вот-вот прошелестит по верхушкам деревьев ветер. И шоссе казалось живым — недавно прошел дождь, и бетон подсыхал. Было видно, как он дышит. Только автобус стоял неподвижный, как камень.

— Целую неделю бьюсь, — сказал художник. — Каждый день сюда приезжаю. Ничего не получается. — И вдруг попросил с виноватой улыбкой: — Вернись, пожалуйста, к повороту, а потом давайте прямо на меня, побыстрее, на полной скорости. Никак мне ее, проклятую, не поймать. Хоть ты что! Только не задавите, пожалуйста.

Мы вернулись к повороту и понеслись на художника. Мы пронеслись мимо него, чуть не сбив мольберта. А когда оглянулись, он был уже далеко позади — маленький, отчаянный, счастливый человек среди мчащихся на него машин.

### А В ПАУЗАХ ПОЕТ СОЛОВЕЙ

Шестнадцатая ночь застает нас в Чувашии, недалеко от шоссе, возле маленькой полуразвалившейся избушки. Двери в ней нет, стекла выбиты, печь разрушена. Наверное, уже много лет здесь никто не живет. Мы натаскали сюда веток орешника, расстелили их на полу и собрались спать.

Но спать нам не хочется. Мы уже поужинали и сейчас сидим возле мотоциклов и слушаем музыку. Наш маленький дорожный радиоприемник стоит на седле мотоцикла. Антенна закинута на крышу избушки. Сегодня Москва транслирует концерт из Брюсселя. Великолепный оркестр исполняет Бетховена и Баха. А в паузах поет соловей. Он поет так: «Ах-ах. Вот я тут. Тут. Тут. Тут».

Избушка стоит посреди небольшой поляны. Поляна освещена луной и поблескивает, как озеро. С трех сторон она окружена рощей. Роща густая и черная. Дубы там тяжелые и важные, а гнилушки светятся, как волчьи глаза.

На небе очень много звезд. И одна звезда медленно движется. Она ничем не отличается от других — такая же далекая и загадочная. Она плывет по небу среди созвездий и планет, пересекает Млечный путь и плывет дальше. Что это? Самолет? Спутник?

Из-за рощи доносятся негромкие голоса, лошадиный храп и щелканье кнута. Там пасутся лошади. Две всадницы выехали из рощи и остановились на опушке. Это девушки-чувашки. Они закутаны в платки. У них широкие лица и черные испуганные глаза. Они постояли в отдалении, послушали вместе с нами музыку и скрылись опять среди дубов.

Иногда в той стороне, где шоссе, возникает зарево. Оно возникает, разгорается и гаснет. А потом по насыпи проносятся яркие фары. Они проносятся бесследно.

но, как будто летят в другом мире. А здесь, в этом мире, — неистовая луна, неподвижные дубы, искрящаяся от росы трава и такая вечность, что все нам кажется небывало значительным.

Мы сидим и молча слушаем музыку. Нет, не из маленького пластмассового ящичка льется эта негромкая музыка. Это звучит ночь, и луна, и роща, и шоссе, и та загадочная звездочка, которая пересекает Млечный путь.

А в паузах поет соловей: «Ах-ах. Вот я тут. Тут. Тут».

### АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ СТАВИТ ДИАГНОЗ

У нашего мотоцикла отличный голос. Мы можем узнать его, если даже десять мотоциклов будут петь хором. И нам кажется, что ни один мотоцикл на свете не поет так бодро и торжественно, как наш.

Но вдруг мы настораживаемся: что это?

Оба прислушиваемся. И слышим. Или только кажется, что слышим? Нет, действительно: к славному голосу мотора примешался какой-то подозрительный звук — не то писк, не то скрип или позвякивание. Вот он!.. Еще раз!.. Опять. И — конец бодрости и торжественности. Теперь мы не замечаем ни пейзажей, ни деревень, ни облаков. Мы не можем думать ни о чем другом. Может быть, это стучит поршневой палец? Или разваливаются подшипники?

Сквозь шум мотора не так-то легко определить, откуда доносится едва различимый скрип. Мы вслушиваемся и вслушиваемся. Наклоняемся то вправо, то влево. Старее колесо, и заднее, и цепь, и подвески.

Если мы сами не можем установить происхождения писка или скрипа, то зовем на помощь Алексея Ковалева. Алексей Ковалев — высший авторитет во всем, что касается техники.

Он подходит к мотоциклу, как доктор к больному. «Спокойно, — говорит он, — не надо волноваться», — и вздергивает на лоб очки-консервы. Высокий, сухой, важный, он неторопливо выслушивает и выстукивает машину, обходит ее со всех сторон, нажимает пружины, покачивает колеса. Он не торопится поставить диагноз.

Окончив исследование, Алексей Ковалев боком садится на край коляски и долго молчит. Мы знаем, что в это время нельзя ему мешать, и молча ждем приговора.

— Ничего страшного, — говорит он. — Подвеска. До Ижевска доедем.

Другого такого мотоциклетного диагноста мы не встречали никогда в жизни. Не зря он два года работал главным механиком школы механизации сельского хозяйства.

### НА БЕРЕГУ КАМЫ

Маленький суетливый катер с полуголым загорелым мотористом тащил за собой бревенчатый паром. Кама была розовая от заката. Справа — тихие леса и задумчивые рыбаки на берегу. Слева — все вздыблено: груды земли, башни, мачты, провода, и даже в воде и в воздухе какое-то неуловимое напряжение и беспокойство.

Там строится Воткинская ГЭС.

На этом берегу — Удмуртия. На том — Урал.

На этом берегу — половина седьмого вечера. На том — половина восьмого.

Тучный здоровяк в соломенной шляпе стоит у деревянных перил парома. В руках у него портфель, а шея коричневая от загара. От него пахнет крепким табаком и сосновым бором.

— Вон там будет шлюз, а там электростанция, — показывает он. — А вон ту гору видите, где сосна? Скоро от той горы одна макушка останется. Все затопит.

Он рассказывает о себе:

— Работая я здесь бухгалтером. Сюда с Камской ГЭС перевелся. А раньше на Каховке работал. Так и кочую вместе с семьей. Я уже иначе и жизни себе не представляю: как это жить в городе, который построен сто или двести лет назад? Приедешь, а там уже все готовое: и дома, и улицы, и кино. Живешь, наверно, как в музее: вот это Петр Первый построил, а это — Екатерина Вторая... А мы как? Приезжаем — лес, камни, палатки. А через два года, глядишь, город как город. Вот и ходишь гоголем, сам себя уважаешь.

Позже мы видели, как «ходят гоголем».

Гоголем ходят степенно и чинно, поблескивая клипсами и щеголяя галстуками, с полным сознанием своего достоинства и значения. Так шли из кинотеатра молодые строители. Они шли по главной улице своего маленького нового городка, мимо грибного леса и универсама, мимо трехэтажных красивых домов и пней.

С главной улицы сворачивали на неглавные, а неглавные улицы еще с трудом угадывались: на одной было три дома, на другой только два. Земля здесь разрыта, канавы, лужи. Через канавы кое-где перекинуты доски, а в лужах дорожками уложены кирпичи. Девушки в туфельках с очень тонкими, самыми модными каблучками, пробираясь через лужи, балансировали, как танцовщицы на проволоке.

Ночуем в молодежном общежитии — это трехэтажный дом с балконами. Здесь горячая вода, душ. Стучим в одну комнату, в другую, в третью — двери везде не заперты, а хозяев нет — гуляют.

Выходим на балкон. На всех балконах — огоньки папирос. Гремит радиола. Перед домом танцуют. Танцуют, будто работают — молчаливо, старательно, без торопливости и дурачеств. Когда радиола смолкает, парни уверенно стоят возле своих девушек, придерживая их за локти и терпеливо ожидая, пока сменят пластинку.

Рано утром нам надо было ехать дальше. Заехали на строительную площадку. Там все было грандиозно: грандиозный котлован у наших ног, грандиозная эстакада над нами, грандиозные бетонные стены поднимались из глубины.

Остановили мотоциклы на краю котлована, возле громадных башен. Башни плавно передвигались по рельсам. На большой высоте между ними был натянут едва заметный трос. Под ним свисал такой исполинский крюк, что, казалось, им можно подцепить земной шар. На крюке покачивалась железная конструкция величиной с четырехэтажный дом. Она покачивалась легко, как спичечный коробок, и медленно проплывала над стройкой.

А внизу лязгали могучими челюстями экскаваторы, грызли землю бульдозеры, подъемные краны величественно и властно поворачивали свои размашистые стрелы, бесконечной вереницей ползли и ползли громадные грузовики-самосвалы.

И всем этим управлял спокойный женский голос. Он казался негромким, но слышали его и в котловане, и на стенах ГЭС, и на эстакаде.

— Прораб Ипатьев! Экскаватор номер семь не работает. Транспорт стоит. Примите меры... — Короткая пауза, заполненная ревом автомашин, потрескиванием электросварки, гудками паровозов, и снова над всей громадной стройкой спокойный и деловитый голос: — Внимание! Машинисты насосной станции, почему нет воды на эстакаде? Включите насос.

Мы поискали глазами репродукторы. Их не было видно. Голос, казалось, доносился к нам откуда-то из-за облаков. Если бы мы верили в бога, то подумали: вот он, господь-бог. Все видит, все знает и говорит с неба.

Мы сидели на мотоциклах и тарасили на все глаза.

— А ну посторонись! — весело и снисходительно сказала нам розовощекая толстушка с блестящими сережками в ушах. Она сидела за рулем грузовика, который пытался протиснуться между нашими мотоциклами и краем котлована. — Посторонитесь, мальчики, — сказала толстушка и, притормозив машину, спросила: — Мимо столовой ехали? Не видели, есть там сегодня пирожки?

Столовой мы не заметили и не знали, есть ли там пирожки.

С ужасным звоном и грохотом к нам приблизился громадный трактор. Он тянул за собой железную треногу. Из кабины высунулся большеротый чубатый парень и заорал:

— Чего дорогу загородили? А ну сматывайтесь!

И страшная железная гусеница нависла над маленькой «макакой» нашего друга.

Мы завели моторы и рванулись вперед. Вслед нам, покрывая звон и грохот трактора, опять откуда-то из-за облаков раздался спокойный голос диспетчера:

— Внимание! Машинисты насосной станции, воды на эстакаде все еще нет. Примите меры.

Мы уехали. А этот голос нам очень запомнился. Он все звучал и звучал над нами. И на следующий день, и через неделю, и через месяц. Мы слышали его повсюду — в Сибири, на Алтае, в Средней Азии. Иногда он был громче, иногда чуть слышен. Но слышен всегда — и в больших городах, и на дорогах, и в самых маленьких деревушках.

### ВОТ ЭТО АВАРИЯ!

Километрах в десяти от Перми увидели на обочине дороги двоих: парня и девушку. А между ними мотоцикл — новенькая «Ява», сверкающая и франтоватая.

Парень протягивал к нам обе руки.

— Ребята, пропадаю, помогите!

Вокруг мотоцикла валялись инструменты и тряпки. Парень был тоже франтоватый — в белых отглаженных брюках и морской фуражке. Совсем еще молодой — и усы-то у него были какие-то несерьезные. А девушка — в простеньком платье, и в руках держала красную кофточку. Она была стройная и красивая.

Она поглядывала то на парня, то на Алексея Ковалева, который уже возился с мотоциклом. Она поглядывала на них по-разному. Алексей замечал это и не торопился закончить дело. Он сидел на корточках, сухой, длиннорукий и длинноногий, в грязной обтрепанной куртке. А парень стоял рядом с ним, как школьник перед директором.

— Может, заведется, а? — спрашивал он. — Может, заведется?

Алексей Ковалев молчал. Девушка тоже молчала. Она больше не смотрела на парня. И на Алексея тоже не смотрела.

— Может, ключ подать? — спрашивал парень. — Заведется, а?

— Не заведется, — сказал Алексей Ковалев и стал вытирать руки ветошью. У парня потускнели глаза.

— Эх ты, тюха! — сказала девушка. — А еще форсил?

Она бросила на плечо красную кофточку и мягкой походкой пошла в сторону Перми.

— Вот это авария! — сказал Алексей Ковалев.

### КУНГУР

Маленький уральский городок Кунгур. Дождь. Вечер. Мы в гостинице. За окнами дождь. В комнате восемь кроватей. На трех спят командировочные. На наших кроватях и на полу возле них — мокрые куртки и брюки, мокрые рубашки, мокрые ботинки, мокрые рюкзаки.

Мы сидим за столом в одних трусах, едим мокрый хлеб и мокрую колбасу и запиваем теплой водой из графина.

Старший рассказывает:

— Во время войны служил в моем взводе ефрейтор Костя Птухин. Я уже не помню, как он у нас появился, только помню, что когда увидел его в первый раз, то обратил внимание на его веселый вызывающе вздернутый нос. Да еще на пару новых хромовых сапог, перекинутых через плечо. Садоги были начищены до тако-

го ослепительного блеска, что будь мы в то время поближе к переднему краю, на них без сомнения обратили бы внимание фашистские снайперы.

— Разрешите спросить, товарищ младший лейтенант, — сказал Костя Птухин, — куда бы сапоги спрятать понадежнее, чтобы, не дай бог, не пропали?

— На ноги, — говорю, — самое надежное место.

— На одну пару ног двух пар сапог не натянешь!

— А ты их вместо кирзовых надень.

А он говорит:

— Смеетесь! Кунгурские сапоги каждый день трепать? Вы таких сапог в жизни не видели. Такие сапоги только мы, в Кунгуре, можем шить. Вы кожу пощупайте — шелк! А как задник пристроен! А модель! Видели вы когда-нибудь такую модель? Таких сапожников, как в Кунгуре, нигде не сыщете. В Кунгуре бывали?

— Нет, не бывал.

— Жаль, — говорит, — другого такого города во всем мире нет. В наших сапогах хоть сто верст пройди — не устанешь. А побежишь, так никто не догонит. Станцуешь — любая девушка полюбит. Вот какие мы шьем сапоги! А про пещеру нашу, наверное, слышали. Самая большая в Советском Союзе. Иностранцы приезжали, хотели выход найти. Где там! А наши камнерезы! Из камня могут блоху вырезать! И прыгать будет. Не верите?

— На язык, — говорю, — ты бойкий. А вот как воевать будешь?

Он смеется.

— А что воевать? Подумаешь! Мы, кунгуряки, ко всякому делу талант имеем. И лапти плетем и корзины. И сани делаем и замки.

Со своими кунгурскими сапогами он так никогда и не расставался. На ногах носил казенные, кирзовые, а в вещевом мешке таскал свои, кунгурские. И всюду брал их с собой. Даже однажды в разведку с ними ходил.

— Да как же я их в тылу оставляю? — говорил он. — А вдруг их без меня разбомбят? Как же я тогда после войны в Кунгуре появлюсь?

Чудный был парень, весельчак. Глянешь на его отчаянный нос, и сразу на душе станет легче, а посмотришь на его вещевой мешок, увидишь, что выпирают каблучки, и верится, что вернешься после войны домой, что наступит такое неправдоподобное время, такой золотой век, который зовется «после войны».

Только не наступил этот золотой век для веселого кунгурского сапожника Кости Птухина. Не надел он своих новых сапог, не вернулся в родной Кунгур. И осталось только воспоминание о нем — может, у меня одного, а может, еще у двух или трех человек. Время стерло с этого воспоминания горечь, и осталось воспоминание веселое и светлое — единственная награда за прожитую жизнь.

— Награда? — спросил младший.

— Награда. Славная награда. Я бы тоже хотел после смерти получить такую награду.

В Кунгурском горкоме партии мы спросили о кунгурских сапожниках.

— Это верно, — сказали нам, — раньше Кунгур славился сапогами, а сейчас он славится турбобурами. И эта слава погромче. Наши турбобуры известны всем нефтяникам. И не только в нашей стране. И в Индии, и в Китае, и в Египте. Обязательно побывайте у нас на машиностроительном заводе.

Завод небольшой. Между станками бродят голуби. В кадках — цветы. Кроме турбобуров, здесь делают установки для разведочного бурения. Это маленькие буровые вышки. Вместе с моторами и лебедками они смонтированы на автомобильных платформах и похожи на красивые пожарные машины.

Завод быстро растет. Только что построен специальный цех, где металл обрабатывается токами высокой частоты. Строится литейный цех. Создается автоматическая линия обработки и сборки турбинок.

Вспоминаем слова кунгурского сапожника Кости Птухина: «Мы, кунгуряки, все можем. Ко всякому делу талант имеем. И лапти плетем и корзины, и сани делаем и замки».

Утром побывали в знаменитой Кунгурской пещере. Это большой подземный лабиринт. Гроты. Озера. Галереи. Здесь всегда сыро и темно. Тяжелые каменные своды в шрамах и трещинах. Белыми громадными сосульками свисают сталактиты. Иногда идем пригнувшись. Иногда протискиваемся в расщелины. Тускло светят электрические лампочки. Фантастические очертания лобастых камней и утесов подсвечены желтым, красным, зеленым светом. Кажется, что где-то пылает невидимый огонь и какой-то чародей варит колдовское снадобье. А на плечи давит многоотонная тяжесть горы.

Исследована пещера не вся — только на протяжении пяти километров.

Мы так много слышали о красоте Кунгурской пещеры, что ожидали увидеть совершенно фантастическое подземелье. Но какое подземелье может показаться фантастическим современному человеку, который бывал в подземных залах метро и видел сказочные подземелья в кинофильмах.

Больше всего нас увлекли рассказы о людях, которые связали свою жизнь с этой пещерой.

Жил в Кунгуре знаток Урала, путешественник Александр Тимофеевич Хлебников. объездив почти весь свет, он в 1914 году вернулся на родину и занялся изучением Кунгурской пещеры.

Тридцать семь лет изо дня в день, зимой и летом он брал с собой факел и мешок с кусочками бумаги и, червяком проползая сквозь щели, расчищал проходы и открывал новые подземные гроты и озера.

Факелом он освещал себе путь, а кусочки бумаги разбрасывал за собой, чтобы найти дорогу обратно.

Александр Тимофеевич Хлебников дожил до семидесяти пяти лет. В последние годы своей жизни он ослеп. Но и слепой продолжал водить в пещеру любопытных — ведь он знал на ощупь каждую щель и каждый выступ.

Это рассказал старший экскурсовод Сергей Петрович Богомяков. Мы стояли с ним в гроте Данте. Над нами нависали камни. Капала вода. Как театральные декорации, из полумрака выступали красные, зеленые, желтые грани скал. Искрился иней.

Сергей Петрович сидел на камне. Он большого роста, в резиновых сапогах, в теплой фуфайке, поверх которой надета брезентовая куртка с капюшоном. Ему шестьдесят лет. Еще одиннадцатилетним мальчишкой, тайком от родителей, он забирался в пещеру и блуждал там в поисках выхода. Прошли годы. Он окончил юридический факультет, много лет работал юристом, но все время его тянуло к пещере. И несколько лет назад стал экскурсоводом.

Три-четыре раза в день, пересчитав экскурсантов, Сергей Петрович уводит их в глубь лабиринта. А когда нет экскурсантов, он отправляется туда вместе со своими товарищами по работе. Товарищи его — старик Виктор Михайлович Хлебников (племянник Александра Тимофеевича) и электрик Николай Константинович Шангин. Три пожилых человека ползут по щелям, разгребают завалы, натягивают электропровода. На маленькой резиновой лодочке они переплывают подземное озеро. Иногда им приходится ложиться на дно лодки плашмя, так низко нависают своды. Но они пробиваются все вперед и вперед, туда, где еще никогда не ступала нога человека.

### МЫ ЗАГЛЯДЫВАЕМ В БУДУЩЕЕ

В Свердловске нас спросили:

— Хотите заглянуть в будущее?

Да, нам очень хотелось заглянуть в будущее.

— Тогда обязательно поезжайте на строительство Белоярской атомной электростанции.

Мы часто думали о будущем, часто говорили о нем. А у младшего из нас из-за будущего бывали даже неприятности в прошлом, когда он еще учился в ремесленном училище.

Был в том училище комендант, который сам думать не любил и терпеть не мог, если думали другие.

— Что, брат,— спрашивал он, увидев задумавшегося парня,— думаешь?

— Думаю,— отвечал парень.

— Интересно, о чем же ты думаешь? Государство тебя поит и кормит, профессия у тебя самая наилучшая, о чем же тут еще думать? Пусть думают те, кто на капиталистов работает, а за нас с тобой Маркс и Энгельс обо всем подумали, и нам теперь надо не раздумывать, а засучив рукава строить свое светлое будущее.

— Вот как раз я о нем и думаю,— говорил парень,— каким оно будет, наше будущее?

— Чего же тут думать?— дивился комендант.— Наше будущее — это от каждого по способностям и каждому по потребностям. Кто же этого не знает!

— Это и я знаю,— говорил парень,— а только представить себе конкретно никак не могу.

— А чего же тут представлять? Вот сейчас ты пришел с работы, устал, а тебе еще в вечернюю школу бежать. Разве это жизнь? А тогда хоть весь день лежи себе на койке, если есть у тебя к этому способности, и удовлетворяй свои потребности. А все остальное за тебя будут делать машины. О чем же тут еще думать?

И весьма удовлетворенный своими объяснениями, комендант величественно уходил, а парень представлял себе, как он будет весь день лежать на койке, удовлетворяя свои потребности и проявляя свои способности. И ему становилось так противно, что он даже сплевывал.

К будущему вело отличное шоссе. Мотоциклы неслись по бетонным плитам, как по шахматным квадратам. А кругом — зеленые влажные стены леса.

Лес становился все гуще. Мир вокруг нас погружался в тишину, будто мы удалялись от всего, что нам знакомо и привычно, и казалось, что вот-вот сейчас откроется что-то невиданное и небывалое, похожее на иллюстрации к романам Уэллса или Ефремова.

Но вместо гигантских зданий из стекла, пластмассы и бетона, вместо устремленных к небу космических ракет, фантастических конструкций и могучих роботов мы увидели обыкновенную лесную поляну и на ней — маленький розовый городок.

Городок был красивый и тихий. Казалось, что его спустили сюда на вертолете, прямо на мхи и болота, посреди глухого леса: асфальтированные улицы и площади, цветы на балконах и на клумбах, универмаг, кинотеатр, киоски для продажи газет и киоски для продажи газированной воды.

Было раннее воскресное утро. Дворники подметали улицы. Из раскрытых окон доносились знакомые команды утренней гимнастики.

Городок как городок. Только ничего присущего будущему мы в нем не заметили.

Высокий юноша в очках, майке и спортивных шароварах выбежал из дому, повидимому намереваясь сделать утреннюю разминку.

— Пойдите,— сказали мы,— где здесь можно заглянуть в будущее?

Он сразу понял, о чем идет речь, и, расспросив, кто мы такие, воскликнул:

— Вон оно там за лесом. Хотите, провожу?

И ловко вскочил на заднее седло нашего мотоцикла.

Среди вывороченных коряг и заболоченных котлованов высились строгие стены недостроенных зданий и белой башни. Вокруг — толпа подъемных кранов, а за ними — громадные прожекторы, как на стадионе.

Наш молодой провожатый оказался инженером.

— Все в нашей работе неизвестно,— говорил он,— нет ни опыта, ни исчерпывающих знаний. Больше — интуиция и эксперимент.

С молодым увлечением он рассказывал о формулах биологической защиты и законах атомной механики, но когда мы признались, что не знаем ни формул биологической защиты, ни законов атомной механики, он вдруг погрузился. Но он поста-

рался скрыть это, потому что был гостеприимным хозяином. Только пожалел, что мы не можем понять, как интересно здесь работать молодым специалистам, и продолжал рассказывать о стройке, правда не так уже увлеченно, как вначале.

Он говорил, что атомная электростанция строится, как самая могучая крепость. Здесь стены небывалой толщины. Чугунные двери будут герметически запирают все входы, а для использованных урановых стержней устроены колодцы, которые называют «могильниками». Все это делается для того, чтобы обезопасить людей от атомных излучений. Он рассказывал, что особая сложность стройки заключается в том, что управляющие и контрольные приборы монтируются одновременно с кладкой стен. Некоторые приборы будут навечно замурованы в стены, а механизмы здесь такие нежные, что даже самый чистый воздух окажется для них слишком запыленным, и воздух будет подвергаться особой фильтрации, а стены ежедневно омываться водой.

Мы внимательно слушали молодого инженера, но воспринимали его рассказ только разумом, а не сердцем. И стройка казалась нам обычной, похожей на все другие стройки, которые мы видели. Нам было немного стыдно этого. И еще нам было немного грустно оттого, что мы так избалованы успехами науки и техники и нас уже ничто не может особенно поразить. И еще нам было грустно потому, что мы понимали: из-за недостатка знаний мы похожи на глухих, пришедших слушать концерт, или на слепых в зале музея.

«Это и есть будущее? — думали мы с некоторым разочарованием. — Или мы не смогли заглянуть в него: стояли на самом краю и ничего не увидели?..»

И так, наверное, мы и уехали бы отсюда, не заглянув в будущее, если бы, проезжая опять по городку строителей, не встретили там рослую светловолосую женщину, которая остановила нас властным жестом.

— Кто такие? — спросила она. — Откуда? Куда? — и добавила: — Я редактор местной газеты. Вижу, какие-то едут на мотоциклах, судя по виду — издалека. Ну, думаю, материал для газеты.

Мы не знаем, оказались ли «материалом для газеты», но благодаря Ангелине Константиновне Хитровой у нас осталось такое чувство, будто мы действительно увидели еще неясные очертания какой-то дали.

Мы поднялись на второй этаж, в маленькую, очень светлую квартиру, где еще не были прибраны постели и не убран со стола завтрак.

На диване сидели трое: мальчик и девочка, белокурые и нежные, как одуванчики, и очень симпатичный широколицый мужчина с ясными застенчивыми глазами. Он мастерил из дерева корабль, и все вокруг было засыпано стружками, а дети влюбленно следили за каждым движением его больших добрых рук.

— Знакомьтесь, — сказала Ангелина Константиновна, — мой муж, Петр Алексеевич.

Она решительным жестом сдвинула в сторону чашки, села за стол, раскрыла блокнот и сказала:

— Ну, давайте работать.

Страница ее блокнота так и осталась чистой, а в нашем блокноте появилась торопливая запись.

Вот она:

«...Сборный железобетон... Плотина поднимает уровень р. Пышма на 23 м... Слесарь Геннадий Чепчугов... Дмитрий Лебедев (?)... «Увлеченность, главное — это увлеченность, — говорит Хитрова. — Мы все, как поэты. Вот и я тоже пишу стихи. Не могу не писать. А другой пишет музыку, а третий — картины. Ведь это такая красота! Ведь мы, как космонавты, забираемся туда, где никто никогда не бывал... И вырастить первый цветок на клумбе, и заложить первый фундамент тоже»... Почти все со средним образованием — и каменщики и плотники... По комсомольским путевкам из Москвы, Свердловска и Ленинграда... Приехали лесорубами, а теперь — кто окончил техникум, кто в заочном институте... «И дело не в образовании, — говорит она, — а только в способностях: простого парня ставят начальником, и он отлично работает...» Спортивный зал... Энерге-

тический техникум... Недавний разговор в одной бригаде: как много хочется, как много нужно. «Нет, не вещей, что в них, в вещах? Хочется таланта, ума, знаний, любви. Вот в чем богатство!..» Разговор на собрании о борьбе с завистью, лживостью... «Вы поедете дальше, если встретите хороших ребят, посылайте к нам. Мало ли таких, кто еще не нашел себя, еще ничего не имеет. Мы поможем, у нас были всякие...» Лучшие из лучших: Леонид Бендер, Николай Кахно, Алексей Нечаев, Степан Рудниченко...»

Мы спросили:

— А кто все-таки самый лучший?

— Самый лучший? — Она задумалась и думала долго, молчаливо выводя в блокноте кружки и квадратики. И вдруг мы заметили, что эта большая, восторженная и властная женщина смутилась, и смущалась все больше и больше, и чудесно покраснела, как девочка.

— Только вы этого не пишете, — сказала она тихо, не поднимая глаз. — Он! — И кивнула в сторону дивана, где сидел с детьми ее простецкий, тихий и замечательно симпатичный муж. — Вы не подумайте, что я говорю так, потому что он муж. Он бригадир комплексной бригады, это у нас лучшая бригада. В газете мы ничего о нем не пишем, сами понимаете... А он такой человек! Ой, такой человек!.. Нет, я о нем рассказать не умею.

## В ТАЙГЕ

Тайга. На каждом стволе мох. Костлявыми уродливыми чудищами торчат полугнилые коряги. Кажется, что где-то там, в глубине чащобы, чавкает, булькает и пузырится жадная трясина.

Тайга нехотя пропускает нас через свой страшный зеленый мрак. Это она разгребла перед нами дорогу, оставив на ней мокрые топкие бугры и вмятины.

Тучи мошканы обрушиваются на нас, как только мы останавливаем мотоциклы. Достаем заветную бутылочку с репудином и яростно натираем лица. Мошка кара кружится вокруг нас и гудит. Отдельные смельчаки робко касаются нашей кожи и сразу же с отвращением отлетают подальше — репудин им явно не по вкусу.

Деревни здесь большие. Они окружены полями. И дома в деревнях большие и тяжелые. А колхозные мастерские похожи на заводы. Вдоль тракта золотятся свежие бревна новых построек. Людей не видно — все на работе: в полях, на фермах. Только дети, заслышав наши мотоциклы, вытягиваются, как солдаты на ученье, и долго прожогают глазами.

Еще интересуются нами жеребята. Тонконогие и настороженные, они с пугливым любопытством поджидают нашего приближения и вдруг вздрагивают, подкидываются на своих четырех тонких пружинках и, восторженно взбрыкивая, уносятся под защиту кобылиц.

Остановились в селе Успенское. Зашли выпить молока к охотнику Алексею Саввичу Пимневу.

В доме у Алексея Саввича тесно. Все тут, как и должно быть у охотника: ружье, чучела птиц, голова лося, барсучья шкура, и пахнет псиной.

Алексей Саввич рад собеседникам. Волосы у него седые, встрепанные, телом он худ и неприметен, а глаза мальчишеские, лукавые, веселые. Говорит так, что не поймешь — то ли правду рассказывает, то ли привирает.

— Ежели ветер оттуль, а идти надо отсуль, так и не думай, ветер зверю, что телеграмма, все раз-раз и донесет. А зверь, он страсть какой любопытный. Ему охота все знать, где что делается. А нонче тайга не та, нонче в тайге весело — там лес валят, там завод строят, там геологи чегой-то рыскают. Вот зверя и губит его любопытство. У нас тут недалеко мужики просеку рубят. Человек двадцать. Шум. Треск. Движок гудит. А у меня глаз на зверя метанный. Вижу — на суку рысь притаилась. Внизу мужики пилят дерево, а она сидит, значит, и сойти бо-

ится... А другой раз на зорьке пошел капканы проверять. Глянул, а у осинника вышка буровая. Откуль взялась? Вчерась не было, а сегодня — на тебе! Стою дивлюсь. Глядь, а в осиннике медведь. Во какой, что теленок. Тоже стоит дивится. Я дивлюсь, и он дивится. Смотрит на вышку, любопытствует. Ну, думаю, неужто в такую башку промажу? Да как вдарил. Дыму-то много, не вижу, только слышать: кха-кха. Значит, кровью харкает. А я зверя жалею, ведь он что человек, только глупый. А охотников не люблю. Какая-то у них азартность, как у волка. Есть не ест, а бежит и давит и давит...

На счету у Алексея Саввича Пимнева четыре убитых медведя и около ста волков. Каждый год он получает премию за перевыполнение плана сдачи пушнины.

Ночевать у охотника было негде. Пошли в соседний дом, где живет комбайнер Николай Севастьянов.

Дом у Севастьянова просторный, на окнах — цветы, на стенах — почетные грамоты и дипломы. Дипломы и грамоты помещены в рамки и украшены бумажными цветами. За что только не награждали хозяина! За спортивные достижения в районных соревнованиях. За отличную учебу на курсах механизаторов. За активное участие в художественной самодеятельности. За высокие темпы ремонта механизмов. За хорошие показатели в проведении уборочных работ. За участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Хозяина дома не было. Он был еще в поле или в мастерских. Мы познакомились с ним только по фотографиям. С одной фотографии на нас глядел чистенький, тщательно расчесанный мальчик, насмерть перепуганный ответственностью перед фотообъективом. С другой — бравый насмешливый солдат в пилотке набекрень. С третьей — франтоватый жених, в галстук, исполненный важности и достоинства.

Нам очень хотелось увидеть его в действительности. Мы долго ждали, но, так и не дождавшись, заснули.

А утром его опять не было.

Хозяйка сказала:

— Поспал часа три — и снова в поле.

## В БАРАБИНСКИХ СТЕПЯХ

В Омске нас пугали: «Остерегайтесь барабинских волков! Они ходят стаями и набрасываются на людей». Но ни одного волка в Барабинских степях мы не встретили. Выли только грузовики на тракте, их было очень много. Они шли на восток и на запад.

Сибирский тракт! Сколько колодников прошагало по нему, звеня кандалами, к далеким сибирским тюрьмам! Сколько колес проскрипело здесь в давние времена! Столетиями прорыты эти глубокие колени.

А оглянешься кругом — всюду трава, высокая и сочная. Плывут над травой птицы, плывут в траве тракторы. За каждым трактором цепочкой — сенокосилки.

Проехали город Куйбышев. Не тот, что на Волге, а тот, что в Барабинских степях. Странно, что до сих пор мы ничего не слышали об этом городе. Здесь все новое: и широкие улицы, и многоэтажные дома, и электростанция с плотиной и громадным водохранилищем.

На окраине города высятся подъемные краны, гудят самосвалы, неутомимые бульдозеры роют и роют землю.

Что нам делать? Мы уже проехали много городов, и о каждом должны были бы написать так же: «Высятся подъемные краны, гудят самосвалы, неутомимые бульдозеры роют и роют землю». Вот если бы мы встретили хоть один город, где не строились бы заводы и жилые дома, наверное, остановились бы, пораженные, и записали в своем блокноте так: «Этот город не похож ни на какой другой город Советского Союза».

Но такого города мы не встретили. Да его, наверное, и нет в нашей стране.

### А ДОЖДЬ ВСЕ ИДЕТ

Дождь идет уже целую неделю. Если даже утром мы видим чистое небо, то стоит оглядеться получше — и где-нибудь вдаль обязательно заметишь маленькое облачко, которое ведет за собой пока еще скрытое за горизонтом хмурое стадо облаков. А еще через час или два уже все небо затянуто тучами. Они грозоздят над нами, похожие на огромные серые валуны, готовые вот-вот грохнуться на землю.

А с полдня — дождь. И так всю неделю. И всю неделю однообразные поля, серые и мокрые, и редкие островки роц — там жмутся друг к другу поникшие березки, — и сиротливые домики деревень, настороженные, как вороны, и черные вороны на черной дороге. Они взлетают перед нами, опустив длинные когтистые лапы, и с недобрый карканьем улетают в поля.

Дорога не просыхает. Машину часто заносит в сторону, и она вязнет в глинистой жиже. Мы очень устали — едем уже с шести утра. Иногда делаем короткие остановки, молча курим, молча отламываем по куску хлеба и молча жуем его. Не хочется даже разговаривать — нам уже все безразлично, лишь бы скорее кончился день, наступил вечер, лишь бы скорее завалиться куда-нибудь спать.

В морозящем тумане возник поселок. Накинув на голову клеенку, дорогу перебежала женщина. Навстречу прогрохотал трактор. Прошли нескладным строем юноши и девушки в одинаковых бушлатах. На перекрестке остановились двое — у нее в руках счеты, у него портфель. Люди возвращаются домой, готовят обед, слушают радио, собираются в кино, только мы одни едем неизвестно куда и неизвестно зачем — всем чужие, бездомные, из дождливой дали в дождливую даль.

Наше чувство одиночества и непричастности к людям так нестерпимо, что хочется хоть на минуту остановиться. Мы придумываем повод. Сигареты! Надо бы купить сигарет!

Старший вылезает из коляски, в широких непромокаемых штанах и такой же куртке. Он похож на водолаза. Он уходит в магазин, а вокруг мотоцикла собираются мальчишки, вездесущие мальчишки — наши друзья, болельщики и доброжелатели.

— Туристы или испытание?

— Глянь-ка! Из Новосибирска.

— Дурак, не видишь, написано: Ленинград.

— Географии не знаешь. Ленинград вон где, а Новосибирск вон где!

Несколько мальчишеских рук оттирают мокрые шлепки грязи с нашего ветрового стекла. Там — подпись.

— Алма-Ата — Фрунзе — Ташкент... Ого! Здорово! И все эти города вы проедете?

Из кабины грузовика вылезает пожилой шофер. Он очень высокий, в синем комбинезоне с ляжками. У него седая голова, добрый беззубый рот и в глазах готовность к любым дорожным развлечениям.

— Здорово, ребяташки! — Это он нам. — А ну, что тут у вас написано? — Он тоже читает вслух. — Вот это рейс! И все своим ходом? Это что же, послали или сами?

Вокруг мотоцикла уже толпа. Кто-то предлагает закурить. Кто-то спрашивает про Ленинград («два года под Питером воевал»). Кто-то предупреждает, что болтаются канистры, как бы не отлетели. Белокурая девчужка украдкой вытирает рукавом заляпанное грязью зеркало, прикрепленное к рулю. Седой шофер выситя над толпой, он отпихивает слишком назойливых и кричит:

— Да не папайте, вот народ какой! — И снова к нам: — Тридцать лет за баранкой, уж я-то знаю: наши дороги всю душу вытряхнут. Может, вам бензинчику или что заварить надо? Так это мигом. Мы, сибиряки, люди простые, не стесняйтесь. — И опять в сторону: — Не прите! Русским языком говорю. Люди из Ленинграда едут, а вы на них как медведи.

Не больше десяти минут мы пробыли среди людей. И какое такое чудо есть в участливом взгляде, в добром слове?

Мы поехали дальше. Ни усталости, ни тоски, ни одиночества. Даже лихость какая-то появилась. И мы даем полный газ.

### ВСТРЕЧА НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ

Ехали по Чуйскому тракту, вдоль буйной горной реки Катунь. Она бугристая и пенистая. Глядишь на нее — кажется, что вместе с потоком катятся громадные валуны.

Весь день шел дождь. Он проходил полосами, крупный и густой. Катунь еще сильнее закипала, вспучивалась и темнела. На изгибе реки в самый сильный ливень появился плот. Четыре человека в широкополых шляпах управляли шестами.

Река была глубоко внизу, в ущелье. А кругом горы, покрытые черным густым лесом. Дождевые тучи тяжело вываливались из-за хребтов. И вдруг над рекой, над плотом и над всей долиной перекинулась яркая перламутровая радуга.

На ночлег остановились в большом каменном доме дорожного ремонтера. На крыльце сидел человек с косой челочкой. Его окружали мальчишки. Большие и маленькие. Все босоногие, с удочками, и все с вопросами.

— Дядя Коля, а дядя Коля, ваши кролики мышей едят?

— Дядя Коля, а вы на охоту завтра пойдете?

— Дядя Коля, а вы барса когда-нибудь видели?

Мы тоже обратились с вопросом:

— Можно у вас переночевать?

— Ночуйте, — сказал он, — места не жалко.

И поднялся нам навстречу.

Мальчишки упорхнули стайкой воробьев, и длинные удочки покачивались над ними, как пики. Только один, худенький и встрепанный, все не хотел уходить и пытался рассказать о какой-то драке.

— Я его ударил справа, а он говорит: не по правилам.

— По правилам, — сказал дядя Коля. — С катушек сшиб, значит по правилам. — И крикнул жене: — Гости к нам!

На крыльцо вышла невысокая женщина с большими грустными глазами. Она была босая, в мешковатом неопрятном платье.

— В доме-то неприбрано, — сказала она. — Может, чайку поставить?

В кухне, кроме плиты, стола и табуретов, ничего не было. Пусто было и в большой комнате. В одном углу лежал ворох ватников и тряпок. В другом — стояла пружинная кровать без матраца.

— Не прибрахлались еще. Вот портки мне баба купила за три червонца, а теперь жрать нечего, хоть копыта отбрасывай, — весело сказал хозяин.

Он сел на подоконник, поставив ногу на стул. Он был невысокий, сухой, в красной майке, в новых брюках и болотных сапогах с отогнутыми краями. Спина и плечи мальчишеские, движения внезапные. О чем бы он ни говорил: о смерти, о голоде, — все получалось залихватски весело и беззлобно.

Николай Николаевич Колышлев шестнадцать лет отсидел в тюрьме. Пятнадцатилетним парнем он уже грабил дома в Горно-Алтайске, забирался в чужие карманы на базарах.

«Но больше я промышлял на тракте. Грузовички шли в Монголию. Контейнеры таскали. А я подрабатывал. Заберешься с вечера на скалу, а ночью шарах в кузов! Замок с контейнера по боку, а шмотки партнеру кидаешь. Иногда — сработал, а там игрушки: попугайчики, соски. Пошлость одна. Вот поедете дальше, ту скалу поглядите. Местечко теплое. На изгибе как раз. Между прочим, на моей дистанции... Первый срок мне намотали по-божески. Восемь лет. А там — карты, дебоши, промышлял понемногу: у кого передачку хапнешь, у кого пайку. К концу срока одному начальничку кулаком двинул. Еще десять добавили. И — труба!»

Он убежал четыре раза, и всякий раз его ловили и возвращали обратно. И каждый раз осуждали за побег на двадцать пять лет. А о рыбалке думалось все больше. И все больше мечталось о воле. «Хватит, — сказал он, — так и вся жизнь пройдет. Надо кончать». И впервые взялся за работу.

Неожиданно пришла амнистия. Вышел такой закон: тех, кто посажен до совершеннолетия и ни разу не выпускался, освободить.

У Николая Николаевича спросили: будет ли он воровать на свободе?

Он ответил:

— Что я могу сказать? Скажу, что не буду, все равно не поверите. Скажу, что буду, — не выпустите. Смотрите сами.

Его выпустили.

«Пошел за паспортом, и не верится. Иду без конвоя, никто не орет на меня. Попробовал бежать — все нормально. Беги себе, никто и внимания не обращает. Воздуха кругом — навалом. Ну, думаю, паспорт — это, наверное, книжища во! Из чистого золота. Я ведь никогда его не видел...

С Колымы дорога длинная, с голоду загнешься, пока доедешь. Кинулся я к начальникам: «Дайте, говорю, заработать, а то грабану кого, и опять в тюрьму». Устроили на промысел. Золото искать. За три недели восемь тысяч отхватил. Купил касторовый костюм чистой шерсти — приедется. Решил махнуть на Алтай. А я тогда цену-то деньгам не знал. Пока доехал, один червонец остался. Вышел я на станции, смотрю: по перрону дамочка прогуливается. Идет она и сына за руку держит. Щуплая такая, черненькая. Подкатился к ней. Слово за слово. «Нет, говорит, у меня ни мужа, ни отца, ни матери, ни дома. Куда податься — сама не знаю». — «Всего, говорю, у нас поровну. Покатились вместе!» Ее Зоя звали. Хорошая такая женщина. Сели мы на попутную машину. Довез мужик нас до какого-то села. Ночь. Темнота. Вышел он из кабины и кричит мне: «Дальше не еду. Расплачивайся!» А я ему: «Знаешь, друг, я из тюрьги. В кармане червончик на всю компанию. Отдам его, тебя же и грабануть придется».

Хлопнул он дверкой — и ходу. Спрашиваю у прохожих: «Что это за место?» Говорят: «Долина Свободы». Вот это лафа! Самое место для меня. Лучшего не придумаешь.

Утром кинулся работу искать. Прихожу в милицию. Так, мол, и так. Стали проверять документы.

«Вы, говорят, из тюрьмы, вор».

Ну, думаю, бюрократы несчастные, что вы мое прошлое копаете? Этим я по горло наелся. Я же по чистой вышел, честно пришел, никому ничего, все что было, черным крестом вычеркнул, а они заново копают.

«Ладно, говорят, работу мы вам дадим, с квартирой. Будете дорожным ремонтником высшей категории. Четыреста рублей зарплата».

Ну, думаю, четыре бумаги в день! Это же кутеж сплошной.

А тот брюхатый бюрократ и говорит мне: «Это вам не в день четыреста, а в месяц».

Хотел я тут рубануть его по наглой харе, да куда подашься? Зоя за углом последнюю сардельку доедает. Сынишка с нею, трехлетка.

Приехал я сюда. Дали мне лопату и кайло. Там кайло и тут кайло — пошлость одна. Перебросал это я в первый день двенадцать машин гравия, пришел домой, кинул лопату в кусты. «Вылечу, думаю, на трассу, пока не подох с этой работы».

Аванс в первый же день прожрали. И касторовый костюм побоку. Зоя по ночам уговаривает: «Брось дурить, что тебе эта трасса? Проживем как-нибудь». А нервы у меня дурные. Заплачет ночью мальчишка, я вдруг как заору — самому жутко. Потом ничего, успокоился. Привык. Картошку посадили. Кроликов завел. Зоя забеременела. «Порядок, думаю, человеком становлюсь». Премию мне подкинули, ружьишко купил, блесен штук двадцать наделал, прибрахляться стали. Кровать все хотел купить для Зои, спала она на полу, на тряпках, и стонала по ночам во сне. Живот большой, а щуплая такая. Стеснялась. «Ты, го-

ворит, не гляди на меня, еще разлюбишь». А тут пошла она вечером на речку рубашки стирать, а пьяная шкура вел по дороге ЗИЛ, налетел на обочину и сбил ее ЗИЛом. Поднял я ее на руки. Легкая, что перышко. Иду, а у самого ноги гнутся. Похоронил я ее у дороги. И столбик над могилой поставил. «Ну, думаю, ничего больше не надо — вылечу на трассу». Сдал мальчишку в детдом: посмотрю на него — и жгет меня, точно мышьяк проглотил. Но не вылетел. Остался. Поклялся я тогда: ни одного пьяного гада не пропущу мимо дома. Никакими богами не отмолятся».

Николай Николаевич стал общественным автоинспектором. Шоферы Чуйского тракта почувствовали, что желтый дом дорожного ремонтера на сто первом километре — это застава, которую невозможно пролететь под хмельком или с лихостью. Одни водители подружились с ним, другие грозили поджечь дом или полотить на дороге.

«Окружили меня как-то ночью и заводные рукоятки из кабин повытаскивали. Выхватил я из кучи песка спрятанный тесак — он что сабля. Глаза у меня в драке дикие. Кричу: «Ну, гады! Кому брюхо вспороть?» А эти крысы увидели тесак — и по кустам. «Дяденька, говорят, брось дурить. Пусты к машинам».

Только не везет мне: все грошей нет. Картошку посадил — не выросла. Поросенка растили — сдох. Кролики дохнут. Ружье другу дал пострелять, так он его шархнул о дерево, и приклад — в щепки. В хате шаром покати. Опять хоть на трассу выскакивай».

— Теперь уж не выскочишь, — сказала женщина тихо.

Все время, пока он рассказывал, она стояла у плиты, скрестив на груди руки, и грустными любящими глазами смотрела на него.

— Теперь-то он не такой. Его тут все любят. И детишки и взрослые. Начальство к нему в гости приезжает. У него и грамоты есть. И из Москвы и краевая. А картошка у нас будет. И поросеночка купим. У нас и огурчики есть и капуста. Он к хозяйству-то неспособный, все на рыбалке да на охоте пропадает. Да пусть его, истосковался.

— Ладно тебе, не расхваливай, — сказал он смущенно.

Мы вышли на улицу. Было уже темно. Черными горбами упирались в небо горы. На тракте, как волчьи глаза, горели фары автомашин. Ночь была тихая и звездная.

Сели на крыльцо покурить.

— Завтра на рыбалку, — сказал Николай Николаевич, — тут нельмы навалом. Нельма — рыба дошлая. Подцепишь ее, а она как даст хвостом — только держись. Ее к берегу сразу не выволакивай, по-тихому надо — сорвется дура. Тут нужно ласково, на измор брать. А выволочишь — подохнуть не жалко! Лежит она перед тобой, как бревно, и хвостом подмахивает. Красота! Я бы и спал на реке, да баба не разрешает. «Простудишься», — говорит. У меня что ни суббота — компания собирается, мальчишки приходят из деревни, дружки из автоинспекции на мотоциклах приезжают. Снасти в охапку — и на реку. С ночевкой, Или в горы подаемся — козлов бить.

Мы спросили:

— А старые дружки беспокоят?

— Были как-то. «Скурвился, говорят, ты, Колька. С фраерами крутишь». А я им прямо сказал: «Наглотался я этой малины по самый верх. С меня довольно. И смазывайте отсюда пятки». Теперь-то я понимаю: они же, крохоборы подлые, на чужой шкуре живут. Как вошь. Ко мне вот мальчишки липнут, так я им говорю: я себе всю жизнь испоганил. Если ты, сопля, такую же пошлость сделаешь, так я тебе лучше сразу своими руками кишки выпущу.

Мы еще долго сидели на крыльце, рассказывая Кольшлеву о нашей поездке, о Ленинграде. Нам приглянулся этот человек, который так весело и стойко борется со своим страшным прошлым. Мы и теперь пишем ему и получаем письма от него.

## ИСПЫТАНИЕ ДОЖДЕМ

## СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

22 июля

Едем по Чуйскому тракту. Места здесь такие красивые, каких, пожалуй, не увидеть и на Кавказе. На тракте много больших грузовиков, они идут в Монголию, везут туда машины и контейнеры с разнообразными товарами. В каждом селе благоустроенные чайные для проезжих. Здесь кормят обильно и вкусно.

В селе Черге, на перекрестке, расспрашиваем шоферов: можно ли проехать к Усть-Каменогорску через горы? Все говорят одно и то же: «Если дождей не будет, проедете». Смотрим на небо — из-за гор опять ползут тучи. Очень не хочется возвращаться обратно в Бийск и делать большой крюк. Прощаемся с асфальтом Чуйского тракта и едем к селу Алтайское. Мокрая каменистая дорога то стремительно падает вниз в тесные, заросшие лесом ущелья, то крутыми зигзагами взбирается по скалистым склонам.

Во второй половине дня начался подъем на Камарский перевал. Мотор перегревается. Перевал голый и каменистый. На нем лежат тучи, набухшие дождем. Въезжаем в холодный морозящий мрак. Чувство одиночества и пустоты. По краям дороги видим только суровые камни. Но вдруг услышали, что мотор запел веселее. Это начался спуск. Выезжаем из мрака. Над долиной тучи разорваны, в проветах — голубое небо. Видим несколько радуг сразу. Въезжаем под один яркий свод, потом под другой. И чем ближе долина, тем веселее и радостнее.

Проехали за день сто тридцать шесть километров.

Ночуем в большом селе Алтайское.

24 июля

Заснули вчера поздно. Ночевали в селе Солонешное. Весь вечер обсуждали с постояльцами Дома приезжих, можно ли проехать на Чарышское. Большинство сомневается. Кто-то сказал:

— Поезжайте до Тальменки, а там расспросите. Говорят, что одна машина перебралась через Березовую Гриву.

Ночью выходили на улицу смотреть на небо. Были звезды. А под утро опять дождь.

Дорога совсем раскисла. О выезде нечего и думать. Сидим на крыльчке и ждем, пока дорога подсохнет. Кругом темные лесные склоны. Мы как в колодце.

Выехали около одиннадцати часов. Дорога сразу пошла вверх. Она крутая, скользкая, опасная, с неожиданными поворотами и обрывами. Вода скопилась всюду, где только можно, образовала громадные грязные лужи и топкие трясины.

Сначала пытались преодолевать эти трясины с ходу, но каждый раз застревали посередине. Двигатель работал вовсю, а мотоцикл не двигался с места. Приходилось слезать, погружаясь почти по колено в грязь. Толкали машину все втроем, поднимали коляску, подкладывали под колеса камни и ветки. А через десять—пятнадцать метров снова яма, снова трясина, и опять получасовая возня в грязи.

Потом стали действовать иначе. Останавливались перед ямой и производили разведку — ногами и палкой прощупывали дно: здесь поглубже, а здесь помельче, но более вязко. Сюда можно бросить камень, а на ту корягу кто-нибудь встанет и приподнимет коляску. Когда все было заранее продумано, операция проходила быстрее.

Проехали за день всего восемнадцать километров.

Уже завидели впереди деревню Тальменку. Она была совсем рядом, за ручьем, только подняться по склону. И вдруг обрушился дождь. Склон стал таким скользким, что подняться оказалось невозможным. А дождь хлестал все сильнее. Укрыться негде, хоть и видны дома деревни. Решили ехать по ручью, авось где-нибудь он выведет в деревню. Ручей каменистый. Машина подпрыгивает на скользкой гальке.

Вытащить мотоцикл из ручья помог хозяин крайнего дома, семидесятипятилетний Сергей Федорович Романов. Это сухой, крепкий, суровый старик. Встретил неприветливо:

— Документы есть?

Показываем документы. Он идет за очками и очень долго читает наши удостоверения и паспорта.

— Это для меня не документы, — говорит он и небрежно отдает их обратно, — вы мне партбилеты предъявите.

Потом оказалось, что Сергей Федорович беспартийный. Был в партии, но исключен.

В 1928 году он организовал здесь колхоз и стал его председателем. В горах скрывались кулаки. Они жгли колхозные посеы и уводили скот. Одного из бандитов долго не могли поймать. Председатель колхоза отправился на розыски сам и когда встретил бандита, то поступил с ним не по закону, а сгоряча.

— Рука у меня слишком тяжелая, — говорит Сергей Федорович. — Шарахнул я его по шее прикладом, и дух вон! Мне бы тут сразу акт составить, а я не догадался. Вот за это и исключили. — Он горько вздыхает, предаваясь грустным воспоминаниям, потом говорит: — Только это райком меня исключил, а я себя не исключал, я себя до сих пор партийным считаю.

В колхозе Сергей Федорович работал до семидесяти трех лет. В последний год заработал шестьсот шестьдесят трудодней и награжден медалью «За трудовую доблесть». У него девять сыновей и дочерей, двадцать два внука и пять правнуков. Деда все уважают и берегут, но он без работы не может. Ходит по полям, по фермам, во все вмешивается, дает советы.

Нам рассказали, что в прошлом году он посмотрел, как убирают солому, — не понравилось. Взял лошадь и говорит: «Смотри, молодежь, как надо работать!» — и один наметал двести стогов соломы.

25 июля

Всю ночь опять дождь. До часу дня ждали, пока дорога подсохнет. Сыновья, внуки и правнуки Сергея Федоровича провожали нас из деревни. Обнадеживали:

— Главное — в гору подняться, тут немного, всего шесть километров. Если подыметесь, там уже будет легче. Правда, потом еще двенадцать километров болотом, но поищите по кустам колею — иногда там телеги проходят.

С такими напутствиями и отправились. Почти все шесть километров, засучив штаны, толкали мотоциклы руками. Потом начались болота, и опять каждые десять—пятнадцать минут вытаскивали машину из трясины.

Уже подъезжая к деревне Большой Боцелаг, повстречали телегу с двумя женщинами, Они, увидев нас, всплеснули руками.

— Ох, родные вы! Ну и грязи на вас! Как лешие.

Мы говорим:

— Поменяться бы. Вы нам лошадку, а мы вам — мотоцикл.

— Да как им управлять, мы не знаем, вожжей-то у него нет. А вас поди заставляет кто?

И никак не могли поверить, что нас никто не заставляет, а едем мы для собственного удовольствия.

Проехали в этот день шестьдесят километров, Ночевали в селе Чарышское.

27 июля

Испытание дождем продолжается. В Пустыньке нам сообщили, что уже три дня сюда не приходила ни одна машина, даже киномеханик не пробрался. Это самая отдаленная ферма Покровского племсовхоза. Посоветовали ехать на деревню Маячное, и опять оговорка: если проедете по дну реки. Река Чарыш в одном месте смыла каменистую тропу. Справа — скалистый уступ, слева — вода. Поехали по дну, огибая уступ. Вода набралась в коляску. Казалось, что едем не на мотоцикле,

а-на моторной лодке. Все время ждали, что двигатель заглохнет, но ничего — проехали.

Опять поднимаемся в горы. Толкаем мотоцикл перед собой. Колеса не крутятся — забиты грязью. Дождь и пот застилают глаза. Так бьемся несколько часов.

Возле деревни Маячное застряли совсем. Здесь тоже ферма племсовхоза. Оставляем мотоциклы в грязи и пешком идем в контору. Нам дают трактор, мы грузим «макаку» на тракторные сани, а ИЖ привязываем тросом.

Вечером добрались до центральной усадьбы совхоза. За день проехали двадцать пять километров, из них двенадцать за трактором.

### 28 июля

Проснулись и не поверили: ясное небо и солнце. Плясали от радости, как солнцепоклонники. Мы так соскучились по солнцу! Но радовались недолго. Тучи напали на небо внезапно, как кавалеристы. К девяти часам уже было пасмурно, а в половине десятого пошел дождь. Дорога так и не успела подсохнуть.

Погружаем на тракторные сани оба мотоцикла, связываем их веревками и пристраиваемся рядом с ними.

Четыре часа тащимся до деревни Варламово.

За Варламовом дорога пошла лучше, и мы поехали своим ходом.

За день одолели семьдесят три километра, из них — двадцать на тракторе.

Ночуем в селе Курья, на тракте Пospelиха—Третьяково. Погода сейчас отличная. Небо ясное. Впереди — гудронированное шоссе. Пожимаем друг другу руки и поздравляем с тем, что самое плохое осталось позади.

### 30 июля

Эту запись делаем уже в Казахстане, в селе Вербухинка. Раннее утро. Дождя нет.

Глядим на карту и приходим в отчаяние: мы проехали только шесть тысяч двести тридцать девять километров — одну союзную республику, а впереди еще все остальные, впереди — тринадцать тысяч километров.

Мы снова садимся на мотоциклы.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

В начале сентября вернуться в Ленинград нам не удалось. Вернулись только в конце сентября, но и для этого пришлось гнать, нигде не задерживаясь, ничем не отвлекаясь, останавливая мотоциклы только для несложного путевого ремонта и короткого ночного отдыха.

И в памяти остались только блики, яркие многоцветные пятна, будто стлался перед нами громадный ковер — прекрасный ковер нашей родины.

От Каховки до Кишинева наш путь лежал почти прямо на запад, и каждый вечер мы любовались закатом. Солнце опускалось на убранные поля, на бархатные сады, и под его лучами загорались, вспыхивали ярким пламенем отдельные деревья в садах и вдоль дороги. Но это был недолгий пожар — он затухал сразу же, как только гасла зоря.

Где-то около Тирасполя мы однажды увидели, что солнце уже зашло, а на тоненьком невысоком клене остался маленький отблеск пламени. Каким-то чудом он не погас, тлел и тлел в синеватом вечернем сумраке. А на следующий день мы увидели отблеск пламени после захода солнца и на могучем дубе, который рос возле дороги, и на акациях, и на каштанах. А потом и в садах мы видели клочки непогасшей зари, будто застряли они среди листьев, и горели там, и свисали гроздьями. И оно не гасло, это пламя в садах, а все разгоралось и разгоралось, и пожар не затухал. И мы поняли, что это осень.

За Кишиновом началась осень. Мы достали из багажников прорезиненные куртки, которых не надевали от самого Алтая, и больше не расставались с ними до конца пути. Все набухло водой и намохло. Намохленные стояли дома и деревья, намохленные люди глядели на нас из-под капюшонов, намохленные тучи свисали над головой. И мы опять все посматривали на небо с отчаянием и надеждой.

Небо! Оно всегда над нами. Где бы мы ни ехали. В лесу оно маленькое, как пятнышко. В горах оно низкое; кажется: протяни руку — и достанешь. А в степи или в пустыне оно громадное и далекое.

Когда небо ясное, все вокруг становится ярким, дружелюбным, и нам тогда весело и хорошо. А если небо хмурится, все вокруг враждебно и неприветливо и мы едем грустные и злые.

Иногда нам кажется, что небо — это самое главное в нашем путешествии, что мы едем не столько по земле, сколько под небом. Мы проехали разные страны, — желтые страны песка и зеленые страны тайги, белые страны горных вершин и голубые страны воды, а небо над ними одно. Мы встречали разных людей. Одни из них никогда не видели леса, другие — гор, третьи — моря, а небо видели все. И все они были нам как братья, потому что все мы сыновья одного неба.

С каждым днем становилось все холоднее. Однажды, проснувшись в какой-то маленькой белорусской деревне, мы увидели, что поля кругом побелели и крыши тоже и наши мотоциклы припудрены инеем.

У нас было байковое одеяло, старое, верное желтое одеяло, которое не раз служило нам во время ночлегов. Мы разрезали его и поделили поровну. Один сделал из своей части одеяла капюшон, другой накинул на плечи, как шаль, а третий закутался, как в римскую тогу.

Пожалуй, самым трудным днем нашего путешествия был последний. Мы выехали из Пярну в шесть утра с решением во что бы то ни стало ночевать уже дома. Весь день шел дождь. С Балтийского моря дул холодный, порывистый ветер. За Таллином отвалился щиток переднего колеса. В Кохтла-Ярве порвался тросик заднего тормоза. Перед Нарвой сломалось крепление руля. Ремонтировались под дождем, наспех, с одной мыслью: лишь бы как-нибудь доехать!

Когда стемнело, обнаружили, что отказал генератор и фара почти не светит. Ночь была темная, дождь усилился, шквальный ветер больно хлестал по лицу тяжелыми дождевыми каплями. Ехали как слепые. Мокрые и ооченевшие. Встречные машины возникали внезапно, яркий свет фар слепил глаза, и тогда казалось, что мотоцикл несется куда-то в лес или под колеса машины. А потом мрак становился еще гуще, и мы ехали наугад по едва различимому коридору между двумя стенами леса.

Уже полночь увидели зарево. Зарево над Ленинградом. Оно разгоралось, ширилось, оно захватило полнеба. Вот уже впереди цепочка огней, вереницы огней, островки огней. Они сливаются, и весь горизонт блещет, будто приветствуя наше возвращение.

Первый дом. Первая улица. Первый житель Ленинграда. Нам хочется обнять его. Мы смеемся. Мы пожимаем друг другу руки.

Все-таки, говоря откровенно, как хорошо, что даже самому интересному путешествию приходит конец!

Конец? И завтра не надо будет больше искать ночлега, считать километры, спешить домой? Конец?.. А может быть, только начало?

Чего начало?

А всего. Впереди радость воспоминаний. Впереди новые путешествия. И еще не раз мы будем задавать себе все тот же тревожный и радостный вопрос: а что там, за поворотом?



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РОДНЯНСКАЯ

★

## О БЕЛЛЕТРИСТИКЕ И «СТРОГОМ» ИСКУССТВЕ

**О**чень трудно оперировать с понятиями, интуитивное и эмоциональное отношение к которым уже сложилось и стало едва ли не традиционным, между тем как сами они не получили сколько-нибудь удовлетворительного определения. Как правило, оказывается, что долговременная «неопределимость» таких понятий далеко не случайна: их обволакивает клубок сложнейших общественно-психологических проблем, и, чтобы добраться до истинного значения какого-нибудь «простенького» и употребительного словечка, нужно распутать весь клубок — работа, осуществляемая чуть ли не в масштабах смены человеческих поколений. Между тем однажды сказанное слово неизбежно закрепляется в языке, и люди, произнося и слыша его, полагают, что понимают друг друга, между тем как они всего лишь наладили общность чувствований по поводу некоего не уловимого, не определяемого до поры явления.

К таким сакраментальным словам принадлежит слово «беллетристика», которое давно уже употребляется не в своем этимологически буквальном (*belles lettres* — изящная словесность, другими словами — проза, принадлежащая искусству, в отличие от научной и публицистической прозы), а в переносном смысле, приобретая слегка уничижительную и негативную окраску. В самом деле, что такое беллетристика: легкое непритязательное чтение, художественная и вместе с тем чем-то не художественная литература? Почему и кому она нужна? И всегда ли будет нужна? Побочный ли она продукт художественного развития человечества или, напротив, питательная среда для создания «вершинных» произведений? Неизбежное (если и впрямь неизбежное) зло

или добро, не оцененное по достоинству? Является ли беллетристика вечным спутником «большого» искусства или сопровождает его начиная с какого-нибудь определенного исторического этапа?

Чтобы ответить на эти вопросы в достаточной степени полно, нужны по крайней мере: вполне научное представление о психологии художественного творчества и восприятия его плодов — во-первых; ясное понимание социальной роли искусства и законов его эволюции во времени — во-вторых.

Не выдавая себя за человека, удовлетворяющего этим условиям, я попытаюсь на некоторых примерах из прозы последнего времени продемонстрировать качественную разницу между потребностью читателя в беллетристике и в «высокой» литературе (что обычно смешивают и объединяют под титулом «потребности в чтении», которую, мол, и призвана удовлетворить беллетристика, поскольку число «шедевров» во все времена и у всех народов крайне невелико). Я постараюсь провести грань (во многом, конечно, условную) между художником и беллетристом на основании того, какую из этих потребностей тот и другой стремятся удовлетворить. О социальной природе обеих потребностей, об их во многом общей психологической первооснове я писать не берусь, по крайней мере в данной статье, — эта тема требует отдельного рассмотрения.

### «БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОЕ» ВОСПРИЯТИЕ

Беллетристика не могла бы существовать, если бы любой читатель не был способен и даже предрасположен к «беллетристическому» восприятию литературной продук-

ции. Грубо и приблизительно можно сказать, что такое восприятие состоит в предвкушении знакомого и желанного, в удовольствии, которое способен испытывать каждый, видя свои желания воплощенными пусть всего лишь на бумаге.

Белинский считал, что у беллетриста (в отличие от гения и «гениального таланта») нет оригинальных идей; даже одаренный беллетрист подхватывает чужие идеи и, трактуя их более или менее самобытно, распространяет в среде читателей. О каких чужих идеях здесь можно говорить? Об идеях писателей прошлого или литературных современников нашего беллетриста? Но творческая преемственность художественных идей — основа всемирного литературного процесса, а разновидности механического их заимствования располагаются где-то по шкале между эпигонством и плагиатом и к разговору о беллетристике имеют лишь косвенное отношение.

Речь тут, по-видимому, идет о взглядах, прижившихся в читательской среде, к которой апеллирует беллетрист, об идеях (и предрассудках), давно ассимилированных ею и прочно в ней отстоявшихся. Именно на такого рода идеи беллетрист ориентируется в первую очередь, независимо от того, развивает ли он их с жаром и рвением или, вывернув наизнанку, изготавливает на этой основе забавные парадоксы. Беллетрист заимствует у читателя, у традиционного читательского мнения и у читательского желания, с тем чтобы, возвратив заимствованное в декорированном виде, порадовать читателя узнаванием привычного или удовлетворить его осуществлением несбыточного.

Иногда полагают, что беллетристика — это часть литературной продукции, рассчитанная на потребности большинства читателей в отличие от произведений «истинного» искусства, не всегда легко доступных. Думаю, что это — в определенном смысле — заблуждение «знатоков» художественного, пренебрегающих беллетристкой и поэтому неточно представляющих ее назначение.

Нет ничего наивнее мнения, что «большинство» потребляет некую Беллетристику вообще. Беллетристика делится на множество категорий, и каждая из них пользуется спросом в более или менее узкой читательской среде. Существуют читатели «молодежных повестей» и читатели солидных историко-беллетристических романов, чита-

тели «шпионской» литературы (что и говорить, их немало, но все же это не «массовый читатель», взятый как целое) и читатели сентиментальных переводных книжек вроде «Птички певчей» или «Черных роз». Если «знатоки» будут добросовестны, им придется признать, что они сами составляют весьма замкнутую категорию потребителей беллетристического чтения в духе пьес Пристли<sup>1</sup>. В этом смысле только подлинно художественная литература — единственный род чтения для всех, обладающий общечеловеческим назначением и рассчитывающий в каждом найти потенциального читателя. Художник, так же как и беллетрист, апеллирует к читателю, но он обращается к каким-то иным сторонам его души.

Известно изречение о том, что умному актеру «почему-то» всегда попадается умный зритель. То же самое можно сказать об умной книге. Ее читатель обычно оказывается под стать ей. Но самая любопытная сторона приведенного изречения заключается в ироническом словечке «почему-то». Да потому, что эти умный и глупый зритель, умный и глупый читатель очень часто бывают совмещены в одном лице. Это каждый из нас попеременно бывает в роли умного и глупого читателя, в зависимости от того, наедине с какой книгой он остается. Надо сказать, на роль «глупого» или во всяком случае нетребовательно-наивного читателя все мы соглашаемся очень охотно (разве что не забудем улыбнуться собственной наивности).

Едва мы почуяли, что намсем дело с автором беллетристического сочинения, с которым нетрудно договориться (откуда мы об этом догадались, я постараюсь объяснить ниже), мы, опережая развитие действия, мысленно предъявляем ему ряд просьб-требований. И среди них главное — чтобы «сопереживание» героев не доставляло нам никаких переживаний, кроме приятных (иногда читатель, напротив, готов возжаждать трагедии, вернее мелодрамы, — это тоже род шекотливо-приятных переживаний), и что-

<sup>1</sup> Сто лет назад Л. Н. Толстой писал об авторах для «образованного класса»: «Ежели мы любим чувствительное, — они дают нам чувствительное, мы обличительное — и с радостью приветствуем обличителей». Он полагал, что здесь, как и в любовной литературе, предложением отвечают на требование (цит. по книге: В. Шкловский и Ж. Матвей Комаров, житель города Москвы. Л. 1929, стр. 165).

бы с каждым из героев автор обошелся так, как они, с нашей точки зрения, того заслуживают. Искусство беллетриста в том и состоит, чтобы угадать простые и невинные желанья слабохарактерного читателя наилучшим образом (а порою — в том, чтобы обмануть его ожидания остроумно и не обидно; беллетрист вообще сохраняет со своим читателем чудесные отношения, но об этом — в скобках).

Чтобы нагляднее уяснить свойства беллетристического восприятия, обратимся хотя бы к занимательной и хорошо встреченной читателями повести Б. Бедного «Девчата» («Знамя», № 7, 8, 9, 1961).

В этой повести неопытная, наивная, но такая прямая, непосредственная, задорная, чистая душой девочка Тося — мы желаем ей добра — встречается красивого, разбитного, неглупого и избалованного женщинами парня. Перед его житейским опытом, обаянием и поверхностным цинизмом она как будто беззащитна. Все же нам очень-очень хочется, чтобы Тося «проявила характер», чтобы ее избранник удивился этому и полюбил ее, чтобы она его немного помучила, лишив самоуверенности (так ему и надо!), и чтобы все кончилось отлично для обоих (Тося славная, да и он, в сущности, неплохой). Нечего объяснять, что так оно и происходит.

А вот Тосина соседка по общежитию Анфиса завистлива, жадна, эгоистична, «себя не соблюдает», в любовь не верит; нужно, чтобы она влюбилась по-настоящему и поняла, что это не фунт изюму. Как только это совершается и Анфиса меняется на глазах, ее становится жаль. Но хороший беллетрист чувствует меру, он не пересластит, он говорит читателю: получил счастье Ильи и Тоси — ну и хватит с тебя. Чтобы оттенить счастье и торжество главных персонажей, писатель заставляет Анфису красиво отказаться от своего любимого, а читатель испытывает приятное чувство примирительной жалости. Поскольку все это перемежается такими по-настоящему тонкими и милыми наблюдениями, как, скажем, сцена, где смущенные Илья и Тося во время нескладного объяснения попеременно отгребают носком снег, примерно и бессмысленно расчищая площадку под ногами, — вряд ли найдется человек, которому повесть не доставила бы удовольствия.

Недаром писательница Вал. Герасимова в своей рецензии, названной «Добрая по-

весть» («Новый мир», № 3), признается: «Повесть Б. Бедного «Девчата» читаешь с непосредственным удовольствием. Пусть эта оценка звучит несколько простодушно и может показаться излишне «потребительской». Но, по правде говоря, ко многим ли произведениям можно по праву применить эту оценку?» Как ни согласиться с рецензентом — повесть действительно на редкость приятная и добрая, точнее доброжелательная и добродушная. Весь вопрос в том, какого рода удовольствие мы получаем от нее и можно ли получить от чтения прозы удовольствие какого-то иного характера.

А вот молодой писатель В. Лучосин в своем дебюте «Человек должен жить» («Молодая гвардия», № 3, 4, 1961) выступает в качестве беллетриста неопытного. Студенты-медики приезжают на первую самостоятельную практику. Кто ни пожелает им удачи! Читатель во всяком случае пожелает. Догадавшись об этом, В. Лучосин не идет — летит! — навстречу читательским требованиям. Он обставляет пребывание практикантов в районной больнице невероятно крупными успехами. Они великолепно справляются с весьма трудными операциями (надо ли говорить, как волнует читателя описание хирургической операции и как его радует благополучный результат, — здесь автор всегда может сделать беспроигрышный ход), во всем проявляют исключительную находчивость, с порога разрешают сложные и застаревшие конфликты между сотрудниками больницы. Читатель доволен, но не вполне: даже беллетристическое восприятие не жаждет такой гладкости.

Если тот самый читатель, который только что охотно шел навстречу простодушному удовольствию, доставляемому беллетристической, раскрывает «Большую руду» Г. Владимова («Советская Россия», 1962) и увлечется ею, он тут же «поумнеет», то есть посерьезнеет. Он быстро осознает, что все его благие пожелания должны отступить перед диктатом действительности и осветившей ее авторской мыслью, и как бы сильно и даже тягостно ни было его волнение, он, дорожа этим серьезным волнением, никогда не станет просить пощады и не потребует от писателя компромисса. В этом случае читатель тоже может «жить одной жизнью» с героем, но его представления о счастье и несчастье, торжестве или поражении последнего будут носить иной

характер. Разрешу себе сослаться на собственное восприятие.

Во время чтения «Большой руды» я, дойдя до определенного момента, не могла из-за волнения и тревоги читать дальше и заглянула на последнюю страницу (чего со мною, как с читателем более или менее «искусственным», давно уже не было). Это был момент, когда у героя повести шофера Виктора Пронякина начинают разлаживаться отношения с бригадой. («Что-то исчезло из тех, первых, минут знакомства с ними. Он не любил, когда это исчезает слишком быстро». По-видимому, Виктора смущают только темпы эволюции этих взаимоотношений; к неизбежности самой эволюции он уже успел притерпеться.)

Становится немного страшно надвигающегося конфликта, так очевидны его закономерность и поначалу неприметная глубина, так неловко и стыдно за Виктора (ведь он легко может обидеть товарищей!), так больно и тревожно за него (ведь он легко и незаслуженно может быть обижен ими!), так неумогу ждаты, когда же разразится гроза над виноватой и неповинной головою этого незаурядного парня, что невольно торопишься узнать развязку и, пожалуй, с грустным облегчением воспринимаешь известие о гибели главного героя, который был так дорог,— о гибели, а не о незаслуженном позоре или несправедном торжестве. Это, скорее всего, субъективно. Но смысл подобных переживаний заключается в том, что победа и поражение персонажа естественно сопрягаются в сознании читателя с победой и поражением определенных общественных и нравственных принципов; читательские радости и страдания, сопутствующие развитию действия, несут в себе духовный, идейный заряд.

Здесь мы сталкиваемся с эстетическими переживаниями разных порядков. Первые заключаются в радости, которую доставляет нам беллетрист, верно угадывая наши читательские «замыслы»: словно мы и сами написали бы точно так же, если бы умели. Вторые состоят в постижении (эмоциональном и интеллектуальном — оба эти начала могут сочетаться в разных «пропорциях») мысли писателя и в сопоставлении ее с собственным опытом и взглядом на жизнь. Любой читатель инстинктивно различает эти два типа переживаний. Цель воспитания вкуса и понимания искусства, понимания значения искусства в том, чтобы

научить предпочитать переживания второго рода первым или по крайней мере научить сознательному отношению к разнице между теми и другими.

## НАСТРОЙКА НА БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Что заставляет читателя в одном случае подчиняться воле автора, в другом — смело предъявлять ему «легкомысленные» претензии, требуя их удовлетворения; в одном случае — относиться к нему с безусловным доверием и даже покорностью, в другом — вступать в переговоры относительно правил забавной беллетристической игры; откуда ведомы ему, читателю, границы его прав, все эти «можно» и «нельзя», комплексом которых характеризуется его отношение к произведению искусства и к сочинению беллетриста? В конечном счете мы узнаем все это из слов, определенным образом сочетающихся друг с другом, — из авторского слога, из стиля литературного произведения. Если оно не носит строго документального характера и этот известный нам факт не оказывает дополнительного давления на наше восприятие (а в подавляющем большинстве случаев мы как раз имеем дело с художественным вымыслом), мы остаемся наедине только со словами и только то, что ими обозначается и с их помощью сообщается, сопоставляем со своим жизненным опытом и внутренним миром. Именно поэтому после прочтения первых же страниц, когда содержание вещи во всем объеме еще остается неизвестным, мы уверенно и во многих случаях безошибочно настраиваемся на восприятие беллетристики или на восприятие «строгого» искусства. Словесные признаки, на которые мы ориентируемся во время этой психологической настройки, порою трудно уловимы при аналитическом разборе текста, но наше читательское чутье фиксирует их без особенных усилий.

Перед нами четыре вещи с абсолютно тривиальным, традиционным введением в повествование (роман Л. Обуховой «Заноза», повесть «Девчата» Б. Бедного и «Большая руда» Г. Владимова, рассказ В. Богомолова «Иван»): на первой же странице появляется герой, дается первое беглое описание его облика и внутреннего состояния. Три произведения из предлагаемых четырех вдобавок

начинаются со сходной ситуации, как будто особенно «банальной» (хотя сразу надо оговориться, что банальность и штамп — свойства не ситуации, а ее освещения): персонаж приезжает работать на новое место и находится на пороге и в ожидании решительных перемен в своей судьбе. Но едва приступив к знакомству с каждой из этих вещей, читатель будет реагировать на такой традиционный зачин принципиально, качественно по-разному.

Павел Теплов, герой романа Л. Обуховой «Заноза», приезжает в районный городок Сердоболь (эпиграфом к роману, заимствованным из толкового словаря Даля, мы уже подготовлены к восприятию многозначительности этого названия: Сердо—боль), потерявшийся под «носом у Москвы, как грибовник в палых листьях». Вступительная глава написана с большими вкусом и сдержанностью, чем многие последующие «страницы сердобольской хроники». Но читая о молодости, что, «как костер, горела сама собой», о древесных сучках, франтовато натягивающих белые перчатки, о легких вязаных косынках, наброшенных на узкие плечи ив, о «кисельных берегах заката», мы уже успеваем сообразить, что нас подманивают обещанием «переживательного» чтения. И если обещанное способно нас соблазнить, мы с этой самой минуты терпеливо пойдем по следу, не давая автору сбить нас с толку эпизодами из хозяйственной жизни Сердобольского района (в них есть немало интересного, но кто виной тому, что наше внимание и наши предвкушения уже направлены определенным образом?). Сверни писательница в сторону, не предоставь она теперь читателю хоть чего-нибудь из нехитрого набора деталей бытовой драмы («треугольник», тайные любовные отношения, ребенок, который нектати должен появиться на свет, разрыв) — тот был бы справедливо разочарован и раздосадован несоблюдением неписанных правил беллетристического сочинения. Так несколько стилистических «красивостей» задают тон читательскому восприятию романа.

Обратимся еще к одному «началу» из обещанных четырех — к зачину, написанному талантливым литератором, то есть к сравнительно сложному случаю. Общее впечатление от этого ввода в повесть (я имею в виду уже знакомых нам «Девчат» Б. Бедного), можно передать следующим образом.

Девчушка Тося добирается — поездом, парходом, грузовиком, пешком — к далекому месту своей новой работы. Через три абзаца она нам уже симпатична — неунывающая девочка в легоньком пальтеце, в своих единственных хороших чулках, из-за которых ей пришлось вынести и бесславно проиграть единоборство с перекатывающейся в кузове полуторки грязной бочкой; девочка, впервые заехавшая в такую даль и с ребяческим азартом поджидаящая, не выйдет ли из лесной чащи медведь навстречу их грузовику. Симпатичен нам и авторский тон — улыбчивый тон добродушно-наблюдательного и общительного рассказчика, всегда готового понимающе и доверительно перемигнуться с читателем-слушателем по поводу Тосиной детской восторженности и неуксущности. Да, они оба симпатичны нам — и повествователь и Тося, — и мы уже успели понять, что все это не совсем всерьез, скорее «понарошке», что стоит попросить, чтобы с милой Тосей все было в порядке — а ведь этого ох как хочется! — и писатель пойдет нам навстречу: в этом занятии походящем на настоящий мир он полный хозяин, и хозяин радушный, расположенный, хотя и не без лукавства заставляющий слегка поволноваться. И опять-таки читатель будет обижен, если автор не поведет свое приятное повествование в добром согласии с его, читательскими, желаниями. Зачем было обещать?

Рассмотрим несколько подробнее, из какого словесного источника это впечатление родилось. Здесь не обойтись без длинной цитаты.

«Ох, и долго же добиралась Тося к месту новой своей работы! Сначала ее мчал поезд. За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля, мелькали сквозные рыжие перелески, подолгу маячили незнакомые города с дымными трубами заводов. А деревни и поселки вы бежали и вы бежали к железной дороге — для того лишь, чтобы на куций миг покрасоваться перед Тосей, с лету прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, и с непривычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась сейчас перед ней, а она в своем цельнометаллическом пружинистом вагоне несется вдоль строя и принимает парад.

Погом Тося зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода. Старательно шлепали плицы, перелопачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длинный плот: бревен в нем хватило бы, чтобы выстроить на голом месте целый город с сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром... «Да же с двумя кинотеатрами!» — решила Тося, заботясь о жителях нового города, в котором, возможно, когда-нибудь придется жить и ей. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пестрые кругобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берега от обсохших за лето бревен, убирали в запанях неизвестные Тосе сплочные станки и боны, готовясь к близкой зиме.

Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полуторки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповедную свою чащу. Возбравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом неприкаянно каталась по днищу кузова и все норовила грязным боком исподтишка припечатать Тосины чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и еще на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она зазевалась на толстенные сосны, с корнем вывороченные буреломом, — и ехидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала так, как свое подлое дело...» (Разрядка моя. — *И. Р.*)

Прежде всего нельзя не заметить, что перед нами кусок добротной прозы, написанной опытным литератором, знатоком своего дела. У него профессионально цепкая память и достаточно емкий лексикон, чтобы задача словесного выражения запомнившегося была для него посильной и даже радующе приятной. Он помнит, как выглядят мелькающие за окном вагона перелески, знает, как всего лучше не прямым, а косвенным, метафорическим определением («тяжелая») передать неуютную холодность сентябрьской воды в северной реке; воображение правильно подсказывает ему, что вид

пестрых коров, пасущихся на заливном лугу, вызовет в памяти неопытной полугорожанки представление о плакате; ему известно — и он умеет точно и экономно описать, — чем занимаются осенью сплавщики, причем он понимает, что это свое знание важно к месту продемонстрировать читателю, возможно разделяющему Тосино суждение относительно таких вещей. Ему ведомо искусство строить фразу так, чтобы ее ритм в известной степени соответствовал ритму описываемого движения и усиливал изобразительность всего куска, чтобы сообщение «уместилось в границах строфы», чтобы в перечислении подробностей была соблюдена мера и они не казались бы утомительными.

Читать прозу, обладающую такими качествами, с первых же строк не скучно, занимательно, но... те же самые строки дают основание почувствовать, что писатель не просто занимателен — он как бы делает ставку на занимательность, он озабочен ею, озабочен производимым впечатлением, в его стиле нет того подвижнического самозабвения, с когорым художник не может не относиться к своему замыслу. Посмотрите, как тщательно здесь перебраны и подобраны глаголы для перечисления: поля «веером разворачивались», перелески «мелькали», города «подолгу маячили», деревни «выбегали и выбегали». Это все в меру разнообразно и не лишено точности, но точности, так сказать, самоцельной и рассчитанной. Фамильярно-непринужденное восклицание, начинающее повесть, может быть понято двояко: то ли автор заявляет о своем желании выступить в роли рассказчика, воспользоваться сказом, то ли это начало внутреннего монолога Тоси, тирады, написанной «несобственно-прямой» речью.

И в том и в другом случае в произведении небеллетристическом за приемом стояло бы душевное состояние рассказчика или героини. Но в данном случае автор пользуется смесью внешних элементов того и другого способа изложения — вероятно, в бессознательном стремлении оговориться от ограничений, накладываемых на писателя сознанием серьезности «делаемого дела», и заговорить с читателем тем искусственным, условным языком, которым взрослые порою разговаривают с детьми.

В тексте «мелькают» слова, способные, по мнению писателя, дать представление о Тосином лексиконе и о ее восприятии увиден-

ного: законные пейзажи появляются, чтобы на «куцый» миг покрасоваться; плот — «длиннощий»; ехидная бочка подкатилась к беззащитным чулкам «один лишь разик» и т. д. Но эта стилизация обнаруживает, по видимому, такую же степень понимания Тосиной души, какую — воспользуемся еще раз этим сравнением — обнаруживает взрослый, давно забывший собственное детство и поэтому судящий очень приблизительно о психической жизни ребенка: он подмечает в последнем только общее и внешнее — инфантильность — и не понимает его человеческого своеобразия, серьезности и «всамделишности» его душевных движений.

Поэтому подтрунивание автора-рассказчика над Тосей (он все-таки рассказчик, поскольку, нагнетая шутливые метафоры — большинство из них я подчеркнула, — откровенно демонстрирует свое добродушно-юмористическое отношение к описываемому), его балагурство по поводу ехидной бочки, норовящей припечатать чулки и сделавшей таки свое подлое дело, и прочее — могут доставить нам удовольствие единственно при условии, если мы пойдем на соглашение № 1: смиренно станем считать Тосю «девочкой, перед которой открывается неизведанный мир», и только. Мы допустили право писателя на беллетристическое упрощение и взамен вознаграждены правом радоваться шутливой бойкости прозаика. Теперь нас не покоробит ни то, что Тосина наивность предельно утрирована (фразы о «параде» и о «городе с двумя кинотеатрами»); ни безмятежно шаблонный «образ»: «Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповедную свою чашобу» — с «поэтической» инверсией притяжательного местоимения; ни наконец, что сквозь прорехи этого беллетристического красноречия проглядывает несложная конструкция: Тося всем доверяет, всему радуется, ничего не боится, никогда не теряется — и будет вознаграждена; «цельнометаллический пружинистый вагон» провезет ее через неблагоприятные перипетии к счастливому месту назначения (последнее даже доставит законное удовольствие — это премия за читательскую снисходительность и за готовность соблюдать правила игры). А снисходительны мы потому, что стиль автора с самого начала просигналил, чего нам следует ожидать от книги. Особенности слога могут безотказно понуждать любого из нас к «беллетристическому восприятию».

Читатель снимает с библиотечной полки книгу П. Нилина «Жестокость», нерешительно перелистывает ее. «Про что это?» «Про работу уголовного розыска в двадцатые годы» — без запинки отвечает библиотекарь, уверенный в силе воздействия этой формально правдивой фразы. Выслушав такой ответ, читатель (почти каждый!) не колеблется более и уносит книгу домой, но, углубившись в нее, очень скоро соображает, что в библиотеке его «провели»: книга — по первым страницам видно — явно «не о том», настройки на «беллетристическое восприятие» не получаются. Иной рад этому, иной недоволен... Впрочем, нужно отдать справедливость добросовестности работников Воениздата: они не включили в «Библиотеку военных приключений» ни повестей Нилина, ни рассказа В. Богомолова «Иван». блюда чистоту и цельность своей серии. Их не ввело в заблуждение, скажем, «приключенческое» начало богомоловского рассказа о мальчишке-разведчике.

К командиру батальона приводят оборванного, худенького, промокшего мальчишку. Он ползал в ледяной воде возле берега (наши части расположились на берегу Днепра, на другом берегу — немцы; оба берега тщательно охраняются, просматриваются и простреливаются противниками). Откуда он взялся? На вопросы командира мальчишка отказывается отвечать, требует, чтобы о нем сообщали в штаб армии, правильно называет номер полевой почты штаба. Наконец он вынужден сообщить, что приплыл «с того берега». Это так невероятно, что кажется офицеру-рассказчику явной ложью. (Прием, распространенный и в беллетристике: чем сильнее недоверие рассказчика к допрашиваемому, тем меньше сомневается читатель в правдивости слов странного парнишки.) Мы сочувственно заинтригованы поведением мальчишки, предполагая в нем «маленького героя», — о подвигах и приключениях всегда интересно читать.

Все это действительно присутствует в рассказе В. Богомолова и в таком — формально правдивом, как и фраза библиотекаря о «Жестокости», — изложении всецело отвечает требованиям вышеупомянутой серии Воениздата. Но можно начало этого же рассказа изложить по-другому: «ближе к тексту» и, значит, ближе к **з а м ы с л у**.

Первые строки играют, казалось бы, чисто информационную роль: ефрейтор приходит в землянку старшего лейтенанта, будит его и докладывает о том, что привел задержанного мальчика. Но благодаря этим же строкам мы (при непосредственном чтении — незаметно для себя) узнаем нечто не менее существенное для дальнейшего понимания рассказа, чем необходимые фактуальные сведения. Мы сразу попали в атмосферу фронтовой жизни, фронтовой психологии, фронтовых привычек. Война во всем: и в «терминологии», которой привычно пользуется рассказчик («В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать»); и в том, как он «скомандовал» (не приказал — приказать может и штабский начальник, а именно скомандовал): «Зажгите лампу», — хотя зажечь лампу в жилище для любого, не проникнутого армейским бытом, человека такое обычное, домашнее, уютное действие, что оно просто не вяжется со словом «команда»; и в сплюсненной сверху гильзе, которая служит площадкой для освещения землянки. И вот в этой обстановке, пропитанной духом затяжной войны и военной службы, появляется мальчик лет одиннадцати, на вид сирота из старого сентиментального стихотворения — посиневший от холода и дрожащий, в мокрых, прилипших к телу рубашке и штанах, узкоплечий, с тонкими руками и ногами. Когда он раздевается, чтобы вымыться, рассказчик видит на спине у него, над правой лопаткой, багровый шрам от пулевого ранения. Он мечен войной. Однако не только обстановка и не только этот шрам на ребяческом теле составляют контраст — грустный, но в жестких условиях войны привычный и, так сказать, внешний — с хрупкостью и детскостью мальчика. Самое удивительное — это противоречие между его обликом и поведением, противоречие, к напоминанию о котором автор возвращается снова и снова, как к рефрону.

«Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно, даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление». «В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами

лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь». «Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал». «— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато оверкнув зелеными, как у кошки, глазами...»

Отчужденность, недетская сдержанность, неприязнь и недоверие к допрашивающему, осторожная точность кратких и редких, вынужденных ответов, требования, которые звучат чуть ли не как приказы привычного к воинской субординации человека, — откуда все это? И по странице с тою же размеренной повторяемостью перекатывается фраза, томящая предощущением другого, всегда возможного, вопроса на той стороне и рокового исхода: «Он молчал», «Он промолчал», «Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал», «Он... молчал, отвернув лицо в сторону», «Он молчал, сбываясь, сосредоточенно», «Он молчал», «Молчание», «Опять молчание».

Это не «маленький герой» из немалочисленных привычных детских книжек о войне — это профессиональный разведчик, волевой, памятный, хорошо обученный своему ремеслу. Детское слово стерто или выжжено в нем. Пока только излишне требовательный, порою почти капризный тон и неумение или нежелание скрыть свою неприязнь к человеку, захотевшему узнать то, что знать непосвященным не положено, выдают в его поведении и словах ребенка. Ему, худому, измученному, выглядящему меньше даже своих одиннадцати лет, не место на войне; но добро бы он оказался в самой сердцевине, в самом водовороте ее случайно, по обычному для горького времени оккупаций и эвакуаций несчастному стечению обстоятельств, — нет, он ей внутренне принадлежит, он уже ее узаконенная собственность, такая же, как и стоящий перед ним взрослый человек, офицер; именно это показалось странным и невероятным провоевавшему многие месяцы фронтовику. За угрюмостью, постоянной сосредоточенностью мальчика стоит не одна профессиональная вышколенность, но и какая-то драма, сблизившая его, ребенка, с самым духом войны, опасности и ненависти.

И как нам ни интересно узнать, что за чудо перенесло этого слабосильного мальчишку с того берега холодного и

зорко охраняемого Днепра, еще интереснее, важнее и тревожнее узнать другое: где и как он мог стать тем, чем он стал? С самого начала страшно становится не только за его жизнь, но и за его душу. Мы уже предощушаем жгучую антивоенную сущность этого военного приключения. Естественное любопытство (за него нет нужды извиняться), возбужденное предстоящим занимательным повествованием о разведчике, поднято как бы на более высокую ступень, возведено в степень идейного интереса. Мы подготовились к восприятию художественного, а не беллетристического произведения. А подготовили нас к этому едва ощутимые словесные, стилистические меты, благодаря которым реальные подробности, столь обязательные для любого сочинения, претендующего на правдоподобие (в том числе и для беллетристического), приобрели высокодуховное, поэтическое значение.

Начало «Большой руды» Г. Владимова способно сбить с толку и разочаровать каждого, кто взялся за книгу с намерением получить удовольствие от беллетристического чтения: повесть сразу покажется читателю, вооружившемуся таким намерением, скучной и какой-то странно несущественной; он не сможет уловить, на чем же здесь предстоит сосредоточить внимание.

Парень стоит над «гигантской овальной чашей» карьера. Он впервые здесь и разглядывает все жадными глазами новичка. Автор тоже смотрит на карьер, и, следуя вместе с ним взглядом за перемещающейся тенью облака, мы можем уяснить себе огромность чаши и скопища машин и людей на дне ее. А затем — как нам подсказывает интонация художника — мы переводим взгляд туда, куда смотрит парень: на дорогу, по которой медленно движется вереница машин, нагруженных песком или глиной, щепок, камнями песка и глины — таким ничтожным, невесомым кажется их груз в сравнении с голубовато-свинцовыми и кроваво-красными глыбами по склонам карьера.

Бог весть кто он, этот парень, оглядывающий карьер. Кем собирается работать (и собирается ли), добр он или зол, доволен жизнью или неудачлив, честен или нет? Не знаем мы еще и того, что громадный карьер, куда мы заглянули сверху, — будущая металлургическая база, Курская магнитная

аномалия, знаменитая КМА. Но уже знаем, чувствуем, что судьба парня и судьба карьера отныне завязаны в один общий узел и что этим же узлом мы сами незаметно для себя оказались связаны и с тем и с другим. Не испросив нашего позволения, нас подключили к новому для нас куску жизни и к чужой душе, включили в еще минуту назад чуждое нам течение событий, и из этой заколдованной сферы не вырваться «по собственному желанию», не избавиться от чувства причастности, легкомысленно захлопнув книжку; если дальше будет радостно, стыдно, страшно, то и нам хочешь не хочешь придется перенести все это. И не в рамках приятно условного сочувствия, смешанного с игровым любопытством, а настоящие радость, боль, стыд — нет, даже больше, чем настоящие: очищенные от эгонистической заинтересованности, совершенно бескорыстные и оставляющие место для работы разума.

И вы не отложите книгу не потому, что вам намекнули на возможность занимательной истории (пока об этом ничего не известно), и даже не потому, что характер персонажа захватил вас какими-нибудь конкретными качествами (это еще не произошло), а оттого, что вы, заразившись внутренним состоянием писателя, заранее взволнованы значительностью и серьезностью того неизвестного, что должно совершиться на этих страницах. Вы не пытаетесь войти с автором ни в какие соглашения, так как уже успели понять, что он сам как бы не властен ни усложнить, ни облегчить участь своих героев (и, значит, вашу собственную читательскую участь), ибо творит по объективным законам жизненной и эстетической правды. Все это — одно из обычных чудес «строгого» искусства. Как в данном случае оно родилось?

На сей раз я не буду говорить о «технологии»: об особенностях построения фраз, внутренне напряженных и повелительно направляющих внимание читателя, о психологически правильно выбранных ракурсах и смене планов, благодаря чему и густо курящаяся чаша карьера, и обломки глыб цвета запекшейся крови, и ребристая стрела экскаватора, чиркнувшая по облакам, и рев нагруженных самосвалов, попирающих землю могучими колесами, — кажутся приметами и предвещениями, исполненными торжественного и, быть может, угрожающего значения, вызывают волну душевного

подъема и непонятной тревоги. Я не буду говорить обо всем этом, потому что и без того может показаться, будто я разделяю одно старое заблуждение и доказываю, что проблема отношения беллетристики к «строгому» искусству — проблема исключительно стилистическая. Дескать, существуют определенные «приемы», неведомые беллетристу и известные художнику, с помощью которых последний подчиняет себе читателя, руководит им, вместо того чтобы, подобно беллетристу, добиваться специфического читательского расположения. В действительности, чтобы с толком использовать все эти стилистические «приемы руководства», нужно испытывать побуждение к такому руководству и обладать внутренним правом на него — доверием к своему замыслу, к своей заповедной цели. Речь идет о волевом напряжении художника, который свои душевные силы употребляет на то, чтобы передать окружающим — даже, если потребуется, вопреки их желанию, преодолевая их часто косное сопротивление, — нечто заветно важное из понятого им о жизни. В этом волевом импульсе кроется источник воздействия на нас произведений подлинного искусства. Каков же он, этот первичный импульс, овладевающий художником и побуждающий его к творчеству (радость, недоступная самому преуспевающему сочинителю-беллетристу)?

### О ЗАМЫСЛЕ

Выше я писала о том, что из первых же абзацев незнакомой нам вещи, из стилистического источника мы успеваем зачерпнуть множество едва уловимых впечатлений и благодаря этим впечатлениям почти всегда безошибочно настраиваемся на тот или иной род восприятия. Посмотрим, что значит оговорка «почти».

Повесть молодого писателя Элигия Ставского «Все только начинается» («Юность», № 1, 2, 1961), глава первая:

«Эту неделю мы работали, как звери. Мы выполняли какой-то ответственный заказ. Я вытачивал тонкие медные трубки. Лешка делал резьбу в моих трубках. На доске, которая висела на конторке начальника цеха, где против фамилий писали проценты, — меньше двухсот ни у кого не было. Мастер бегал между станками, подсчитывал и горючил нас. Потом кто-то пустил

«утку», что мы делаем новую искусственную планету. В субботу, когда раздался звонок, все ходили с высунутыми язычками. Начальник цеха пожал нам руки.

После работы мы сидели с Лешкой в нашей комнате и думали. Алексей Иванович сказал еще утром, что к нему придет жена. Нам надо было уходить. Но не было денег даже на кино, — до аванса оставалось еще два дня. Целый час мы гладили брюки. Тоска была зеленая. Потом пришел наш комсорг Васька Блохин и сказал, что в клуб надо двух человек, в комсомольский патруль. Это нас устраивало».

Многообещающее начало — оно заставляет предвкушать серьезное чтение. Герой-рассказчик сдержан, строго ограничен тонким простого сообщения. В двух словах он передал нам все сколько-нибудь значимое об условиях своей жизни и работы. Кроме того, он сумел открыться читателю, не становясь в позу и как бы не подозревая о возможности самораскрытия (что, конечно, входило в намерения автора): читатель вправе судить о нем по тому, с какой привычной естественностью он произносит свое «мы», объединяя себя с товарищами; по тому, как стыдливо он прячет горячий интерес к ответственному заказу (может, и впрямь — искусственная планета?), за словечком «какой-то»; по тому, насколько он не видит ничего особенного в своей и Лешкиной деликатности; по тому, наконец, как мало его смущают всякие регулярные, по-видимому, бытовые неурядицы, — простое и ясное отношение к жизни. Вдобавок вскоре мы узнаем, что парень очень молод, и в свете этого обстоятельства его мужественное жизнеощущение и сдержанность выглядят даже незаурядными. Мы заинтересованы характером, в лепке которого не почувствовали беллетристической условности, и — через характер — дальнейшим ходом повествования.

Но, прочитав вещь приблизительно до середины, мы ощущаем, что в известной мере обмануты в своих ожиданиях. Герой повести думает и чувствует так, как согласно канонам, выработанным поверхностным житейским опытом любого из нас, положено думать и чувствовать двадцатилетнему паренюку; он наивен, неопытен, противоречив, мучится перед лицом «неразрешимых» проблем, путается в собственных поступках и выводах в такой мере и на такой лад, как вообще всякий условный

«юноша, вступающий в жизнь». «Сообщение» не соответствует «стилистическому оформлению», так приятно нас обманувшему на первых порах.

«Мы шли по широкому зеленеющему полю. Мы видели желтую бабочку. Она летела неровно и, казалось, вот-вот упадет и уже не подымется: такая она была слабая. Ира смотрела по сторонам и улыбалась.

— Я хочу босиком,— сказала она.— И хочу, чтобы дождь.

Дорога была пухлая и мягкая. Ира положила туфли в сумку. Я тоже снял свои и завернул в пиджак. Пыль была теплая.

— Ты бегал по лужам?

— Бегал.

— Хорошо?

— Мне нравилось в грозу.

— Мне тоже.

...Я сел и сорвал травинку. Дорога была пустая...

Что здесь происходит? Наш герой поспорил с девушкой, которую любит. Поспорил из-за пустяка. (Понятно, что этот пустяк кажется ему страшно существенным, но непонятно, почему он таков и в глазах автора. Ставский хочет внушить, что за размолвкой его героев стоит духовное отчуждение, различие во взглядах на мир, но нам не так легко уловить в облике Иры криминальные черты «мещанки».) Теперь эта девушка неожиданно приехала к герою повести в деревню, куда его вместе с товарищами по заводу послали работать летом. Парень, естественно, взволнован, жаждет «выяснения отношений» и боится его. Но соответствует ли эмоциональному содержанию сцены копирующий так называемую современную прозу синтаксис: «Мы видели желтую бабочку», «Дорога была пухлая и мягкая», «Пыль была теплая», «Дорога была пустая» — и этот формой своею претендующий на «хемингуэевскую» многозначительность диалог? Какая неоправданная трагедия, какое безнадежное сознание неотвратимости предстоящего и предчувствуемого кроются за серией этих ментальных снимков-впечатлений, четких и безразличных, словно бы зафиксированных в минуту глубокой отрешенности и ослепительного душевного напряжения! По-видимому, здесь мы сталкиваемся со «стилистической имитацией», и то, что привлекло нас на приступе к повести, тоже следствие усилий одаренного имитатора.

Человек, обладающий даром интуитив-

но улавливать всю совокупность признаков, структуру чужого стиля, может воспроизвести ее на любом содержательном материале. Так поступает пародист. Пародия смешна оттого, что мы живо чувствуем комическое несоответствие между стилистической структурой и чуждым ей содержанием, на которое она искусно перенесена; причем пародист намеренно демонстрирует это несоответствие, чтобы через такое «остранение» обнажить, оголить стилистический механизм, используемый обычно жертвой его добродушных или злых насмешек. К примеру, А. Раскин в удачной своей пародии на Пришвина заставляет своего «подопечного» приложить весь арсенал словесных средств, которыми знаменитый писатель привык передавать сокровенную «речь органических масс», к описанию «загадочных» звуков, издаваемых, оказывается, хрупающей овсом лошастью. В данном случае мы смеемся, конечно, не над пародистом-имитатором, а вместе с ним. Другое дело, когда писатель выступает в роли имитатора бессознательно. Отчего это происходит, отчего эта беда не миновала Э. Ставского?

Способный прозаик в высокой степени обладает чувством слова и, следовательно, восприимчив и переимчив по отношению к чужому слову тоже. Он, как и многие неопытные писатели, еще не располагает своим замыслом, еще не заболел им. Замысел можно определить как выбор материала и точки зрения на него. Это плод опыта и духовной жизни писателя; до него нужно дорасти. Если замысел у молодого писателя еще не родился, а ему тем не менее не терпится испробовать свои силы, он берется за общедоступную рационалистическую схему («молодежной повести» в данном случае), то есть бессознательно эксплуатирует тот опасительный прием, которым беллетрист всегда пользуется сознательно.

И если такой «начинающий» от природы чувствителен к возможностям слова, наделен стилистическим тактом, он может очень пристойно «одеть» свою схему с помощью тонкой имитации. Таким путем Э. Ставскому, например, удается сделать вид, что он знает о своем герое очень многое, прозревает его весьма глубоко, когда в действительности знаком с ним еще очень поверхностно. С этой точки зрения повесть Э. Ставского, конечно, не заслуживает

«осуждения»: просто она появилась на свет раньше, чем ее автором овладел собственный замысел — непрекращаемый толчок к подлинному творчеству. У Э. Ставского ведь «все только начинается», а его имитационный талант, свидетельствующий о прирожденном чувстве слова, обещает нам, что в урочный час писатель сумеет справиться с подлинно художественной задачей.

Но вернемся к характеристике замысла, побуждающего художника творить, взамен которого беллетрист может предложить читателю только суррогат. Возможно ли вообще как-то определить это искомое неизвестное «отдельно» от его воплощения в слове? Едва ли. Недаром Толстой говорил (и недаром это его замечание так любят повторять писатели и исследователи литературы), что для объяснения идеи «Анны Карениной» ему бы пришлось предложить интересующимся перечитать весь роман.

Попробуем, однако, на конкретном примере дать — хотя бы предположительное и косвенное — представление о том, что это такое — замысел.

Уже знакомый нам рассказ В. Богомолова как будто несколько не отличается от десятков хороших и плохих беллетристических повествований о детях на войне, о воспитанниках армии, о маленьких партизанах и т. п. Однако этот рассказ, появившийся через тринадцать лет после окончания войны, не содержащий ни историко-философского обзора военных событий, как «Живые и мертвые» Симонова, ни подробного психологического анализа душевного состояния человека на войне, как «Пядь земли» Г. Бакланова, и вообще внешне ничем не напоминающий о том, что все происходящее в нем описано из некоего исторического отдаления, с позиций позднейшего опыта, — рассказ этот по-особенному взволновал и растревожил людей, был замечен и выделен из ряда подобных ему по фабуле и теме.

Отец маленького Ивана Буслова, пограничник, погиб в первый день войны, сестренка убита на руках у парнишки во время отступления, мать неизвестно где. Мальчик был у партизан, попадал в немецкий лагерь смерти, спасая, добрался до нашей передовой. Разведчиком он стал самовольно. Его пытались определить в интернат — он сбежал; уговаривали пойти в суворовское училище — он не согласился и не подчинился; старались не пустить в тыл к нем-

цам, удержать по эту сторону — он пошел сам и при возвращении был ранен своими же, не подозревавшими о его кустарной вылазке. Пришлось узаконить его положение разведчика, тем более что он, неприметный для вражеской охраны, бесстрашный и сообразительный, оказался чрезвычайно полезен.

Рассказчик описывает одну такую вылазку Ивана в тыл врага: мальчик не только не уступал в мужестве двум взрослым и бывалым людям — в известном смысле он подавал им пример выдержки и самообладания. Потом рассказчик потерял его из виду, расспрашивать о «закордонниках» вообще не полагалось; все же ему довелось услышать, что мальчик сбежал из части после чересчур настойчивых попыток отправить его в училище — верно, ушел к партизанам. Наконец в капитулировавшем уже Берлине рассказчику случайно попадаются документы, сохранившиеся от оккупационного режима в Белоруссии: всевозможные агентурные сведения, докладные о карательных акциях, сообщения о розысках. С одного из бланков смотрит фотография Ивана Буслова, а «спецсообщение» гласит, что он пойман в запретной зоне, был допрашиваем «со всей строгостью» в течение четырех суток, никаких показаний не дал, на допросе не скрывал своего враждебного отношения к германской империи и расстрелян в такой-то день и час. Этот краткий эпизод звучит пояснительной справкой, уточняющей обстоятельства того, что рано или поздно должно было — это с самого начала ясно — случиться.

Богомолов говорит о героизме, силе духа — но не только о них. Замысел этого рассказа многозначен, «многоярусен», под верхним пластом лежит еще один, более глубокий, — размышление о разрушительной и саморазрушительной силе ненависти, которую неизбежно распространяют, привносят в жизнь человека фашизм и вызванная им война. А человек этот — ребенок. Контраст между мирным, домашним, естественным и неестественным, военным: между девической красотой юного военфельдшера и приказом о «помывке личного состава» и «проверке на вшивость»; между вкусной шоколадной пенкой на ряженке и обстановкой офицерской землянки; между запахом лошади и коровы, напоминающем рассказчику родную деревню, парным молоком и горячий, только что из печки, хлеб, и видом подби-

тых, искореженных, сожженных немецких машин — контраст этот все время «бродит» на периферии рассказа, но, как в фокусе, сосредоточивается в изображении детской и уже не детской души.

Маленький разведчик не всегда так угрюм и отчужден, как на первых страницах рассказа. Он мог бы быть (он таков и есть — временами) очень добрым и привязчивым ребенком, с непоследовательной детской логикой, с детскими пристрастиями и играми, со своими маленькими капризами — ведь окружающие все же умудряются баловать его, несущего наравне с ними бремя военной дисциплины и профессионального риска. Несовершеннолетний «закордонник», находясь в самом пекле военных действий, за несколько часов до отправки в «оперативный тыл» играет в войну — это так просто и страшно, что рассказчик даже не решается говорить об этом прямо, предоставляя читателю самому сделать немудреную догадку. «Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котьякин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар... Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит: «Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!»

Но нет нужды описывать, как этот ребенок ведет себя на операции, — посмотрите, как он ест, вернувшись с задания, промокнув и устав:

«После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив: — Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на серединку стола, предложил нам: — Угощайтесь!»

Детское, милое, теплое присутствует в нем, но отодвинуто сжигающей, поглотив-

шей его страстью — стремлением к никогда не достижимой полноте мести. И фронтовики-офицеры невольно подтягиваются и следят за собой в его присутствии не только из-за щемящей нежности к маленькому существу, попавшему в не подходящую для него среду, — они теряются перед этой страстной, фанатичной цельностью, перед этой аскетической непреклонностью, воплотившимися в детский облик. «Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть», — говорит один из разведчиков.

Трогательны беспомощные попытки взрослых оберечь мальчика, добровольно и сознательно подвергающего себя ежедневному смертельному риску, от излишней опасности, изолировать его, пережившего так много, от чересчур тяжелых впечатлений. Спасти его уже нельзя — он убит теми пулями, которые попали в его отца и сестренку, он духовно принадлежит войне и смерти, ему даже неинтересно, как он станет жить, когда кончится война, — другие строят за него планы, к которым он остается безучастен...

Замыслу писателя отвечает мужественный, суровый и спокойный тон рассказа — ни тени жалостливости, никакого запугивания. Писатель понимает, что по-настоящему проклясть развязанную фашизмом войну может только тот, кто говорит не о крушении мирного уюта и даже не об опасности, которой подвергается драгоценная в глазах любого гуманиста человеческая жизнь, а о влиянии военного кошмара на человеческое сердце. И этим рассказ В. Богомолова возвышается и над бездумно восторженными сочинениями о военных приключениях и над попытками испугать или разжалобить, предпринимаемыми иными близорукими «пацифистами»: возвышая героизм сопротивления захватчику, автор отрицает самый дух войны — зло, порождающее ответное зло. Как всегда бывает в большом искусстве, это общий вопрос; пусть он ищет своего разрешения в весьма конкретном и строго ограниченном жизненном материале, но он всегда шире, диалектичнее плоской и односторонней констатации беллетриста.

Статью о «Большой руде» по аналогии с названием известного рассказа Хемингуэя можно было бы озаглавить «Недолгое счастье Виктора Пронякина». «Счастье» — потому, что у одинокого, «неприкрепленного» к обществу человека, вечного кочевника в

буквальном и переносном смысле, на какой-то миг «с миром утвердилась связь». «Недолгое» — оттого, что эта связь в силу внутренних причин могла оказаться кратковременной, и мы остаемся в раздумье над телом погибшего Виктора: что нужно для того, чтобы связь эта упрочилась?

Кто такой Виктор Пронякин? Прежде всего он человек больших нравственных возможностей и силы, способный в поворотные минуты жизни подвижнически сохранять верность лучшему в себе. Именно подвижнически. Потому что повесть написана вовсе не по мотивам популярной беллетристической схемы, вовсе не о том, как шофер Пронякин, в прошлом «летун» и корыстолюбец, с недурными, правда, социальными задатками, под влиянием коллектива «выпрямляется» и совершает подвиг. На счету Виктора не один, а по крайней мере три «подвига», то есть три бескорыстных и возвышенных поступка, потребовавших от него крайнего напряжения душевных сил. Он резко перевернул свою «личную» жизнь, не пошел на еще недавно такой желанный и ставший, наконец, возможным брак, оттого что инстинктивно отвращался от всякого расчета и мелочности в чувстве; не пожалел невероятных усилий, чтобы устроиться на работу в КМА, хотя новое, необжитое место не сулило ему никаких вещественных выгод — просто он, оглядывая сверху огромный карьер, почуял запах настоящего дела и пожелал приложить к нему свою незаурядную человеческую силу, вероятно сам не умея объяснить, отчего его так тянет здесь «окопаться».

Все это было в жизни Пронякина еще до того, как он повез на своем МАЗе по опасной, осклизлой дороге первые глыбы большой руды. Но только этот последний поступок общество сопрягало своими понятиями о подвиге подобно тому, как подверстали ретушированный снимок погибшего Витьки с фотографии его бригады. (И определенным образом общество было право, как мы увидим впоследствии.) К тому же, как это ни прискорбно звучит, посмертной «славой» Виктор обязан не только своему поступку, но и бедственному его исходу: пока он, живой, вел свой мазик по размытой дождем дороге, он не пользовался сочувствием товарищей — в их глазах он тогда выглядел выскочкой, выслуживающимся перед начальством, наживающим моральный капитал на их вынужденном бездействии.

И вполне ли их извиняет то обстоятельство, что в кузове пронякинского мазика тогда была еще пустая порода?

Значит, опять схема, противоположная предложенной выше: благородный герой, возвышающийся над своей средой и не понимаемый ею? Ничуть не бывало. В этой истории все правы — каждый по-своему, и все виноваты — в одном и том же.

Виктор — сильный человек, человек высокой ценности, но сила его — темная, не просветленная сознанием цели и пониманием самого себя. В чем-то он поднимается над уровнем своих товарищей (и это читатель замечает охотнее, потому что сила и незаурядность импонируют), а в чем-то они выше его. Со всей страстностью, со всем накалом чувств, дарованным ему природой, он жаждет проявить свой характер в служении «миру», в товариществе, в осмысленном труде. Но сам он об этом и не подозревает, а думает, что хочется ему своего угла, достатка, уюта, почета наконец, так как его сильной натуре не чуждо и тщеславие.

Все это для такого человека, как Пронякин, самозабвенного и бескорыстного, — вещи, по существу второстепенные, но можно ли его осудить: он стремится к тому, чего никогда не имел, не пробовал «на вкус», к тому, что почти уже отчаялся заполучить. Он сам заблуждается относительно своих истинных желаний, не мудрено, что он вводит в заблуждение и других. Он настойчивее, одареннее, энергичнее многих из этих других, он мастер своего дела, артист и вдобавок не намерен тушеваться. Зачем тушеваться, если все равно не поймут, слабости не простят еще скорее, чем не прощают силы, если жажду дела так охотно и бездумно принимают за стремление выскочить, оттеснив окружающих? Так думает, вернее чувствует, Виктор, основываясь на своем тяжелом, но весьма ограниченном, в сущности (ограниченном, как у всякого человека, не умеющего взглянуть на себя со стороны, сколь бы «тертым» он ни был), жизненном опыте.

И он действительно беспардонно «выскакивает» и «оттесняет», восстанавливает людей против себя, пытается при этом остаться равнодушным к их мнению о себе (пора бы уже привыкнуть, не в первый раз!) — и не может. А его товарищи? Они не предъявляют к жизни таких больших требований, какие неосознанно выдвигает Виктор. Спокойно и честно работать, иметь устроенный

домашний очаг, как у бригадира Мацуева, бездеятельно помечтать на досуге или прихлопнуться за девушкой, как Гена Выхристюк,— этого им хватает.

Но они как азбуку жизненного поведения знают свои обязанности по отношению друг к другу, ненарушимые законы товарищеской общности, элементарные и непреложные основы социального поведения, крепко этих правил держатся и не без основания видят в Пронякине чужака, способного с легкостью пренебречь их общим и наиболее ценным духовным достоянием. Они возмущены Виктором несправедливо, потому что попросту не умеют так ездить, как он, в них меньше рабочего, творческого азарта,— и справедливо, потому что, ежели бы и умели это, осмотрительнее и не во вред друг другу пользовались бы своим даром. И относятся они к Виктору не так плохо, как озлобленному Пронякину кажется.

Я намеренно — чтобы подчеркнуть одну сторону дела — огрубела текст Владимова, когда писала, что Виктор, подвергая себя риску, не встречает в товарищах никакого сочувствия. К раздражению, отталкиванию и недоверию у них примешивается чувство вины, рожденное невыполнимым желанием разделить с ним опасность, оказаться не ниже его («...Наш ЯЗ не потянет, хоть ты ляжь под него. Может, и рады бы лечь, только он все равно не потянет. Так что, пойми, мы тут не от хорошей жизни груши околачиваем»). Так они невольно распространяют на него законы своего сообщества, не изгоняют его, признают себя ответственными перед ним — только он этого не понимает и не ценит.

И вот в какой-то момент, когда он один едет под дождем с долгожданной рудой, а не пустой породой в кузове своего самосвала и помнит о том, что на его «старте» стоит экскаваторщик, воодушевленный тем же порывом, что и он сам, а там, у «финиша», — полузнакомая, но чем-то милая девушка, верящая в его способность совершить нечто сверхъестественное, и еще множество людей, даже не подозревающих, какое верное средство их обрадовать у него в руках, — в этот момент он внезапно чувствует всю свою прежнюю жизнь не лишенной смысла и цели, а себя счастливым, нужным людям и готовым ответить на их потребность в нем не мелкими альтруистическими поступками, а делом, которое ему по руке, всей мерой своих сил.

Но ликвидирована ли самая почва его конфликта с товарищами? Умиравший — он прав, прощен и любим. Но остался он жив, достаточно ли было быть первым вестником всеми и долгожданной «большой руды», чтобы оказаться правым не в глазах окружающих, но перед ними?

А может быть, все-таки достаточно, может быть, как раз здесь нужно искать выход из трагического конфликта? Ведь «большая руда» — не просто руда, полезный, утилитарно необходимый предмет: она нечто, связующее людей общей социальной целью, в труды для достижения которой каждый вносит посильную лепту; перед лицом которой нет больших и малых, талантливых и посредственных, нет места зависти и тщеславию, нет счетов друг с другом, и если один возвышается над многими, то знает, во имя чего возвышается, и не гордится этим, другие же не клянут его, а ему помогают. Не оставляя читателя наедине с чувством безысходности, этим символом Владимов разрешает конфликт повести в плане поэтическом. Символ всеобщ, но он же и ограничен, так как лишен конкретности и не указывает реального пути. Но большего Владимов дать и не мог, достаточно того, что он так глубоко копнул.

Мы видим (и это с особенной убедительностью показано в статье Е. Стариковой о «Большой руде»<sup>1</sup>), как возвышается замысел трагической повести Г. Владимова над обеими возможными крайностями беллетристической схемы («индивидуалист — коллектив» или «талантливый новатор — косная среда»), не совпадая ни с одной из них. Как родилась идея подобной вещи?

Художник вместил в себе и определенным образом оценил множество самых общих впечатлений социального порядка, поставляемых его эпохой, казалось бы весьма далеких от конкретного жизненного окружения и относительно ограниченного круга мыслей «необразованного» героя повести. Затем писатель видел и знал конкретную действительность, людей и, главное, не пассивно «изучал» и «запоминал» их, а умел в них ощутить индивидуальные, единичные проявления тех общих конфликтов, которые волновали его душу, — конфликтов, безусловно еще не проясненных и не решенных для него самого. Ведь замысел писателя — это не готовая

<sup>1</sup> «Знамя», № 1, 1962.

истина, а вопрос, на который он пытается ответить в самом процессе воплощения художественной идеи. Наконец некий факт, случай, житейское впечатление послужили толчком к тому, что художник выделил, выграничил из действительности материал, способный послужить точкой приложения его сил, достаточно содержательный, достаточно богатый жизненными противоречиями, чтобы выдержать натиск по-человечески обременяющих художника вопросов. Этот выбор — первый шаг от замысла к осуществлению. Весь дальнейший процесс воплощения замысла через «стиль» проясняет замысел не только для будущего читателя, но и для самого художника.

Точно так же П. Нилин в своей «Жестокости» шаг за шагом расследует, уясняет самому себе, что погубило настоящего человека Веньку Малышева. А до написания повести, «на приступе», он предполагал только выношенным, выстрадаанным, родившимся из его человеческого опыта (именно поэтому писатель прежде всего должен быть Человеком) критерием «жестокости» и «доброты», а также избранным в результате какого-то знаменательного, быть может обусловленного причинами биографического свойства, конечного толчка материалом, к которому он этот критерий приложил. Беллетрист же напоминает обывателя, доподлинно знающего, что комсомолец Венька Малышев застрелился из-за несчастной любви, и способного не задумываясь изложить обстоятельства этого нехитрого дела.

Художник не только сообщает новое, он, сам творя, узнает нечто новое и неожиданное для себя, и стиль его всегда несет отпечаток этого волнения первооткрывателя, идущего по следу, что не может не волновать и читателя: такой стиль рождается как бы ежеминутно, а не прилагается.

Таким образом, замысел, определившись, становится хозяином над самим художником, единственным — на этой стадии — его хозяином; художник стремится настроиться так, чтобы следовать ему, и только ему. Не то беллетрист. Воплощение его схемы в слова — процесс весьма произвольный. Ведь он не задает вопросов — он измышляет «содержание» в соответствии с внешними требованиями и затем одевает его в любые случайные одежды, можно попроще, а можно и позатейливей. Но как бы беллетрист ни был изобретателем, оригинальным он не станет.

Беллетристику иногда называют лживой, но это не по существу. Беллетристика не есть искусство говорить ложь, но это искусство заменять заботу о правдивости заботой, мягко говоря, об успехе, заменять выявление своей точки зрения улавливанием складывающейся в среде «потребителей» конъюнктуры. Художник изучает, разделяет, воплощает общественное настроение, заражается им, наконец способствует формированию его, но не угождает ему.

Читательская среда оказывает давление, испускает излучение как на художника, так и на беллетриста. Это «излучение» равно необходимо обоим, но только каждый из них реагирует на него различным образом: первый — как на побуждение к творчеству, вызванное счастливым и тревожным ощущением своей нужности, второй — как на конкретное волеизъявление предполагаемого «заказчика». Если художник — «народа водитель и одновременно — народный слуга», то беллетрист — только слуга, и то не всего народа, а какой-нибудь одной специфической категории потребителей книг, которую он «обслуживает».

### НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ

Вопрос о беллетристике и высоком искусстве — это как раз такой вопрос, где эстетика тесно переплетается с «этикой творчества». Ведь «налаживание взаимоотношений» между читателем и автором (читатель понуждает беллетриста постигать свои хотения; замыслы же художника он сам стремится постичь) совершается, конечно, не во время чтения опубликованной уже книги, а значительно раньше: характер этих взаимоотношений с предполагаемым читателем кристаллизуется в душе писателя, когда он вынашивает и воплощает новую вещь. И каким бы глубоким замыслом художник ни обладал, в каком бы всеоружии средств для претворения этого замысла в слово он ни выступал, он все равно потерпит поражение, если на этой стадии пойдет на уступку, разрешит внешним, несущественным соображениям или чувствованиям вторгнуться в процесс своего художественного исследования: произойдет деформация замысла, руководящего художником, — следствие предвзятости, расплата за нее.

Часто весьма талантливые люди попросту

не выдерживают давления внешних обстоятельств. Не менее часто соскальзывают в беллетристику, инстинктивно стремясь успехом и самоутверждением через успех компенсировать внутреннюю неустойчивость, незрелость своего мироощущения и, следовательно, недодуманность замысла. Нет нужды приводить примеры такого «беллетристического отступничества».

Питается ли «высокое искусство» соками беллетристики или, напротив, беллетристика паразитирует на его теле? Обычно этот вопрос слишком бездоказательно и пристрастно решают в пользу «художественного» творчества, и поэтому прав был В. Шкловский, когда в свое время с демонстративной дерзостью посвятил серьезнейшее и уважительное исследование «Георгу, Аглицкому Милорду» — самой что ни есть «низменно» беллетристической лубочной книжке, зачитанной поколениями «простолюдинов».

Автор «Матвея Комарова, жителя города Москвы» видит в подобных книгах один из источников большой литературы. Существует немало популярных у историков литературы примеров, подтверждающих такую точку зрения: скажем, отношение Достоевского к «роману тайн» и попросту бульварному роману. Весь вопрос состоит в том, чему учится художник у беллетриста, а чему — беллетрист у художника и кто кому больше обязан.

Художнику необходимо быть осведомленным относительно психологии элементарного читательского восприятия, относительно простейших побуждений человека, углубившегося в книгу, потому что умение учитывать эту психологию и эти побуждения — один из необходимых элементов технологии любого писателя. Он должен наверняка знать, в каких случаях читатель (и как о ней читатель) испытывает напряжение, в каких утомляется, что кажется ему растянутым и т. д. Если художник при этом остается верен своему замыслу, такое знание не только не связывает его по рукам, а, напротив, обогащает его чувство формы.

Великие художники вдыхали жизнь в самые окостеневшие и истрепанные беллетристические схемы («истрепанность» — свидетельство того, что в этих схемах отлился определенный литературный опыт), распоряжаясь ими по-своему и властно понуждая

читателя взглянуть на заключенные в них ситуации с новой стороны. При всем этом беллетристика остается для художника второстепенным предметом наследования.

Беллетристы, наоборот, не могли бы существовать, не эксплуатируя художественные ценности, созданные не ими, и если какое-либо достижение искусства стало их добычей — это свидетельствует об известном его моральном износе и постарении, о том, что пора двигаться вперед.

Кому нужна беллетристика? Всем и никому. Всем — потому что каждый беллетрист, хотя и пишет для специфически «своего» круга потребителей, в конечном счете играет на таких первичных эмоциях, которые составляют удел всех людей. А никому — потому что все эти наивные потребности читателя удовлетворяет и «строгое» искусство, только возвышая их до уровня идейного и социально ценного интереса.

В этом смысле лишь «строгое» — строгое с читателем — искусство может помочь ему открыть в действительности новые стороны, а в самом себе — душевное богатство и эстетическую одаренность. Формулу: «Только искусство для всех — подлинное искусство» — нельзя не дополнить формулой: «Только подлинное искусство — искусство для всех».

Почему в таком случае беллетристика все же существует и нам даже известны эпохи ее особенного процветания? Этот же вопрос можно поставить по-другому: отчего существует социальный спрос на беллетристику? Ответить на него с порога крайне трудно. Во всяком случае в обстановке социального подъема и деятельной духовной жизни народа удельный вес беллетристической продукции, как правило, понижается если не в количественном отношении, то в смысле места, занимаемого ею в художественной жизни общественного организма.

У нас беллетристике предстоит все больше отгесняться на периферию искусства, потому что в недалеком коммунистическом обществе искусство (кстати, вопреки ошибочному мнению некоторой части современной научно-технической интеллигенции) будет не почетным средством развлечения и не видом пассивного отдыха, а необходимой и полноценной сферой напряженной — десятикратно против теперешнего — духовной жизни гармонического и творческого человека.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ал. Сурнов.** Гимн человеку.— **Владимир Огнев.** Остаться самим собой.— **Е. Стариков.** Происшествия, встречи, превращения...— **А. Письменный.** Груз назидательности.— **В. Лакшин.** Слово — золото.— **Л. Тимофеев.** Жили три товарища...

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**П. Сергеев.** Ленинские черты.— **И. Миндлин,** кандидат исторических наук. Ленинский этап в развитии атеизма.— **Дм. Рудь.** Когда качество переходит в количество.— **В. Твардовская.** Новое исследование с Салтыкове-Щедрине.— **А. Бельская.** Книга борца за свободу.— **Геннадий Фиш.** Повесть не только о термитах.

## Литература и искусство

### ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

**Эдуардас Межелайтис.** Человек. Стихи. Перевод с литовского.  
Редактор **А. Берман.** Вильнюс. 1961. 120 стр.

Среди большого числа оригинальных и переводных сборников стихов, вышедших в 1961 году, книга литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса «Человек» отчетливо выделяется и необычностью своей формы и своим содержанием.

Хотя книга состоит из тридцати одного самостоятельного стихотворения, это не обычный цикл стихов, объединенных одной темой. Да, каждое стихотворение, взятое отдельно, может жить самостоятельной жизнью, как может жить отдельно глава любой лирической поэмы, представленная в антологическом сборнике. Но как нельзя без ущерба для эмоциональной и содержательной целостности лирической поэмы произвольно изъять из нее одну или несколько глав, так нельзя без ощутимого ущерба для целостного восприятия темы «Человек» изъять из книги Межелайтиса одно или несколько стихотворений. Как в любой лирической (в данном случае лирико-философской) поэме, в книге «Человек» ручки отдельных ее тем сливаются в единый поток большой и глубокой темы — человек в природе и человек в обществе.

В первой части книги мысли поэта прямо обращены к человеку. Стихотворения-главки «Человек», «Частица матери земли», «Руки», «Кровь», «Сердце», «Глаза», «Голос», «Губы» — не попытка средствами поэзии создать анатомический атлас человеческого тела, а глубокое, сосредоточенное раздумье над местом и назначением человеческой личности в мире людей и в окружающей его природе.

Мои мысли,  
        словно птицы, поднялись,  
С каждым днем быстрее их движенье,  
Звездную преодолели высь  
И земное победили притяженье.

Необходимыми вариациями стихотворений первой части книги стали другие ее стихи, расширяющие, философски и лирически углубляющие всеобщую тему ее зачина. В стихотворениях-главках «Любовь», «Женщина», «Развяжите глаза», «Икар» и других произведениях второй части книги автор, не повторяясь, не ослабляя дроблением свой главный замысел, подчеркивает, выделяет, делает рельефнее отдельные мотивы общей темы, более органично привязывая



Книга «Человек» — большое творческое достижение ее талантливой автора. Для нас же, советских поэтов, пишущих на разных языках, «Человек» открывает еще одну возможность направления наших творческих поисков, еще одну грань современной лирики. И не удивительно, что книга эта нашла такой горячий отклик в нашей печати и представлена на соискание Ленинской премии.

Книга Межелайтиса не только сильно и оригинально написана, но и хорошо, сильно, убедительно прозвучала по-русски. Это несомненная заслуга талантливой группы переводчиков — А. Межирова, Б. Слуцкого, М. Алигер, Л. Мартынова, С. Кирсанова, С. Куняева, В. Тушновой, В. Корнилова, И. Вронского, С. Ломинадзе. Отчетливо выраженная творческая индивидуальность каждого из поэтов-переводчиков не мешала тому, что книга на русском языке получилась — не только по содержанию, но и по форме, по тональности — очень цельной и законченной.

Тем более следует отметить (чтобы устранить при будущем издании) некоторые частные огрехи. В стихотворении «Голос», прекрасно переведенном Л. Мартыновым, режет слух строка: «И разят они не смерденье порохового дыма». В хорошо переведенном С. Куняевым стихотворении «Любовь» читаем: «У камина одежду сушу да пеньковую трубку курю». Переводчик, очевидно, не знал, что «пенковая» и «пеньковая» — понятия совершенно разные: из пеньки не делают трубки, а вьют веревки. Не знаю, на счет автора или перевод-

чика надо отнести резко диссонирующие всему образному строю книги строки:

Сползает с оттаявшей кручи  
Манто синеватого льда.  
Торчат обнаженные груди,  
И радостно хлещет вода  
Из каждой груди...

Без сноски о том, что есть на свете столь странно оформленный фонтан-родник, груди в этом стихотворении торчат неуместно. А «манто синеватого льда» прибулило в хорошие ясные стихи Межелайтиса не то от Северянина, не то от Вертинского.

Стоило бы, мне кажется, автору еще раз продумать строки из стихотворения «Голос»:

Преклоняемся не перед смертью или  
ненавистью  
слепою и не месья мы зовем на  
помощь —  
преклоняемся перед младенцем,  
возгласившим,  
что он уж явился унаследовать эту  
землю.

Это сказано так неточно, что может показаться диссонансом в последовательно и убежденно атеистической книге Межелайтиса.

Хорошую книгу написал Эдуардас Межелайтис! И никакие мелкие частные огрехи и описки не могут принизить ее бесспорной «хорошесть».

И еще — хорошая, талантливая книга хорошо оформлена, в полной гармонии с ее содержанием. Полезно было бы московским литературным издательствам перенять интересный опыт их литовских коллег.

Ал. СУРКОВ.

★

## ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

Николай Асеев. Лад. Стихи последних лет. Редактор С. Лесневский. «Советский писатель». М. 1961. 150 стр.

Н. Асеев. Зачем и кому нужна поэзия. Редактор С. Лесневский. «Советский писатель». М. 1961. 315 стр.

«Читатель обычно находит своего поэта, — говорит Асеев, — и если этот читатель велик — велик и поэт, ему служащий». Это верно. Но чтобы читатель нашел своего поэта, такой поэт должен существовать. Должна для этого жить и потребность в поэзии в самом читателе. Блок говорил, что бывают эпохи музыкальные. Он звал слушать «музыку Революции». Этой музыкой рождено и творчество Н. Асеева.

«Власть была новая, государство было

новое, все было новое, небывалое, неслыханное», — пишет он в первой главе книги «Зачем и кому нужна поэзия». Кажется, поэтика Н. Асеева почти целиком укладывается в формулу новизны. Новизна становится основным критерием стиля. «Новое образное выражение». Свойство — «не воплощенное еще». «Неожиданность образа». Н. Асеев — ярый враг «общеизвестного», «общепринятого». Он — традиций убежденный неслух». Николая Полетаева он отметил как

поэта, сильного «незатрафареченностью». О В. Казине: «По-новому осызает мир». Самое постыдное в стихотворной речи, по мнению Н. Асеева, — «консервированность», лишающая ее «свойства движения и развита».

И в стихах Н. Асеев об этом скажет:

Многочисленным повтореньем  
охлажденные слова —  
точно снятая с корней,  
в пыль примятая трава.

Но поэтика Н. Асеева укладывается в формулу новизны не целиком. Есть у Н. Асеева и другой источник поэтики — мир русского фольклора, любимое с юношеских лет красочное слово сказки, летописи, Потебня, Кирша Данилов, «Хождение за три моря». Можно сказать, что на скрещении интереса к русской старине (вначале филологического) и эстетики Лефа Н. Асеев находит своеобразную равнодействующую — тяготение к разработанности слова, яркости. «Искусность» слова ставится в противовес слову «простому». Это остается как черта стиля и по сей день: «Как же можно говорить о простых словах и простых выражениях, якобы наилучшим способом передающих смысл? Смысл усиливается и высветляется искусным словом». «Искусное» слово — это опора и на афористичность народного приговора и на признание «вещности» выделки, идущее от Лефа.

Любопытно, что новое возвращение Н. Асеева к филологической старине в пятидесятые годы обусловлено иными задачами — расширением исторического кругозора. Если в эстетике Лефа делалась ставка на «вседневный язык», ограниченный задачей определенного момента и цели, то в памятниках русского художественного слова поэт ищет теперь более широкую общенациональную речевую базу, соответствующую новому прицелу Н. Асеева:

С тех пор  
как шар земной наш кружится,  
сквозь вечность  
продолжая мчаться,  
великое  
людей содружество  
впервые  
стало намечаться.

(«Родина»)

Обращение к Гоголю (стихотворение «Родина»), к его «колдовской» речи совпадает с периодом больших раздумий об историче-

ских судьбах России. В «Ладе» есть стихотворение-заповедь о русском национальном характере, одним из свойств которого, по словам Герцена, является «талант искренности и отрицания», «способность время от времени оглянуться на самого себя...» Н. Асеев не говорит здесь прямо о страданиях и долготерпении народа, но это ясно:

Рубили и лен засевали,  
синевший небес синевой,  
и песни о нем напевали —  
как били, трепали его!

(«Россия с Москвы начиналась...»)

Но не про Муромца, про народ русский говорится такое:

Тридцать три он года высидел,  
скудно ел и бедно жил,  
в рост поднялся — крышу высадил,  
вширь раздался — стены сбил!

(«Илья»)

И еще один богатырский образ — Миккулы — переосмыслен поэтом, теперь уже в планетарном масштабе.

Он, закинувший в небо сошку,  
поднимается в полный рост,  
пролунив от земли дорожку  
до могучих, далеких звезд.

(«Миккула»)

В статье Н. Асеева о Сергее Есенине остро проявилась непримиримость революционного поэта к реакционному пониманию «русского начала» как «задушевно-зверинных» исповедей, «степных примитивов и глубинных, себя не понимающих сложностей».

Сдержанное достоинство, природный демократизм, несуетное величие характеризуют асеевские образы двух великих русских — Толстого и Ленина («Великие»).

В лирической проповеди («Оставаться самим собой...») Н. Асеев будит в нас чувство гордого первородства. Будь таким, каким создала тебя родина, вера твоя в ее будущее. Это добрые ваятели, — как бы хочет сказать поэт.

Не хвались удач похвалой,  
не кичись ю жизни гульбой,  
не тревожь никого мольбой,  
оставайся самим собой.

Если сердце бьет вперевой,  
если боль вздымает дыбой,  
не меняйся ни с кем судьбой —  
оставайся самим собой.

Блок разделял чувства «себялюбие» и «самолюбие». Здесь, конечно, второе.

Н. Асеев мог бы назвать стихотворение коротко: «Оставаться русским». Ошибки бы не было. Но... тогда Н. Асеев не был бы вполне русским поэтом. Как сказано у него о Кутузове, «то был душой, без крика — русский, что завещал и нам он впредь!»

Один из верных признаков большого поэта — умение перешагнуть через «себялюбие» в отношении к людям, к миру. Это выражается по-разному и прежде всего в том самом пушкинском: «И пусть у гробового входа...» У Асеева это сказывается в умении без отчаяния представить ход жизни уже без тебя, в призыве оставить после нас «добрые дела» («Друзьям», «Решение»), в способности искренне взволноваться счастьем молодости, вечной жизни, что «начинает свой сказ с азов» («Двое идут», «Семидесятое лето»).

Есть в дневнике Льва Толстого запись о том, как, слушая песню идущих с поля, он вспомнил молодость, когда «всегда или часто» что-то «пело» внутри. Толстой при этом подчеркивает и «жесткость» дороги, и стук ног в промежутке между пеньем, — тот ритм, каркас ритма, наложенный на напев, что так остро дал почувствовать контраст между тишиной и песней, между старостью и молодостью, когда «внутри что-то» «пело».

Вот стихотворение Асеева «Двое идут»:

Кружится, вьется Земшар,  
все изменяя,  
возле меня щек жар,  
возле меня,  
возле меня блеск глаз,  
губ зов,  
жизнь повторяет давний рассказ  
с азов!

Читаешь и слышишь: ритм упругого молодого шага. А повтор — «возле меня» — как одышка, как признание горькое, но и счастливое...

Поэт видит красоту мира движущегося, обновляемого. Но как отличается это мудрое, понятное сердцем приятие новизны от того романтически-декларативного, определенного временем, что было у него в молодые годы! «Лефовец» Асеев по-прежнему готов зачеркнуть и себя самого во славу новизны будущего мира, но Асеев 1961 года понимает, что это легко только на бумаге. Мог ли «прежний» Асеев, Асеев, лихо штурмовавший «старье», написать стихи, подобные «Бронзе», где он... «пожалел» царь-колокол и царь-пушку!

Хоть в него и не били, хоть она и не стреляла,—

А все ж их хулить не годится —  
не ихняя в прошлом вина.

Сочувствуя их ненужности, поэт даже называл их тепло, по-сыновьи: «Старинные муж и жена». В чем же дело?

А в том, что чувство времени сродни чувству истории, что не в прикладной пользе видит Н. Асеев ценность поэзии. «Когда я стал понимать, что нельзя запрыгать поэзию только лишь в утилитарную телегу необходимости, тогда я написал свое первое стоящее стихотворение». И еще: «Настоящая поэзия начинается только там, где есть непредвзятая тенденция». Как будто одно лишь словечко «непредвзятая» вставлено в известную формулу Маяковского, а за ним стоит непростой опыт всей нашей поэзии в эти два десятилетия. Маяковскому, естественно, и в голову не приходило «уточнять», что тенденция не должна быть «предвзятая». Но годы «культы» имели в поэзии свои издержки. И невольная поправка Н. Асеева оказалась весьма уместной для другого времени.

Неспроста встают теперь перед Н. Асеевым и мысли о роли воображения, вдохновения, а «законом поэзии» он считает уже не закон абсолютной новизны приема, а «закон развития, закон перехода одного качества в другое», иными словами «закон всего существующего».

Тут недалеко и до более трезвого понимания новаторства: «И в поэзии, кажущейся, на первый взгляд, консервативной, стоящей как будто бы на традиционных позициях формы, зарождается новое содержание, новые черты будущего. Они в правдивости высказываемого, в стремлении к порядочности и широкой душевной открытости, в противовес притворству и приспособленчеству, скрывающемуся иногда за модной оболочкой».

Верно это, своевременно! И соответствует критериям собственного творчества Н. Асеева. В «Ладе» лучшее — «Соловей», «Снегири», «Наша профессия», «Еще за деньги люди держатся...», «Родина», «Песнь о Гарсия Лорке», «Взморье», «Решение», «Зерно слов», «Оставаться самим собой...». И лучшее это написано на уровне асеевской классики — «Синих гусар», «Не за силу, не за качество...». Но написано иначе — со зрелым, мудрым, очень сердечным спокойствием.

Если принять лермонтовское определение — «Из пламя и света рожденное слово», — то в раннем Н. Асеева преобладало «пламя», в то время как сегодня — «свет».

Свет не отраженный, как в стихах, на мой взгляд, явно неудачных («Запад», «Бухтарма», «Разоружение»), не холодноватый, от рассудка («Богатырская поэма»), а тот подлинный, живой свет ума и чувства, нерасторжимого в стихе органическом, как в этой миниатюре:

Утренняя песня дрозда,  
вылетевшего из гнезда,  
в небе — сверкающая,  
переливающаяся  
утренняя звезда...

О, если бы всюду, везде  
думать об этой звезде,  
помнить  
об этом дрозде!

Да, это о чистоте начал, об истоках. Да, это по-юному чисто и наивно. Но написать это можно только мудрым и зрелым пером.

«Широкая душевная откровенность» нужна поэту для серьезного слова, обращенного к громадной аудитории:

Нет, не сгинет, не исчезнет  
сердце человечества  
ни от лучевой болезни,  
ни от прочей нечисти!

Для него пишу стихи я,  
не скажу — волшебные,  
не такие, не сякие,  
попросту — душевные.

Мне бы, обратиться к народу,  
речь сказать высокую,  
чтоб глядеться, словно в воду,  
в ясность многоокою...

Но именно потому, что высока и ответственна трибуна, за этим следуют знаменательные и для зрелого Асеева и для всех лучших наших художников-патриотов слова:

Да ведь вот — иное слово,  
сильное и доброе,  
не созрело, не готово,  
в закрома не собрано!

В нашей критике последнего времени много говорилось о душевной молодости стиха Асеева, о его упругих ритмах, о солнечной легкости строки. Это верно. Но мне

хотелось подчеркнуть и то, что почти не отмечено: глубокую и тихую духовную сосредоточенность Асеева пятидесятых годов.

И последнее. Складывается такое впечатление, что я отрываю Н. Асеева последних лет от его левовского прошлого, вижу в «Ладе» и позднейших статьях либо переоценку принципов Лефа, либо отход от них. В последнем есть доля истины. Н. Асеев так же далеко ушел от Лефа, как И. Сельвинский от «конструктивизма», как В. Казин от «Кузницы», как М. Светлов от поэтики «комсомольских поэтов». Но что поделывать, время не стоит на месте. Это оно ушло от тех манифестов, деклараций, писанных и неписанных программ. Время вообще обладает таким хорошим свойством.

Но диалектика развития поэта, становление его как личности, гражданина, художника никогда не снимает его прошлого начисто. Как сказано у Асеева:

Что в молодости мы истратили —  
не требую и не меняю.

Полезнее для дела проследить, как, например, ставка на «искусное» слово трактуется Асеевым сегодня в плахе содержательного мастерства, художественности, против примитивизма, серости, как борьба с «консервированной» речью оборачивается борьбой против «среднего знания», которое производит «опустошение чувственных понятий, замену их общешоуформировочными»; как хлебниковское деление людских характеров на «изобретателей» и «приобретателей» вырастает у Н. Асеева в собственную поэтическую концепцию о новом типе государства нашего с его особым предназначением, отделенным от государств-«приобретателей»; как, наконец, отнюдь не отказываясь от боевой позиции, занятой им в молодости, Н. Асеев, наращивая опыт, приходит к новой лирике, отмеченной большей широтой кругозора и более тонким раскрытием души человека.

Обе книги Н. Асеева — и теория и практика большого русского поэта, более полувека служившего народу чистым словом поэтической правды. Творчество Н. Асеева — лучшее свидетельство благотворности того революционного поэтического заряда, который дало его поколению начало невиданной эпохи освобождения человечества.

Владимир ОГНЕВ.

## ПРОИСШЕСТВИЯ, ВСТРЕЧИ, ПРЕВРАЩЕНИЯ...

А. Рекемчук. Молодо-зелено. Повесть. «Знамя», № 11, 12, 1961.

Одно и то же можно рассказать по-разному — с той или иной мерой достоверности и условности. В своей новой повести «Молодо-зелено» А. Рекемчук поведал нам тоном веселого остроумного рассказчика о самых достоверных и распротраненных событиях нашего времени — о том, как строится молодой город за Полярным кругом, о том, каковы его молодые создатели. Читать повесть легко и увлекательно, мораль ее справедлива и неназойлива, герой симпатичен и положителен, а главное достоинство — юмор автора, непринужденно разлитый по всей книге, заложенный прежде всего в обаятельной интонации повествования, живой разговорной интонации сегодняшнего дня.

Но почему все-таки речь зашла об условности? Ведь в повести «Молодо-зелено» разбросано или, вернее, собрано столько невыдуманных, зорко замеченных подробностей о природе и быте современного Севера, о характерном и своеобразном в отношениях современных людей. С любопытством и наблюдательностью журналиста А. Рекемчук рассказывает и о том, как изготавливаются керамзитовые блоки, и как расчищаются снежные северные дороги, и как обогревается водоразборная колонка на улице заполярного города... В его повести, как и положено в современном произведении, действие переносится из цеха на заседание райисполкома, из театрального зала на строительную площадку... Все это куда как знакомо, привычно, злободневно. Да и герой повести Коля Бабушкин, хоть внешне своей — и статью и светлыми кудрями — вполне бы подошел для сказочного доброго молодца, — комсомолец, бригадир и даже депутат райсовета. И в путь он отправляется не в поисках Марьи-царевны или жар-птицы, а за обыкновенным кирпичом, который вот уже несколько дней не доставляется из города Джедора на далекие Пороги, где строит дома Коля Бабушкин и где люди в ожидании кирпича томятся и мерзнут в своих утепленных палатках. И напутствие, данное Коле его начальником прорабом Лютеевым, тоже весьма реально: «... А если ты вернешься без кирпича, то мы лишим тебя нашего доверия и отзовем из депутатов обратно. И выберем себе другого слугу народа. Бо-

лее настырного и пробивного товарища... Понял?»

Коля понял, кирпич пришел на Пороги, а вслед за кирпичом — более экономичный керамзит, сделанный руками новой бригады того же Коли Бабушкина.

Такова реальная основа сюжета повести «Молодо-зелено», которая читается при всем при том так, словно это увлекательный, красочный вымысел.

Взять хотя бы начало повести, где автор рассказывает о спортивном магазине на улице Горького и о сравнительных достоинствах лыж разного типа, продающихся там. Что это как не традиционный зачин, забавная присказка, веселое балагурство, настраивающее читателя-слушателя на веселый лад? Помните восхищение пасечника Рудого Панька решетилковскими смушками на шапке миргородского заседателя? Вся забавность этих смушек в том, что они, так подробно описанные, ровно никакого отношения к предстоящей истории не имеют. В повести «Молодо-зелено», где действие как начнется на Печоре, так и кончится на ней, столичный магазин нужен только для того, чтобы сказать, что ни в каком магазине не купить таких лыж, на каких отправляется в путь Коля Бабушкин.

А сами эти лыжи? Почему так подробно рассказано, что это за лыжи и как смастерил их герой по способу отцов и дедов, старых печорских охотников? Конечно, потому, что читателю очень любопытно узнать, как на Севере делают охотничьи лыжи, а Рекемчук влюблен в Север и не устает пропагандировать красоты и достопримечательности Печорского края. Но еще и потому так значительно и лукаво описаны эти лыжи-самоделки, лыжи-самоходки, что при всей своей реальной доброте это не просто лыжи, это волшебные лыжи, лыжи-аллегория. «На этих надежных и верных лыжах не съедешь вспять, не скатишься в яму. На них можно смело идти вперед», — так рекомендует их автор. Верные и надежные, потому что изготовлены своими собственными руками, прочно и основательно, по завету отцов и дедов — богатырей и работорговцев. Эти лыжи — и помощники героя и как бы часть его. И не удивительно, что стоило только Коле встать на них, как

все вокруг него приобретает волшебную увлекательность и праздничность.

Лютый северный мороз, так живописно и поэтически описанный автором, оказывается достойным соперником нашего богатыря, испытывающим его терпение и стойкость. Остроумное устройство для расчистки заснеженных дорог — так называемый «угольнич» — выглядит как страшно-важное на вид, а на самом деле доброе чудовище. А в отпугивающем своей сердитостью водителе попутной машины видится тот самый традиционный «первый встречный», которого герою сказки положено расположить к себе бескорыстием и добродушием, а часто и выручить из беды.

И посмотрите, какая цепь чудесных превращений проходит перед глазами Коли в первое утро, проведенное в джегорской гостинице. Вот, наливая кипяток из титана, видит герой краем глаза хорошо отглаженные узкие брючки. Взгляд вверх, взгляд вниз — о чудо! — прелестная ясноглазая девушка. И тут же навстречу — фигура в длинном шелковом платье, фигура приближается — над платьем борода! Оказывается, это священник, которого Коля только что у умывальника принял по бороде за геолога и который, как, впрочем, и девушка, еще не раз окажется на дороге Коли в разном обличье.

Женщина в штанах, мужчина в юбке, многократное повторение встреч-превращений — как похоже это или как передразнивает это смешные чудеса, которые рассыпаны по веселым сказкам. Да и знакомство с Черномором Агеевым — молодым парнишкой, верящим, что он обязательно и в ближайшее время полетит на Луну, — тоже построено как еще одно чудо, ждущее Колю в Джегоре. Чего стоит само это имя Черномор (хотя, конечно, нашедшее в повести — ведь это все-таки повесть — прозаическое объяснение). Он, Черномор, ведь тоже «заколдованный». Если водитель попутной машины заколдован своей бедой — непреодолимой ревностью к жене, то будущий космонавт — своей мечтой, кроме которой он не хочет ничего видеть, слышать и знать. Обоих их пытается расколдовать, вернуть к реальной жизни добрый и деятельный Коля Бабушкин.

А разве не чудесно самое появление Коли Бабушкина на заседании райисполкома, где неожиданно для героя и читателя оказались все действующие лица повести, нуж-

ные, чтобы добыть кирпич для Порогов? В поисках инженера Черемных герой открывает таинственную молчаливую дверь и тут же попадает на шумное сборище, где решаются сразу все его недоумения и насчет кирпича и насчет ясноглазой девушки, оказавшейся главным архитектором города Ириной Ильиной. Тут приключения и подвиги Коли Бабушкина вступают в более деловую сферу — ему поручают организовать бригаду по строительству керамзитового цеха. Об этом рассказано в повести столь же легко и весело, хотя и менее подробно. Да, кажется, и не к чему здесь эти деловые подробности, ибо, видя верного, бескорыстного, ясного Колю Бабушкина в отношениях с друзьями, в различных забавных и трогательных эпизодах, читатель безусловно верит, что все сумеет сделать своими руками наш герой — и кирпич достать, и новый цех построить, и завоевать любовь красавицы Ирины. Мужество и благородство, упорство и чистота помыслов награждаются удачливостью, любовью и счастливым возвращением домой: по весенней Печоре, под сияющим великолепием неба возвращается Коля Бабушкин на Пороги как победитель.

Может быть, покажется, что автор этой рецензии несколько преувеличил сходство «Молодо-зелено» с традиционными формами устного развлекательного рассказа? Признаюсь, что доля такого преувеличения есть, но сделано оно сознательно, ибо не только художнику, но и критику иногда просто необходимо как-то заострить и подчеркнуть свою мысль, а не выводить среднеарифметический баланс. В данном случае мне хотелось прежде всего показать, что существенно отличает повесть А. Рекемчука от многих других повестей, рассказов и очерков о нашей молодежи. Ведь сразу же после опубликования «Молодо-зелено» появились статьи, где подробно, обстоятельно и весьма серьезно разбирались главные действующие лица повести, но вне формы произведения, которая, право же, кое-что значит и кое-что решает в общем итоге. И получилось, что в этих статьях замысел писателя выглядел обыкновеннее, герой — скучней, а повесть в целом — серьезней, чем они есть на самом деле.

Мне кажется, что, когда в качестве похвалы писателю пишут: «А. Рекемчук пренебрег рецептами «занимательной беллетристики», с позиций которой подобного ге-

роя непременно нужно как-то оживить и расцветить», — это недоразумение. Чего-чего, а занимательности, и очень веселой занимательности, в повести А. Рекемчука сколько угодно.

Или когда начинают серьезно жалеть, что при удаче одних образов А. Рекемчука другие могли бы быть «объемней, глубже», мне кажется, что в такой повести, как эта, они никак не могли стать «объемней» хотя бы потому, что это не входило в задачу автора. Объемность — это качество психологического повествования, где герой действует согласно обстоятельствам каждый раз по-разному и этими обстоятельствами формируется. Здесь же у каждого героя отчетливо видно свое амплуа. У одних оно проще, у других сложнее, но в общем-то герои не выходят из него. (К уже упомянутым персонажам можно прибавить друга Коли Бабушкина, Лешку Ведмеда — такую смешную фамилию придумал ему автор, — который при каждой встрече выступает в роли мастера — золотые руки, подпорченного микробом стяжательства. Есть своя роль и у Ирны. Во-первых, это современная модница. Во-вторых, молодой архитектор, увлеченный передовыми строительными идеями. В-третьих, красота, поглощенная самой собой. Расколдовать эту «заколдованность» — последнюю на его пути — предстоит в будущем Коле Бабушкину. Все эти «роли» написаны Рекемчуком с веселым блеском и задорным юмором, но вряд ли они — даже при усиленной «дополнительной работе» писателя — могут стать «объемными»: так уж они задуманы.)

О Рекемчуке пишут: «Автор стремится через будни трудовой молодежи дать представление о наиболее существенном в ее облике, и ее кровной связи с моралью передового рабочего класса». И я целиком соглашусь с мыслью о кровной связи, но вот «будней» никаких не вижу. Где же будни? Перед нами сплошное праздничное шествие лиц, происшествий, встреч, превращений. Веселое умение превращать будни в праздник, когда даже дезинфекция квартиры ощущается и описывается как забавнейшее, любопытнейшее, почти необыкновенное приключение, помогает писателю передать молодое обаяние героя, но эта же черта таланта А. Рекемчука в данном случае несколько сграницивает его возможности, и о границах этих необходимо сказать.

Есть, например, в повести очень хорошая сцена в доме молодой четы Ведмедей. Коля Бабушкин остановился у друзей, но старая любовь к жене друга выгнала его среди ночи в гостиницу. Щемяще-трогательная фигурка Верочки с ее худенькими лопатками, тайным горем и беспредельной готовностью прощать мужа — это уже вовсе не из сказки, и, пожалуй, нам, взрослым современным людям, это все-таки ближе и интересней беззаботной сказки. Хотя бы потому интересней, что любопытно, как же распутается этот клубочек — у него ведь столько спрятанных кончиков! Но нет, клубочек просто катится, ведя за собой героя, катится до поры до времени, когда же он становится ненужным, его играючи отталкивают в сторону. А трогательная в своей беде и в своем счастье Верочка застывает в амплуа верной жены.

Конечно, бог с ней, с Верочкой: мелькнула трогательная фигура, прозвучала серьезная нота — и на том спасибо. Но ведь история с организацией керамзитового цеха, с отправкой кирпичца на Пороги — центральная ситуация повести — тоже дается как готовый результат, этот нелегкий клубочек (можем догадываться о его «кончиках»!) тоже с легкостью откатывается в сторону и тоже обретает свое «амплуа» — условного (и вполне модного) литературного конфликта.

Впрочем, пусть никто не подумает, что я против условности в искусстве. У образов и сюжетов условного плана есть свои великие преимущества и свои задачи.

Фигура современного попа, разъезжающего на «Волге» и знающего дорожку в райисполком, фигура председателя райисполкома, произносящего свои праздничные речи по одной и той же бумажке, — это, конечно, не характеры, но какие возможности, и прежде всего юмористические и сатирические, заложены в образах подобного рода! А. Рекемчук с журналистской зоркостью выхватывает из жизни характерные лица и острые, злободневные ситуации, но... Коля Бабушкин шествует мимо них празднично, без помех и серьезных столкновений, во всяком случае его жизнь несколько не меняется от подобных столкновений, и лица эти, при всей их выразительности, остаются развлекательным элементом повести — не больше.

А. Рекемчук — бесспорно талантливый писатель. И если бы его веселую, легкую

повесть не пытались выдавать за «эпику», а его персонажей — за властителей дум, го, пожалуй, стоило подробнее остановиться на некоторых немалых, в первую очередь формальных, достоинствах его произведения. Автор «Молодо-зелено» прекрасно владеет современной разговорной интонацией, она — основа того юмора, который, как я уже говорила, является самой обаятельной чертой повести. Стоило бы продемонстрировать, как остроумно обыгрывает, конкретизирует и оживляет А. Рекемчук распространенные в народе (и не когда-нибудь, а именно сегодня, сейчас) фразеологические обороты и «словечки». «Знакомые подсобные девчонки», «персональный старичок», «менее руководящие на вид товарищи» — подобные не совсем литературные, но весьма выразительные выражения, рожденные современными отношениями, насыщают повесть Рекемчука. Легкая ирония, веселая насмешка, иногда пробивающийся сквозь них скрытый лиризм позволяют автору и о самых серьезных и о самых обыденных, даже избитых вещах говорить с обаянием остроумного и очень молодого собеседника. «Конечно, Север нынче не тот, каким был в прежние времена. Тут теперь и городов понастроили. И железные дороги провели. И однажды сюда приезжал на гастроли московский цирк. Но, не смотря на значительные перемены, Север остался Севером. Он так и не стал Югом. Здесь хотя рубль и длиннее, но лето короче. И морозы куда более жгучи... И на деревьях тут не произрастает урюк — его сюда спекулянты возят».

И во всем правильный, положительный Коля Бабушкин не огражден от легкой и любовной авторской насмешки, которая не то чтоб поправляет героя — поправлять его не надо, он и так хорош, — но дополняет его, оставляет ему местечко еще вырасти, стать еще лучше. Вот Коля в клубе, наблюдает за игрой заезжего пианиста: «...Пианист запрокинул голову, сквозь очки устремил взгляд на потолок, где раоплылось большое рыжее пятно (должно быть, прохудилась клубная крыша, ее давно не ремонтировали), и стал играть, не глядя на клавиши, не заглядывая в ноты. Да перед ним и не было никаких нот, он играл без нот, как по нотам... Сразу видно — работающий парень. Ведь он мог бы сыграть и что полегче: какой-нибудь вальс. Сразу видно, что парень честный, легкой жизни не ищет. Трудяга». Автор в общем согласен с героем, но и чуточку улыбается над его неискушенным простодушием.

Вот об этой стороне повести — о том, как она «хорошо сделана», как автор владеет словом, умеет строить сюжет, — действительно стоило бы говорить подробнее. Ведь такое умение тоже не так уж часто встречается.

Но говорить об этом надо тогда, когда не забывается само собой разумеющееся — то, что отличает книгу, изображающую пусть самые злободневные явления, но как готовый, известный результат, не имеющий ни причин, ни следствий, от книги, берущей те же злободневные явления как предмет серьезного размышления.

Е. СТАРИКОВА.

★

## ГРУЗ НАЗИДАТЕЛЬНОСТИ

Софья Михеева. Вольная птица. Повесть. «Октябрь», № 11, 1961.

Перед нами повесть молодой писательницы С. Михеевой «Вольная птица». Первые ее страницы производят благоприятное впечатление. Спокойная, бесхитростная, пожалуй даже задушевная манера повествования вызывает симпатию читателя. Привлекает и хорошее знание материала, выразительные производственно-бытовые подробности.

Послушайте, например, как с досадой и огорчением рассуждает плотник о деревьях, из которых выпущен сок: «Это же смола, как кровь, из них вытекает!.. Пустое дерево

от этого делается, пресное... Заготовленный лес вроде одинаковый лежит под ногами, клади фундамент! Ну, только пресный венец не годится. А как узнать, пресный или нет? По звону. Ударь и слушай. Который без подсочки, звенит. А из десятка только одно бревно выберешь со звоном». Или прочтите о том, как выглядят льны в конце лета: «Как на ладони, лежали льны; они везде хороши и уже отцвели; только один квадратик в низине, где сорт, наверно, поздний, выделялся нежной своей, мягкой, подсиненной красотой. Мать говорила вчера, что льны

нынче везде номерные; если трестой сдавать, то не меньше, как двойной, а если волжком, то и до шестнадцатого номера дотянуть можно. Только бы, говорила мать, не накинута хмарь или град, как летось».

Однако по мере чтения все тонкие, верно увиденные детали отступают как бы на второй план, ибо в сознании читателя возникает и крепнет недоумение: «Вольная птица» — это повесть о любви, о любви несчастливой, кончающейся разрывом, почему же меня, читателя, ни капли не волнуют переживания героев? В повести рассказывается о стремлении молодой девушки к счастью, о столкновении ее неискнутого чувства с черствым эгоизмом, мрачным стяжательством, а в моей читательской душе все это не вызывает ни сочувствия к страданиям девушки, ни ненависти к корыстолюбивому герою ее любви.

Почему же так происходит? Да потому, вероятно, что история, рассказанная С. Михеевой, служит всего лишь иллюстрацией к тезису о единстве личного и общественного, о борьбе передового и отсталого, и подлинные человеческие чувства с их элементами стихийности, бессознательности, с их противоречивостью подменяются нужными автору сюжетными ходами.

Внешне содержание повести (во всяком случае в первой ее части) вполне правдоподобно и художественно закономерно.

Молодая девушка уходит из колхоза, где ничего не выдают на трудодень и откуда бежит молодежь. В Калининне она устраивается на работу на текстильной фабрике. Она неплохо зарабатывает, приобретает квалификацию, становится сознательным человеком. Однако на родине остался ее любимый, Григорий Кравцов. После окончания строительных курсов он организовал плотницкую артель и по договорам работает в колхозах района. Как-то Марина приехала домой в отпуск, встретилась с Григорием, и оказалось, что ничего не забыто. Их любовь вспыхивает, как говорится, с новой силой.

Марина решает бросить фабрику и вернуться домой. Ее отговаривают подруги: кто же это меняет хорошее на плохое; на нее даже косо посматривают в колхозе — уж не проштрафилась ли она как-нибудь на фабрике. Но я, читатель, верю, что Марина могла так поступить. Помимо всего прочего, ее поступок свидетельствует о серьезном и сильном чувстве к Григорию. Если бы ей

только хотелось замуж, мужа бы она могла найти и в Калининне.

Но дальше, как мне кажется, начинается авторский произвол. Дело в том, что, вернувшись на родину, Марина сразу увидела: ее Григорий — отсталый человек. Мало того, она убеждается, что он заядлый «шабашник», рвач, индивидуалист. Впервые Марина это открыла, когда они с Григорием на делянке в лесу рассматривают деревья, отведенные Кравцову для строительства собственного дома. И тут авторское намерение явно вступает в противоречие с реальной действительностью. Сосны, из которых предстоит Кравцову строить дом, оказываются как бы обескровленными: из них выпустили смолу для последующей переработки на канифоль. Естественно, что Кравцов недоволен, его слова процитированы выше.

А Марина? Марина возмущена тем, что, когда речь идет о собственном доме, Григорий беспокоится — лес плохой, а вот строили в колхозе телятник, он и не задумывался о качестве леса. Думается, что в действительности женщина, собирающаяся жить у себя в доме, растить там детей, не меньше мужа беспокоилась бы о качестве будущего дома. Обвинения же в адрес Григория в индивидуализме, эгоизме и т. д. в данном случае выглядят несколько натянуто. Тем более что телятник — не следует этого забывать! — предназначен для животных, там лес может и не быть того качества, какое потребно для жилого дома. Таким образом, на мой взгляд, автор совершает явный нажим с целью умозрительно подкрепить идею об отсталом и передовом, нарушая этим художественную целостность произведения.

Приведенный эпизод характерен для повести. Сверхсознательность Марины неоднократно дискредитируется подобными эпизодами, неоднократно порождается ими неверие в ее естественность, в ее, так сказать, «натуральность». Что же касается отрицательного героя, то вопреки воле автора его поведение не кажется каким-то исключительно безобразным.

Марина приходит к выводу, что жить с Григорием она не будет. Да, конечно, к этому решению она приходит нелегко. У С. Михеевой чувствуется литературный опыт. Она не забывает, что в подобной ситуации человеку свойственно страдать, мучиться. Она заставляет Марину надеяться, что все обойдется, но вновь молодая женщина сталкивается с дурными качествами

Григория, вновь убеждается в его порочности.

Пусть бы так оно и было. Однако вот что странно: еще до того, как Марина пришла к решению порвать с Кравцовым, читателю ясно, что именно так все и произойдет. Задолго до героини мы догадываемся, что Кравцов — плохой человек, так же как задолго до того, как Марина полностью раскрывается перед нами, мы уже твердо знаем: она — хорошая.

Очевидно, как раз поэтому любовь между заведомо идеальной Мариной и заведомо отрицательным Григорием и все связанные с ней переживания меня и не волнуют.

Можно сказать еще о том, что С. Михеевой следовало бы, на мой взгляд, больше доверять воздействию на читателя художественных средств и меньше формулировать, «что такое хорошо и что такое плохо». Приведу цитату — а таких в повести можно найти немало, — в которой все размечено, разжевано, хотя и без подсказки читателю вполне ясны мысли автора:

«На фабрике в Калининне тоже промышляли «шаромыжники», гнавшие деньги на разгрузочных работах, но она их сторонилась. Она трудилась на той же фабрике, не думая о деньгах. Деньги она получала, не пересчитывая, уверенная, что ей выдали, сколько полагается. Она не задумывалась над тем, для чего «вкалывали» фабричные «шаро-

мыжники», которых частенько видела пьяными. Гришину «вкалывание» она воспринимала раньше, как его страсть к делу, как потребность его золотых рук. Теперь она поняла другое, и хотя это понимание назревало давно, сейчас оно мучило и терзало ее».

Рассудочность никогда не украшала художественные произведения. В повести о любви, где главное — с наибольшей тонкостью передать человеческие чувства, рассудочность просто губительна. Она не только разрушает художественность произведения и нарушает необходимую достоверность, она, как правило, приводит автора в противоречие с его же собственными намерениями.

Подсказки вроде вышеприведенной, стремление навязчиво сформулировать, «что такое хорошо и что такое плохо», приводят к тому, что возникает впечатление: добротная материальная оснастка повести, все тонко подмеченные производственно-бытовые подробности понадобились автору, чтобы хоть немного замаскировать назидательную сюжетную схему.

Хочется пожелать С. Михеевой, писательнице молодой, чтобы в будущем она избавила бы своих героев от избыточного груза рассудочности, их отношения — от схематизма и постаралась бы глубже и достоверней изображать их чувства и переживания.

**А. ПИСЬМЕННЫЙ.**

★

## СЛОВО — ЗОЛОТО

**С. Маршак. Воспитание словом. Статьи. Заметки. Воспоминания. Редактор Б. Галанов. «Советский писатель». М. 1961. 542 стр.**

**М**ыслим ли сколько-нибудь живой и содержательный разговор об искусстве без непосредственного наслаждения этим искусством?

Маршак рассказывает об экскурсоводе, выражавшем свое недовольство теми посетителями музея, которые пытались рассматривать картины без его помощи.

«— Не смотрите, не смотрите,— говорил он.— Я вам сейчас все расскажу».

Маршак-критик не похож на этого экскурсовода. Он сводит вас лицом к лицу с поэзией, заставляет прежде всего услышать стихи, а потом уже позволяет себе некоторые рассуждения на этот счет. Ему приходится поэтому много цитировать, да

что за беда! Поэтические строчки, строфы и целые стихотворения, которые он с таким безукоризненным вкусом припоминает, не просто иллюстрируют его мысль, а будят в нас художественную радость, ощущение красоты слова.

Лучшая честь стиху — не когда его хочется логически разбирать, дотошно анализировать, а когда хочется бесконечно его повторять, прислушиваясь к звучанию слов и открывая все новые оттенки поэтической мысли. Маршак размышляет об искусстве, как бы читая нам — без какой-либо поспешности и с видимым удовольствием — стихи Пушкина, Некрасова, Блока, Твардовского, и часто трудно удержаться от жела-

ния повторить за ним эти строчки вслух, а не просто пробежать глазами на книжной странице.

И, быть может, как раз потому, что Маршак озабочен целостным и живым восприятием поэзии, он так внимателен к частностям и так много нового открывает нам даже в знакомых с малолетства строках:

Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывет.

«Здесь очень мало слов — все напереčet, — пишет Маршак. — Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо и море, занимающие в стихах по целой строчке.

И как не случайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней!

В этом пейзаже, нарисованном несколькими чертами, нет берегов, и море с одинокой бочкой кажется нам безбрежным и пустынным».

Как точно, как абсолютно точно сказано у Маршака о том, что мы и сами всегда чувствовали, знали, слушая пушкинскую сказку, да не умели высказать, передать в словах, — этот простой секрет поэтической картины безбрежного моря.

Читая и перечитывая наново стихи, Маршак незаметно, с поразительной для постороннего глаза естественностью и легкостью получает некую прибыль в своем понимании законов искусства и охотно делится ею с читателям.

Такое впечатление оставляют сами приемы его критики, о которых нам хотелось сказать прежде, чем о самом содержании широкого по интересам и разнообразного по материалу сборника.

Больше всего, понятно, занимают Маршака те виды литературного труда, которые всегда были ему творчески близки. Это детская литература, сказка, это поэтические переводы. В статьях Маршака о детской книге проходит как бы вся послереволюционная история этого жанра — от перелицованной на новый лад Чарской до зрелой нашей детской литературы, представленной именами Житкова, Гайлара, Пантелеева, Ильина и соединившей художественную силу с познавательной глубиной. Маршак пишет об искусстве вдохновенного и точного перевода, о литературных заветах Горького, о волшебных сказках Андерсена. Основательную и тонкую работу посвящает он четырем поэмам Твардовского. Но о чем

бы он ни писал, он говорит прежде всего о ценности поэтического слова, о необходимости бережного и чуткого отношения к нему.

Любовь к слову — вещь особая, надо быть художником по призванию, по натуре, чтобы по-настоящему знать ее. Это странная власть любимых слов, и свободная игра словом, и нечаянное счастье оттого, что нашлось, припомнилось или услышалось какое-то знакомое, точное и редкое слово. Это как радость музыканта от свежего и сильного звучания инструмента, как радость живописца, смешавшего на палитре краски и нашедшего чистый и новый тон, цвет, оттенок.

«Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении, — пишет Маршак. — В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара». Эта особая обостренность поэтического слуха заставляет видеть в языке как бы живой и теплый организм. Именно так относится к языку Маршак, обращая наше внимание на «возраст слов», на очевидную неравноценность их заслуг в общенародном языке. Слово «чувство» гораздо старше, чем слово «настроение», слово «беда» стариннее и заслуженнее, чем слово «катастрофа». Маршак не делает отсюда вывода о превосходстве старых слов над молодыми, древних над новыми или наоборот. Всякое слово хорошо к месту и может прозвучать фальшиво и натужно в несвойственном ему ряду. Но все-таки: «Старинные слова, как бы отдохнувшие от повседневного употребления, придают иной раз языку необыкновенную мощь и праздничность»; и то, что Маршак не забывает напомнить об этом, говорит о его поразительной чуткости к кладовым поэтической речи.

Впрочем, полнозвучие слов полузабытых и редких никак не заглушает для Маршака силу слов самых простых и обыкновенных, так же как вообще чарование музыки слова не способно заставить его быть более снисходительным к бедности поэтического смысла. Со спокойным остроумием Маршак опровергает стойкое заблуждение, что слова и обозначаемые ими предметы действительности делятся будто бы на «поэтические» и «непоэтические». Он открывает — я не побоюсь сказать этого — своего рода закон волшебного преображения жизненной

прозы в поэзию. «Может ли быть мастерство там, — говорит Маршак, — где автор не имеет дела с жесткой и суровой реальностью, не решает никакой задачи, не трудится, добывая новые поэтические ценности из житейской прозы, и ограничивается тем, что делает поэзию из поэзии, то есть из тех роз, соловьев, крыльев, белых парусов и синих волн, золотых нив и спелых овсов, которые тоже в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой жизненной прозы».

Некрасов, например, о котором с особенной любовью и душевной близостью пишет Маршак, сделал достоянием самой высокой поэзии такие прозаические предметы, как «дровишки» и овчинный полушубок «мужичка с ноготок», падеж скота в сельце Ботове, одышку типографского рассыльного дяди Миняя.

А некрасовское описание летнего дождя, удивительно смелое и сильное сравнение капель с гвоздями, которые после книжки Маршака никак не уходят из памяти?

И по дороге моей  
Светлые, словно из стали,  
Тысячи мелких гвоздей  
Шляпками вниз поскакали...

Вот оно — завоевание поэзией прозаического материала, воскрешение силы простых слов, о котором толкует Маршак! Это, в сущности, главнейшая часть того, что называется поэтическим открытием.

Маршак убежден, что дорога к открытию в поэзии лежит не через вымученную оригинальность. Он считает ложными и бесплодными советами, которыми иногда потчуют молодых поэтов: будьте во что бы то ни стало оригинальны, вырабатывайте свою манеру письма, ищите свои ритмы и рифмы. Маршак показывает, что никакая рифма, в том числе и обычно третируемая в руководствах по стихосложению глагольная рифма, не бедна сама по себе. Пушкин, Тютчев знали силу самых скромных, «бедных» со звучащими строчек и рифм.

«Нарочитая музыкальность, как и нарочитая образность, чаще всего бывает признаком распада искусства», — замечает он.

«Музыка и образы выступают здесь наружу, подобно сахару в засахарившемся варенье».

Подлинная музыка лежит не на поверхности. Она — в таинственном совпадении

чувства и ритма, в каждом оттенке живой и гибкой интонации».

Можно было бы счесть упущением, что в книге Маршака нет историко-литературных справок, а в конце статей даже не указан год их написания. Но, признаться, все они, за немногими исключениями, звучат как написанные сегодня, так что особой нужды в их точной датировке не чувствуешь. И когда Маршак говорит, к примеру, что поиски рифм, размера, аллитераций не должны быть делом рассудочным, комбинаторским, знаешь, кто из современных поэтов должен обиженно поморщиться при этих словах.

Банальность, выглаженность слога и трюкачество, ложная изысканность совпадают для Маршака в цене. Настоящее искусство — вне того и другого. Это еще раз подтверждает, что отношение Маршака к слову глубоко демократично.

«Воспитание словом» — так названа книга. Поэтическое слово воспитывает не только своим прямым смыслом, но и эстетикой, красотой, музыкой звучания. Однако едва ли не важнее для Маршака народное чувство правдивости и простоты слова, любовь к слову как к прошлому народа, к традиции, к делу поколений, то есть как к национальному достоянию. И в этом — тоже воспитание словом. «Народ — простой, близкий к природе — умеет говорить звучно и образно, — пишет Маршак. — Он ценит и чувствует — иной раз даже сам того не сознавая — звуковую окраску слова. Это видно по народным песням, сказкам, пословицам, поговоркам, прибауткам, частушкам».

Да, надо любить слово, как любит его поэт. Надо видеть в нем красоту, культуру, народность. Надо знать и свои обязанности к слову — оно ведь не только предмет любования, оно должно внушать нам чувство ответственности. Со словом надо обращаться честно — это сказано давно и не напрасно.

А ведь как часто мы склонны к уклончивости и полуправде, как преступно болтливости, транжирим слова, не знаем цены им, заставляем однообразно бренчать — и слова стираются, вянут, мертвеют, теряют глупину и полнозвучность. «Эпитет «яркий» перестает быть ярким, — как пишет Маршак, — эпитет «ужасный» настолько перестает быть ужасным, что мы частенько слышим и даже сами говорим: «Я ужасно рад» или «Это мне ужасно нравится». Слово

«прелестно» лишается всякой прелести и даже иной раз звучит пошловато или иронически». Это непочтение к слову, неуважение к нему, безликость и пустомыслие речи — порождение канцелярского и мещанского обихода. Будто в укор такому суесловию и сложена старая поговорка, именуемая золотом не слово, а молчание.

Но народное слово — прочное и меткое — это золото. Как золото, и слово мастеров нашей поэтической культуры, верных демократической традиции отношения к слову.

Вот почему две внутренние темы — наслаждение словом и боязнь пустого слова — звучат у Маршака одинаково громко, полно, весно.

Книгу Маршака читаешь с увлечением. Но это еще и воспитательная книга в лучшем значении слова. Если бы я не боялся отпугнуть читателя набившим оскомину трафаретом, я назвал бы ее настольной книгой для человека, сочиняющего стихи и просто любящего их читать.

**В. ЛАКШИН.**

★

### ЖИЛИ ТРИ ТОВАРИЩА...

**В. Турбин. Товарищ время и товарищ искусство. Редактор Н. Розин. «Искусство». М. 1962. 178 стр.**

Книга В. Турбина поначалу привлекает и своим живым и нешаблонным стилем, редким в работах наших критиков, и разнообразием материала, и — прежде всего — смелостью в самой постановке центральной проблемы, определенной уже названием: «Товарищ время и товарищ искусство».

«Я хочу, — говорит автор, — наметить прогноз развития искусств. Начать вычисления нового отрезка орбиты художественной мысли — всегдашнего спутника рода человеческого». Задача, несомненно, интересная и своевременная, тема — новая, не разобранная, и читатель готов заранее многое простить автору в его трудном поиске.

Но все же приходится прямо сказать, что достоинства книги не избавляют от нарастающего разочарования, которое она приносит читателю.

Представление о сущности и задачах искусства имеет у автора очень ограниченный и во многом субъективистский характер, время трактуется им уж очень отвлеченно и во всяком случае вне связи с реальной современностью. Материал анализируется крайне произвольно. И самая живость стиля при этой бедности содержания приобретает такую размахистость, что порой сказывается на ходе мыслительного процесса.

Искусство представляется В. Турбину выражением чисто субъективного отношения художника к миру, а развитие искусства — сменой таких отношений. Так, считая «психологизм» одной из основных особенностей искусства прошлого, В. Турбин полагает, что он творчески исчерпан, потому что «вряд ли кому бы то ни было суж-

дено превзойти Лермонтова, Достоевского или Толстого». Поэтому «психологизм» объявляется отжившим, а искусству предлагается решать новые задачи на новом отрезке его орбиты. Но ведь все дело в том, что Л. Толстой передал психологию людей своего исторического места и времени, а психология людей нашего времени ставит перед искусством столь новые задачи, которые не могут найти аналогии в прошлом. Поэтому тот бой, который В. Турбин дает ветряным мельницам «психологизма», вызывает просто недоумение. Вся его аргументация совершенно оторвана от реальной жизненной обстановки нашего времени. Наша эпоха — эпоха решающей ломки общественных отношений, требующая от человека коренного пересмотра всего его духовного уклада, — необходимо предполагает создание таких художественных форм, которые сумели бы выразить сложнейший процесс формирования человека нового типа. Мы сейчас непрерывно наблюдаем, как во все области нашей морали, быта, вплоть до интимного мира человека вторгаются — иногда еще прямолинейно и грубо, иногда уже в достаточной мере взвешенно — новые принципы оценки человеческого поведения, как складываются новые формы общественной психологии, осмысление которой является важнейшей задачей нашего искусства.

Не случайно в Программе, принятой XXII съездом КПСС, говорится о повышении воспитательной роли литературы и искусства, их участии в совершенствовании морального кодекса строителя коммунизма.

Пути развития, открытые современной наукой и техникой, необходимо предполагают, чтобы по ним прошел человек, духовный мир которого отвечает уровню его возвышения над природой. Только в этом случае будет преодолена трагедия нашего века, выразившаяся в том, что открытие атомной энергии привело к гибели Хиросимы. И роль искусства в этом процессе совершенно очевидна. Меняется содержание духовного мира человека, но сам-то этот мир остается — вот почему, как бы ни был велик Толстой, он не мог ни исчерпать, ни предугадать многообразия форм искусства, рисующих душевный мир человека в другие исторические периоды.

И поскольку именно это в книге не понято, так же как не понято в ней особенное значение внимания к духовному миру человека нашего времени, постольку стремление товарища Турбина быть на дружеской ноге с «товарищем временем» и с «товарищем искусством» теряет почву.

Его призывы к новой музе Урании, покровительнице астрономии, завершающие книгу: «Время не ждет. Урания, смелее! Урания, торопись!» — не относятся ни к нашему времени, ни к нашему искусству.

Но почему Урания станет новой музой? Потому что автор, отвергнув «психологизм», ищет нового обоснования для искусства и находит его в отождествлении искусства с наукой.

«Искусство,— пишет В. Турбин,— устремилось к своему давнему другу — к науке». «Художественные формы мышления предшествуют научным»,— говорит он далее. Искусство для него — «юность человеческого познания, утро становящихся идеологий. Наука — полдень, зрелость». Искусство представляет собой, как он выражается, «начало новой методологии, представленное в форме конца». Это «начало в форме конца» завершится, по его словам, созданием «кибернетического искусства».

Сближение искусства с наукой обнаруживает еще одно упрощение в понимании искусства В. Турбиным. Говоря о его познавательном значении, он почти совершенно оставляет в стороне вопрос о роли искусства в утверждении общественных идеалов, в эстетической оценке жизни, а ведь именно здесь и обнаруживается с особенной полнотой воспитательное значение искусства. Между тем В. Турбин особо оговаривает, «что искусство воздействует на действитель-

ность не сюжетами, которые воспроизводят разного рода поучительные события, и не характерами, которые увлекают нас «силой положительного примера». Мы вернемся к тому, что ставит автор на место «положительного примера», но самое отрицание значения этого примера свидетельствует о крайне обедненной трактовке им значения искусства в общественной жизни.

Понятие идеала связано у В. Турбина со странной теорией о том, что идеал «не только не может, но и не должен быть осуществленным», причем ему отводится вдобавок крайне узкое место в чисто литературном ряду: так, примером недостижимой, идеальной речи В. Турбин считает стихотворную речь. Но ведь стих не является идеальным для всех форм речевого общения: ни деловая, ни разговорная, ни научная речь не должны и не могут к нему обратиться, он развивается лишь в области художественной речи и лишь в ней необходим, но для В. Турбина «в самом факте существования стихов запечатлена какая-то огромная и светлая мечта. Суждено ли ей сбыться? Вряд ли. Как бы ни совершенствовалась речь... она никогда не достигнет гармонии, которая в произведениях национальных поэтов показана уже достигнутой, без труда доступной первому встречному». Вопрос о роли идеала в книге, говорящей об искусстве, по сути дела и не поставлен.

Итак, мы отказались от сюжетов, от характеров, от эстетической оценки явлений жизни. Что же приходит им на смену на «новом отрезке орбиты художественной мысли»?

Ответ на этот вопрос более чем страшен: задача искусства будет состоять в том, чтобы строить «гипотезы новых, недостижимо-могущественных гносеологических методов».

Автор широко развивает это положение: «Не вечно же нам трепетно внимать речам и подвигам литературных героев! Разумнее посмотреть, силой какой власти поэты научились создавать их... показать рабочему и крестьянину, как рождается и облекается в слово мысль. Приобщать их к секретам языкотворчества. Стать импровизаторами! Писать исторические романы — дело, несомненно, почтенное. Но что, если связать воедино Петербург XIX столетия и... древний Египет? Современную Америку и Вавилон? Октябрь 1917 года и античность?» Эти решительные призывы связываются со столь же безапелляционными характери-

ками произведений классического искусства: «Не... явились ли шедевры Рафаэля... предвестием открытий Джордано Бруно, Коперника и Галилея?» «Не будь Бетховена — не было бы достижений современной нам техники». В «Евгении Онегине» «запечатлен художественный образ логики истории, образ чередующихся поколений, правящего жизнью и смертью закона». На вопрос: что такое лирика? — следует ответ: лирика — это «гносеологическое чудо», которое задолго до теории относительности «с грациозной непринужденностью» сообщает минуте длительность нескольких лет». Эта серия ничем не аргументированных размышлений завершается следующим вряд ли хорошо продуманным определением цели искусства: «Конечная цель искусства — научить человека методам творчества, могущественного настолько, что он окажется в силах освободиться от деспотизма аналогий и выявлять качественное своеобразие представляющих перед ним явлений безошибочно, с быстротой вычислительной машины».

С автором (которому мы широко представили слово и место) трудно полемизировать — в такой степени его размашистая манера изложения свободна и от элементарных требований логического анализа предмета и от обращения к фактам.

Он не дает себе труда хоть сколько-нибудь четко выразить свои положения. Речь, например, идет о средствах будущего искусства. Как же их определить? Оказывается, это «какие-либо обновленные, неизвестные классикам средства» — вот и все! Выдвигается тезис, что в искусстве «цель — утверждение самой условности, образ — средство, опора для нее», что «прием в искусстве идеологичен, с него начинается создание образа» и что сейчас «рождаются спектакли... смелой, неприкрытой условности. С каждым годом их становится больше». Тут бы хоть назвать эти спектакли, но автор не тратит на это усилий, он рассказывает о воображенной им самим пьесе, в которой «весь центр тяжести переместился с событий на конструкцию спектакля».

Если в книге и прорывается конкретный материал, то он в ней так произвольно толкуется, что теряет свои реальные очертания. Поучительны в этом отношении комментарии В. Турбина к отрывку из «Войны и мира», в котором Л. Толстой характеризует своевольный душевный склад Ната-

ши, выражающийся в ей лишь понятных, смутных ассоциациях: «Безухов — тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный», а Берг «узкий такой, как часы столовые... Узкий, знаете, серый, светлый...»

Толстой добавляет, что Наташа «все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть». В истолковании же В. Турбина оказывается, что здесь найден новый принцип художественного изображения, что перелнами «очертания... портрета-чертежа, будто вычерченного кистью художника-кубиста». Индивидуальную черту персонажа, мотивированную именно его психологическим складом, автор превращает в свойства метода самого писателя. Странно, что В. Турбин не заметил у Л. Толстого еще более отвечающий задаче «кибернетизации» искусства эпизода в «Анне Карениной», где Кити и Левин угадывают слова по их начальным буквам («Она написала начальные буквы: ч. в. м. з. н. п. ч. б. Это значило: чтобы вы могли забыть и простить, что было»). Здесь Толстой явно вписывается в современное математическое языкознание, определяющее вероятность появления букв в зависимости от предшествовавшего контекста (так называемая «игра Шеннона»!)

Из «Евгения Онегина» В. Турбин выписывает несколько строк, в которых упоминается снег, говорит затем о смене времен года, смене поколений и вдруг приходит к ни с чем не соотносящемуся выводу: «В основание сооружаемого поэтом архитектурного ансамбля слишком часто ложится один и тот же образ — образ непобедимой смерти», — а через три страницы окажется, что в основе «Евгения Онегина» лежит «образ логики истории». Дистанция между этими определениями очевидна, но автор ее, видимо, не замечает.

Конечно, нетрудно было бы предъявить автору упреки по части близости ко всякого рода ошибочным теориям. Но суть заключена, скорее всего, в излишнем пристрастии к красному словцу, которое оборачивается в книге легковесностью, упрощением основных эстетических понятий.

Крайности сходятся. Пафос условности, провозглашаемой В. Турбиным, направлен, очевидно, против того обеднения искусства, которое и в теории и на практике осуществляется сторонниками «кипятка», то есть теми писателями, которые, ратуя за

отображение современности в литературе, отодвигают мастерство, художественность на второй план.

Но и призывы к Урании, подкрепляющие попытки объявить, что с приема начинается создание образа, ведут к такому же упро-

щенному представлению и о сущности и о целях искусства. Вот почему и «товарищу времени» и «товарищу искусству» несладко живется с товарищем В. Турбиным.

Л. ТИМОФЕЕВ.

★

### Политика и наука

## ЛЕНИНСКИЕ ЧЕРТЫ

**О Ленине. Воспоминания зарубежных современников. Составители сборника — С. Ф. Безвесельный и Д. Е. Гринберг. Редактор П. Петров. Госполитиздат. М. 1962: 536 стр.**

«...Ленина я до этого не знал и никогда не видел. Сажу в комнате и жду приема. В двери, за которой исчез шофер, появился мужчина средних лет, одетый в обычный черного цвета костюм; у него был круглый большой лоб, маленькая бородка, в руках листок бумаги. Я принял его за секретаря, который должен проводить меня к Ленину. Мы дружелюбно посмотрели друг на друга, тепло пожали друг другу руки и, не говоря ни слова, вошли в комнату Ленина — «секретарь» впереди, я — за ним. Но там никого не было. А не Ленин ли это? — подумал я. Видимо, да. Войдя в комнату, он остановился у круглого столика и без излишних формальностей приступил к делу, начав читать некоторые отрывки из того самого листка, который был у него в руке. Очарованный этой простой манерой Ленина знакомиться и завязывать беседу, я по-французски изложил свое мнение по поводу того, что он мне прочел», — так описывает свою встречу с В. И. Лениным в конце 1917 года видный деятель румынского коммунистического движения Михай Бужор, чьи воспоминания впервые публикуются на русском языке в сборнике «О Ленине», только что выпущенном Госполитиздатом.

Это сборник воспоминаний о В. И. Ленине видных зарубежных руководителей и рядовых участников коммунистического и рабочего движения, общественных и государственных деятелей, писателей, художников, людей различных профессий, встречавшихся с Владимиром Ильичем в разное время — в эмиграции начиная с 1900 года и в первые годы советской власти.

В сборник включено около ста воспоминаний, расположенных в хронологическом порядке. Часть из них публикуется на русском языке впервые, часть печаталась ранее,

но стала уже библиографической редкостью. Воспоминания содержат ценные сведения и наблюдения, в известной мере дополняют биографию Владимира Ильича, помогают воссоздать великий образ.

Поль Вайян-Кутюрье, рассказывая о встречах с Лениным, приходит к выводу, что «Владимир Ильич был и остался олицетворением непрерывного действия и в то же время марксистом с головы до ног».

С уничтожающей, откровенной критикой выступал Ленин против оппортунистов, горе-теоретиков, отступников от марксизма. Но он умел и внимательно выслушивать оппонента и, если это оказывалось нужным, затем неопровержимо разбивал его аргументы. Критические замечания Ленина не носили и следа личной полемики. Критикуя, он пытался переубедить своего оппонента. В этом отношении характерным является его выступление на III конгрессе Коминтерна в защиту тактики Коминтерна, против поправок итальянского делегата Террачини, критиковавшего тезисы Ленина по вопросам тактики. В. И. Ленин начал свое выступление словами: «Товарищи, к моему большому сожалению, я должен ограничиться самообороной». Но сразу же за этим зазвучала, нарастая с каждой минутой, «атакующая» речь. Ленин разнес в пух и прах аргументы и концепции оппонента, но, как признает сам Террачини, — «его взгляд, обращенный ко мне, вместо горечи и унижения зажег во мне мужество и boldость».

Клара Цеткин так отзывалась об этом выступлении Ленина: «Его доклад — мастерской образец его искусства убеждать. Ни малейшего признака риторических прикрас. Он действует только силой своей ясной мысли, неумолимой логикой аргументации...

Ленин не хочет ослепить, увлечь, он хочет только убедить. Он убеждает и этим увлекает».

Ленин не только убеждал и увлекал слушателей, но и старался им помочь. Ленин, говорит У. Галлахер, «ведя непримиримую принципиальную критику моих установок, каждый раз пользовался случаем помочь мне, сказать что-нибудь такое, что значительно облегчило бы трудное положение, в которое меня заводили мои ошибочные взгляды». Критика Ленина «никогда не оскорбляла нас, — отмечает Вилли Мюнценберг, — мы никогда не чувствовали себя отвергнутыми, и, даже подвергая нас самой суровой критике, он всегда находил в нашей работе что-нибудь заслуживающее похвалы. Это поощрение действовало крайне благотворно, и мы с еще большим рвением принимались за работу».

В своих воспоминаниях, впервые публикуемых на русском языке, Пал Петровски, встречавшийся с Лениным в 1908 году в Париже, говорит, что наряду с манерой держаться, железной логикой и несравненной аргументацией его «пленило в Ильиче еще и другое: его простота, непосредственность. Он приходил на собрания веселый, улыбающийся, запросто беседовал с людьми, он знал каждого из присутствовавших. Когда я в первый раз пришел на собрание кружка, он тотчас же заметил меня, заговорил со мной, спросил, как меня зовут, откуда я приехал. Я сказал ему, что по национальности я венгр, а фамилия моя Петровски. Услышав мой ответ, Ильич улыбнулся и добродушно заметил:

— У вас совсем русская фамилия.

Затем он поинтересовался:

— Вы рабочий? Вас интересуют дела рабочих?

Он беседовал со мной так дружески, непринужденно, словно мы были старые знакомые».

Ленин стремился, чтобы его слова были правильно поняты не только активными членами партии, но и каждым беспартийным рабочим. Искренне и горячо любил он трудящихся, — делает вывод К. Цеткин из многократных бесед с Лениным. Она приводит слова Ленина, который говорил ей: «Когда я выступал «в качестве оратора», я все время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях... Нужно, Клара, всегда думать о массах». И по лицам слушавших его можно было видеть, что его

мысли — их мысли, его жизнь — их жизнь.

Достигал Ленин этого, не драпируясь в мантию жреца, а говоря о величайших проблемах человечества так просто, что каждый был в состоянии понять суть этих проблем. «Ведь у него нет духовного сомнения, — отмечает Мартин Андерсен-Нексе, — ведь он слишком человечен».

Простоту, душевную теплоту и человечность Ленина отмечают многие встречавшиеся с ним.

Многие иностранные деятели подчеркивают в своих воспоминаниях, насколько чутким, отзывчивым, гуманным и доступным человеком был Ленин. Лайош Немети вспоминает, как однажды Ленин, пристально посмотрев на него, сказал: «Товарищ, вы, наверно, очень утомлены» — и распорядился, чтобы его показали врачу. А когда однажды после болезни Ленина к нему зашел Роберт Майнор, то Владимир Ильич спросил у своего гостя, оправился ли тот от простуды. «Уходя, я с огорчением вспомнил, — пишет Р. Майнор, — что мы не говорили о его здоровье, а только о моем».

Когда во время разгрузки бревен на Белорусском вокзале делегатами III конгресса Коминтерна один из работавших ушиб ногу и его отправили в больницу, Ленин позвонил и справился о его здоровье. «Какая человечность исходит от него! — заключает в своем воспоминании Крум Кюлявков. — Гений, который настолько же велик, насколько прост и прекрасен».

Владимир Ильич любил безобидно шутить и умел от всего сердца, весело смеяться. «Это является признаком подлинного душевного здоровья и равновесия», — записал В. Мак-Лейн в альбоме делегатов II конгресса Коминтерна.

Герберт Уэллс вспоминал, что ему не приходилось встречать столь оригинального мыслителя, что он был поражен исключительной живостью и простотой Ленина. «Сравнивая Ленина с другими знаменитыми людьми, которых я знал, — говорит Уэллс в своей книге «Опыт автобиографии», — я начинаю понимать, какой выдающейся и значительной исторической фигурой он был. Я не сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если вообще говорить о великих представителях нашего рода, то я должен признать, что Ленин был по меньшей мере действительно великим человеком».

Здесь приведена только часть характер-

ных черт Владимира Ильича, подмеченных людьми, встречавшимися с ним в различное время и при различных обстоятельствах. Впечатления от общения с Лениным порой схожи, но это лишь подтверждает их правдивость.

Жаль, что в сборник не включены воспоминания таких деятелей коммунистического и рабочего движения, встречавшихся с Лениным, как Б. Кун, Э. Коутс, И. Сиrolа и некоторые другие; мало воспоминаний,

в частности, представителей народов Востока.

Сборник снабжен научным аппаратом — краткими биографическими сведениями об авторах воспоминаний, примечаниями; полезным был бы и указатель имен.

Сама тема книги — верная гарантия того, что она представит исключительный интерес для самых широких читательских кругов.

**П. СЕРГЕЕВ.**

★

## ЛЕНИНСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ АТЕИЗМА

**М. И. Шахнович. Ленин и проблемы атеизма. Критика религии в трудах В. И. Ленина.**  
 Ответственный редактор доктор философских наук профессор В. П. Рожин.  
 Издательство Академии наук СССР. М.— Л. 1961. 672 стр.

За последние годы после довольно длительного отставания нашей научно-атеистической мысли наметилось ее оживление. Появился ряд капитальных работ, среди которых книга «Ленин и проблемы атеизма», несомненно, займет видное место.

Автору монографии удалось достаточно полно выявить и систематизировать обширный материал. Речь идет и о ленинской критике религии и об организации Владимиром Ильичем пропаганды научного атеизма в нашей стране, о его борьбе за обеспечение подлинной свободы совести, отделении церкви от государства и школы от церкви. В книге приведено множество сведений по истории атеизма и религии, о положении церкви до и после победы Октябрьской социалистической революции. Освещены такие проблемы, как философия и социология религии, «христианский социализм», христианская этика. Отдельные главы трактуют взгляды В. И. Ленина на православную церковь, религиозное сектантство, богостроительство. Глава десятая, завершающая книгу, посвящена изложению взглядов В. И. Ленина на такую сложную проблему, как пути преодоления религии.

Но не только эта глава, а и все остальные, в том числе и те, где рассматриваются, казалось бы, чисто теоретические проблемы, перекликаются с практическими задачами научно-атеистической пропаганды. Это одно из достоинств книги. Впрочем, иначе и нельзя писать о В. И. Ленине, вся многогранная деятельность которого явилась классическим образцом единства теории и практики.

Ленинизм представляет собой новую ступень в той революции, которую произвели Маркс и Энгельс в философии, а значит и в теории научного атеизма. Ленин развил дальше марксистское учение о происхождении и сущности религии, ее гносеологических предпосылках и социальных корнях, роли религиозных организаций в эпоху капитализма. Ленин вскрыл сущность таких уточненных форм религии, как богоискательство, богостроительство, «христианский социализм», показал несостоятельность попыток отождествить религию и мораль. Владимиру Ильичу принадлежит всесторонняя характеристика задач и методов антирелигиозной пропаганды как необходимого условия преодоления религии.

Ленинизм и в этой области ведет непримиримую борьбу против всех форм ревизионизма и оппортунизма. Небезынтересно отметить, что отец ревизионизма Э. Бернштейн не только стремился соединить социализм с религией, но на склоне дней своих сожалел по поводу того, что в молодые годы порвал, подчиняясь партийной дисциплине, с религиозной общиной. Ныне его «достоинные» преемники остаются в лоне церкви. В программе австрийской социал-демократической партии, составленной сыном К. Каутского, сказано: «Социализм вполне совместим с христианством, как религией любви к ближнему. Социализм и религия не исключают друг друга».

В. И. Ленин был непримирим и по отношению к анархистскому пустословию и фразерству в вопросах религии. Среди ра-

бочих России не встретило поддержки «шумливое провозглашение войны религии».

Первая глава монографии, дающая самую общую характеристику ленинского этапа в развитии атеизма, подводит к выводу о том, что нет у исследователей более важной задачи, нежели всестороннее и исчерпывающее изучение критики религии Лениным.

В 1922 году В. И. Ленин в письме к И. И. Скворцову-Степанову советовал написать книгу «по истории религии и против всякой религии». В монографии изложены и проанализированы высказывания В. И. Ленина об истории атеизма. Автор справедливо отмечает, что история атеизма, имеющая самостоятельный научный интерес, вместе с тем невозможна без истории религии. Однако, на наш взгляд, он недостаточно подчеркивает, что изучение истории религии продолжает у нас отставать. Об этом писал В. Д. Бонч-Бруевич в письме к автору книги: «Неужели не найдется у нас достаточных сил по истории религии?»

К сожалению, нужно признать, что сил еще мало. За доказательствами далеко идти не приходится. После того как в апреле 1948 года мир узнал о «Кумранской находке», на Западе успела сложиться целая научная дисциплина — «кумрановедение». Десятки научных журналов во всем мире широко предоставили свои страницы для публикации текстов и исследований новооткрытых рукописей. С июля 1958 года в Париже начал издаваться специальный журнал «Revue de Qumran». Общее количество работ, посвященных кумранским рукописям, в настоящее время превысило уже три тысячи, а поток новых публикаций не иссякает. А каков удельный вес советской науки в «кумрановедении»? На русском языке едва ли насчитывается десяток статей, да и то по преимуществу популярных. При этом первые статьи увидели свет лет шесть-семь спустя после этой потрясшей весь мир находки. Не удивительно, что журнал «Коммунист» после XI Международного конгресса историков в Стокгольме в 1960 году отметил, что «...мало внимания уделяется нашими учеными такой проблеме, как история религиозных культур, которая в основном монополизирована клерикальными историками».

Основываясь на ленинских идеях, автор вскрывает полную несостоятельность современных попыток примирить науку и рели-

гию. В печально знаменитой речи, произнесенной в Ватиканской академии наук — «Доказательства бытия бога в свете современного естествознания», папа Пий XII сказал: «Факты показывают, что, вопреки поспешным заявлениям прошлого, настоящая наука чем дальше продвигается вперед, тем больше открывает бога».

Ленин, рассматривая идеализм как дорогу к поповщине, еще в 1908 году в труде «Материализм и эмпириокритицизм» предвидел новые методы защиты религии и призывал к разоблачению фидеизма, который, изощренно спекулируя на нерешенных вопросах науки, фальсифицирует ее достижения. Идеалистическая философия была и остается прикрытием религии.

Но В. И. Ленин не ставил знака равенства между идеалистической философией и религией, как это иногда делают некоторые авторы популярных научно-атеистических книг. К сожалению, М. Шахнович уделил недостаточно внимания анализу ленинских взглядов на специфику религии.

Религиозные представления, иллюзии, настроения, так называемое «религиозное чувство» обладает цепкостью и живучестью прежде всего потому, что сфера общественной психологии в целом более консервативна, чем сфера идеологии.

В наши дни, когда клерикализм расцвел пышным цветом в Италии, в Западной Германии, во Франции, его критика особенно актуальна. Известно, что католическая церковь не только мирилась с фашизмом, но и активно его поддерживала, так же, например, как поддерживает католическая МРП фашистов во Франции.

Не менее важное значение имеет ленинская критика «христианского социализма». Христианская религия накопила громадный исторический опыт активной приспособляемости, способность мимикрии.

Русским марксистам уже в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века пришлось столкнуться с проповедью возвращения к первоначальному христианству. Такие настроения имелись не только в среде интеллигенции, но и среди части рабочих. Ленину принадлежит большая заслуга в защите революционного рабочего движения от тлетворных влияний «христианского социализма». Его разновидностью в России явились идеи Л. Н. Толстого, под-

хваченные, в частности, немецкими ревизионистами. В. И. Ленин выступал против попыток приукрасить толстовство, критиковал евангельскую проповедь «непротивления злу» и пригвоздил к позорному столбу Базарова, который возвеличивал Л. Толстого за создание «чисто человеческой религии».

Проблема соотношения религии и морали — один из наиболее сложных и острых вопросов не только в теории научного атеизма, но и в практике научно-атеистической пропаганды. Религии, теснимой наукой во всех направлениях, остается только утверждать, что без религии не может быть нравственности. Если, мол, бога нет, то все позволено. На этой струне и пытаются играть церковники, в частности в СССР, и в особенности сектанты. Нравственность рассматривается как опорный пункт той линии обороны, которую вынуждена занять религия в своей борьбе с наукой. Более того, ныне религия согласна разделить с наукой сферы влияния. Один из протестантских теологов писал: «Сущность науки состоит в объяснении мира, сущность религии в установлении норм (Normgebung) поведения человека в мире».

Разоблачение претензий религии на монопольное представительство в области морали — ведущая тема в научно-атеистической пропаганде и в марксистско-ленинской теории атеизма. Ленинская критика христианской этики и сегодня оказывает нам неоценимую помощь в борьбе против ревизионистов, использующих религиозные предрассудки. В 1953 году Социалистический Интернационал на международной конференции в Бентвельде (Голландия) принял решение, в котором указывалось, что «Евангелие — один из духовных и этических источников социалистической мысли». В программе СДПГ указывается, что «демократический социализм своими корнями уходит в христианскую этику».

Марксизм доказал, что нравственность возникла задолго до появления религии, что подлинная общечеловеческая мораль складывается на коммунистической основе,

имея своим основным источником мораль рабочего класса.

До возникновения марксизма даже самые воинствующие философы-атеисты не верили в полное исчезновение религии. Автор правильно утверждает, что основным вопросом марксистско-ленинской теории научного атеизма является проблема отмирания религии. Этому вопросу подчинены, с ним связаны, его обслуживают все другие вопросы философии и истории, социологии и психологии религии.

В. И. Ленин всесторонне развил марксистскую теорию отмирания религии. Знаменитая ленинская статья «О значении воинствующего материализма», написанная в 1922 году, является вершиной этой теории.

За годы социалистического строительства большинство советских людей порвало с религией. Этот же процесс происходит в странах народной демократии. А. М. Горький еще в 1934 году упрекнул литературу за то, что она не коснулась целого ряда интереснейших явлений нашей жизни. «Одно из таких явлений — процесс отмирания религии... Не показано, как исчезла надежда на помощь попа и бога и как на пустом месте и исчезнувшей иллюзии явилось у человека сознание его независимости от «неведомой, непостижимой силы».

Для того, чтобы ускорить процесс отмирания религии, необходимо изучить не только причины отхода трудящихся от религии, но и причины ее цепкости, живучести, устойчивости. Теория научного атеизма и научно-атеистическая пропаганда должны опираться на конкретное изучение действительности. Именно это характерно для работ В. И. Ленина. Это качество ленинских трудов в области атеизма и критики религии на высоком научном уровне показано в рецензируемой монографии.

Книга М. Шахновича окажет немалую помощь в изучении и освоении обширной темы «Творческое развитие Лениным марксистского атеизма», имеющей непреходящее историческое и научное значение.

**И. МИНДЛИН,**

*кандидат исторических наук.*

## КОГДА КАЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ В КОЛИЧЕСТВО

И. Г. Мельников. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции.  
Редактор С. М. Фрейдман. Сельхозгиз. М. 1961. 168 стр.

Синтересом, и, признаюсь, немалым, взял я в руки недавно вышедшую в свет книжку И. Мельникова. Нетрудно понять почему: печатных работ по вопросам качества продукции, в особенности сельскохозяйственной, у нас не так уж много. Между тем это проблема первостепенной важности, и для колхозно-совхозного производства, пожалуй, в гораздо большей степени, нежели для какой бы то ни было иной отрасли нашего народного хозяйства. Почему?

Возьмем любое промышленное производство. С повышением или понижением качества его продукции соответственно меняются ее свойства, и только. Скажем, выданный на-гора уголь может быть мелким или крупным, менее или более калорийным. Сахар могут на заводе лучше или хуже отбелить и т. д. Но разница в качестве добытого угля, как и выработанного сахара, отнюдь не влияет на их количество.

В отличие от этого улучшение или же ухудшение качества сельскохозяйственной продукции зачастую сказывается, притом, случается, весьма существенно, и на ее количестве. Известно, например, что урожайность новых сортов пшеницы, выведенных лауреатами Ленинской премии Ф. Кириченко и П. Лукьяненко, на пятнадцать — двадцать процентов выше многих ранее районированных сортов. Известно также, что переработка скота высшей упитанности дает на десять — пятнадцать процентов мяса больше, чем переработка скота ниже средней упитанности, и оно втрое питательнее (калорийнее). Таких примеров сколько угодно. В сумме своей они трактуют тему рецензируемой книжки как нечто неизмеримо большее, нежели улучшение продукции колхозов и совхозов в обычном понимании слова. Борьба за высокое качество сельскохозяйственных продуктов — это вместе с тем и борьба за громадное расширение их производства, за изобилие, за коммунизм.

И это лишь одна сторона дела. Производство сельскохозяйственных продуктов высокого качества выгодно как их производителям — колхозам и совхозам, так и всему обществу в целом. Такой вывод можно сделать из многих высказанных в книж-

ке соображений. Закупочные и слаточные цены на продукцию сельского хозяйства, как известно, дифференцируются по ряду признаков, в том числе и по качеству. Так, за высококачественные сорта семян подсолнечника выплачивается денежная надбавка к основной цене в размере двенадцати процентов. На скот высшей упитанности цены примерно на сорок процентов больше, чем на скот средней упитанности. К тому же и труда и всего прочего меньше расходуется на единицу сельскохозяйственной продукции высококачественной. На содержание породных коров, свиней или овец затрачивается столько же кормов и труда по уходу, сколько и на содержание беспородных, а надой молока, привесы и настриг шерсти в одном случае выше, и качество продукции лучше, чем в другом.

Рецензируемая книжка начинается с небольшого введения о народнохозяйственном значении повышения качества сельскохозяйственной продукции и содержит три основных раздела. В первом идет речь о качестве продовольственного зерна, во втором — технических культур (сахарной свеклы, хлопка и льноволокна), в третьем — продуктов животноводства. Заключительная главка посвящена вопросам улучшения организации закупок продуктов сельского хозяйства.

Первый самый обширный раздел справедливо отводится вопросам качества в зерновом производстве, которое всегда было, есть и будет основой развития всего сельского хозяйства. Автор приводит данные о наших успехах в производстве пшеницы и ее большом удельном весе в общей продукции зерна, что с точки зрения качества уже само по себе означает крупнейшее достижение. В стране, где в будни булка была в свое время лишь на столе у избранных, а народ питался по преимуществу черным хлебом, ныне все едят главным образом белый. Порядком ушли мы в этом отношении даже от довоенного уровня. При общем росте зернового производства в полтора раза производство пшеницы увеличилось у нас с 1940 по 1960 год в два с лишним раза, а доля ее в валовом сборе зерна поднялась с 33 до 48 процентов. Только за последние пять лет в полтора раза выросло в стране

производство пшеничной муки высших сортов.

При всем том нами еще не достигнуты довоенные площади наиболее ценных сильных и твердых пшениц, имеющих весьма важное значение для улучшения качества хлеба и пользующихся большим спросом за границей. В 1960 году они, правда, занимали уже 10,4 миллиона гектаров, но в 1940 под ними было 12,5 миллиона гектаров. Тут колхозам и совхозам предстоит еще многое сделать и многого добиться. Представить себе это конкретнее можно хотя бы по тому, что к концу семилетки объем заготовок зерна этих пшениц должен в РСФСР увеличиться в восемь, в Казахстане — почти в семнадцать, а на Украине одних сильных пшениц — в тридцать четыре раза!

Большое место автор книжки правильно отводит вопросам улучшения семеноводства зерновых культур и полного использования наших сортовых богатств в растениеводстве. В них, как уже отмечалось, заложен немаловажный резерв дальнейшего повышения качества земледельческой продукции. За последнее время в СССР многое сделано в этом направлении. Выведены применительно к условиям различных зон, размножены и внедрены в производство начиная с конца 1953 года, более полутора тысяч новых сортов сельскохозяйственных культур. Завершен переход на сплошные сортовые посевы зерновых в колхозах и совхозах Украины. Завершен он или близок к этому в Молдавии, Армении, Грузии, Таджикистане, в Краснодарском и Ставропольском краях, Чувашии и Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Ростовской и многих других областях.

Тем не менее, справедливо замечает автор, нет никаких оснований успокаиваться. «Общее состояние семеноводства в стране, — пишет он, — все еще не отвечает возросшим требованиям сельскохозяйственного производства и сдерживает дальнейшее увеличение валовых сборов и улучшение качества зерна. За средними цифрами высокого удельного веса сортовых посевов нередко скрываются площади, занятые нерайонированными сортами с низкими технологическими качествами зерна. На больших площадях посевы производятся вообще нерасчетными семенами».

В разделе, посвященном техническим культурам, подробнее всего рассматривают-

ся вопросы повышения качества сахарной свеклы. Отводя немаловажную роль внедрению в производство новых отечественных сортов, автор замечает, что они отличаются более высокой урожайностью, повышенной сахаристостью, благодаря чему страна уже сейчас дополнительно получает каждый год два-три миллиона центнеров сахара. Однако, пишет он, разница в сахаристости и урожайности свеклы на сортоучастках и в колхозах основных свеклосеющих районов равна полутора — трем процентам. Чтобы возможно быстрее ввести эти огромные резервы в действие, автор считает необходимым усовершенствовать условия заготовки свеклы: ее надо принимать и оплачивать не только по весу, как сейчас, а и с учетом сахаристости — основного показателя ее качества. И в самом деле, справедливо ли, что за свеклу, содержащую и 17 и 20 процентов сахара, платят одну и ту же цену? Для получения центнера сахара надо ведь в первом случае переработать восемь — восемь с половиной, а во втором — только шесть с половиной центнеров сырья. В подкрепление своей точки зрения автор приводит пример Карабалтинского сахарного завода Киргизской ССР, где в порядке опыта свекла уже третий год принимается и по весу и по сахаристости и где новшество себя всецело оправдало.

Менее обстоятельно, чем это сделано в отношении продовольственного зерна и сахарной свеклы, но также довольно подробно рассматривает И. Мельников и вопросы улучшения качества других технических культур и продуктов животноводства.

Как же раскрыта тема в целом? Каково качество этой книжки о качестве?

Работа написана в стиле, присущем чуть ли не всей книжной продукции Сельхозиздата. Читателю преподается какое-нибудь общее положение либо утверждение, а затем, как бусы на нитку, бесконечно нанизываются примеры и цифры, иллюстрирующие его или подтверждающие. Вот типичный для книжки прием изложения, излишне навязчивый, но отнюдь не впечатляющий: «Многие хлопкосеющие колхозы, совхозы и целые районы в 1959 и 1960 годах продали государству с гектара более 35—40 ц. высококачественного хлопка-сырца советских сортов и более 25—30 ц. тонковолокнистых сортов. Сотни полеводческих бригад и бригад комплексной механизации получили с

гектара свыше 40 ц. хлопка советских сортов и больше 30 ц. тонковолокнистых сортов хлопчатника. Колхозы «Коммуна» Чиракчинского района, «Октябрь» Карагульского района, имени 8 марта Денауского района Узбекской ССР в 1959 году получили с каждого гектара по 43—46 ц. хлопксырца. Колхоз «Коммунизм» Пянджского района Таджикской ССР продал государству хлопкасырца тонковолокнистых сортов по 32 ц., а совхоз имени Куйбышева Курган-Тюбинского района — по 30 ц. с гектара». Право же, лучше и доходчивее было бы вместо всех этих примеров рассказать подробнее о том, как добился таких урожаев хотя бы один из колхозов!

Объективности ради надо, однако, сказать, что в книжке местами встречаются данные и отступающие от этого, уже набившего оскомину трафарета, довольно интересные в познавательном отношении и могущие навести читателя на полезные раздумья. Но автор, к сожалению, приводит такие данные как-то изолированно от остальных своих рассуждений, не дает себе труда глубоко их осмыслить, от общего протянуть нить к частному.

Книжка, как говорит сам автор, рассчитана на широкий круг работников сельскохозяйственного производства. И председателю колхоза или директору совхоза, заведующему фермой, скотнику или чабану, конечно, небезыntenесно знать, что, скажем, только за счет повышения упитанности и живого веса сдаваемого государству скота страна ежегодно могла бы получать еще два миллиона тонн говядины и баранины, а колхозы и совхозы — еще более миллиарда рублей дохода. Но разве ж не нагляднее, не доходчивее был бы для них такой же подсчет не вообще, а по одному-двум отдельно взятым хозяйствам?

То же самое надо сказать и о других подобных обобщениях. Зоотехник или доярка с интересом прочтут, разумеется, что повышение содержания жира и белка в молоке всего лишь на 0,1 процента позволило бы дополнительно получить их столько, сколько дает целый миллион коров. Но, думается, еще больший интерес представил бы для них рассказ о том, что выгадало бы от этого хозяйство, подобное тому, в котором они трудятся.

Совершенно очевидно, что, дополнив автор эти обобщения конкретными примерами, они могли бы сыграть немалую пропаган-

дистскую роль. Но он в лучшем случае сопровождает их одной-двумя общими фразами. А ведь каждое из обобщений вызывает уйму соображений, каждое способно послужить темой для большого и острого публицистического разговора.

Крайне слабо, поверхностно освещаются в книжке вопросы стимулирования колхозников, рабочих совхозов и специалистов сельского хозяйства к достижению высокого качества продукции, хотя их материальной заинтересованности, несомненно, принадлежит в этом огромная, если не сказать решающая, роль.

Вызывает удивление, что в книжке нет раздела, посвященного вопросам улучшения качества кормов. Корма — важнейший, обширнейший вид сельскохозяйственной продукции. Одним из основных показателей их качества служит, как известно, содержание в них кормовых единиц. И тут качество точно так же переходит в количество. На марттовском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев привел любопытнейший подсчет. Если даже не всю землю, находящуюся в стране под травами и чистыми парами, а только четыре пятых ее занять кукурузой, бобовыми и сахарной свеклой на кормовые цели, то сбор кормов с этой площади (при средней урожайности) увеличится в девять раз. А это позволит сверх того, что производится сейчас, ежегодно получать еще 12 миллионов тонн мяса и 60 миллионов тонн молока, иными словами — по производству мяса на душу населения выйти на уровень США, а по производству молока оставить их далеко позади. Вот что значит качество кормов!

И еще одно замечание, вернее вопрос, автору книжки. Почему в ней так либерально трактуется понятие народнохозяйственных потерь? Почему рассматриваются они как некий резерв в борьбе за повышение качества сельскохозяйственной продукции? Какой же это, к примеру, резерв, когда за два года семилетки страна из-за низкой упитанности скота, сданного государству, лишилась многих сотен тысяч тонн мяса? Это досаднейшие, невозместимые потери, результат бесхозяйственности, и не резервом их надо считать, а позором клеймить.

Раскрытие и популяризация народнохозяйственных резервов — одна из важнейших и благодарнейших задач всей нашей агитационно-пропагандистской работы во круг новой Программы партии. «Систематическое повышение качества про-

дукции, — говорится в ней, — является обязательным требованием развития экономики». Но агитировать за повышение качества продукции — значит не только призывать к его улучшению, а и сурово изобличать бесхозяйственность и бракоделство, смело поднимать свой голос против потерь, против всего, что ведет к его ухудшению. Этого рецензируемой книжке явно недостает.

При всех своих недостатках книжка И. Г. Мельникова может, однако, сослужить известную службу достаточно подготовленным агитаторам и пропагандистам, способным творчески использовать содержащиеся в ней факты, цифры, примеры и обобщения.

Дм. РУДЬ.

★

## НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

Р. Я. Левита. *Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина.* Предисловие Д. Заславского. Редактор А. Сладков. Калужское книжное издательство. 1961. 238 стр.

За последний год вышло несколько книг о М. Е. Салтыкове-Щедрине<sup>1</sup>. Посвящены они различным периодам жизни и творчества великого писателя, различным сторонам его взглядов. Среди новых книг о Щедрина выделяется важностью темы и серьезностью исследования работа Р. Левиты «Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина». Она посвящена наименее изученной стороне мировоззрения писателя-демократа.

И хотя сам автор видит цель своего труда в том, чтобы способствовать наиболее полному представлению о развитии русской экономической мысли, а также разоблачению фальсификации идейного облика писателя современными буржуазными исследователями (стр. 7, 11), думается, задачи эти скорее побочные. Главный же смысл такого исследования в том, что оно поможет глубже понять убеждения писателя, идейное содержание его творчества.

В книге Р. Левиты читатель не найдет ни новых документов о М. Е. Салтыкове-Щедрине, ни вновь найденных произведений писателя, оставшихся до сих пор неизвестными. Но он познакомится здесь с новым прочтением ряда знакомых ему сочинений великого сатирика, задумается над их новым, ранее скрытым смыслом, иным звучанием.

Это в значительной степени объясняется тем, что автор подошел к Щедрину не

только как к художнику, не только как к политическому мыслителю, но и как к глубокому и оригинальному экономисту. Р. Левита убедительно показывает Салтыкова-Щедрина в этом еще мало известном широкому читателю качестве.

Мысли писателя о крестьянской реформе 1861 года, о пореформенном развитии русской деревни, о судьбах капитализма в России характеризуют его как продолжателя традиций Н. Г. Чернышевского в политической экономии. Исследователь показывает, что в ряде вопросов (например, в оценке крестьянской поземельной общины, механизма капиталистической эксплуатации) Щедрин пошел и дальше Чернышевского.

Сосредоточив внимание на сильных сторонах экономических воззрений М. Е. Салтыкова-Щедрина, автор отмечает и их историческую ограниченность, непоследовательность, противоречивость, исправляя тем самым ошибки некоторых исследователей, чересчур прямолинейно и односторонне характеризовавших великого революционера-демократа.

Во весь рост поставил Р. Левита проблему отношения М. Е. Салтыкова-Щедрина к народничеству, подчеркивая, что без ее решения «невозможно определить подлинный облик писателя» (стр. 156). Это выгодно отличает его книгу от других, где вопрос этот, как правило, обходится молчанием. В них Щедрин фигурирует как «революционер-демократ», «воинствующий демократ», «социалист-утопист» — без какого-либо упоминания о народнической окраске его демократизма, о народническом характере его социалистических идей. Нельзя не увидеть здесь проявления определенной тра-

<sup>1</sup> Я. М. Лебедев. Атеизм М. Е. Салтыкова-Щедрина. М. 1961. И. К. Дорного. Общественно-политические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Горький, 1961. Н. В. Журавлев. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. Калинин. 1961.

дщины, сложившейся в нашем литературоведении в сороковых—пятидесятых годах,—традиции в оценке не только М. Е. Салтыкова-Щедрина, но и таких его современников, как Н. А. Некрасов, Г. И. Успенский.

Заслугой советских литературоведов является выяснение революционно-демократического характера мировоззрения Щедрина, их борьба с либерально-народническими и буржуазно-либеральными концепциями его творчества. Однако нельзя признать плодотворным отрицание в работах о Щедрине всякой связи его с народничеством, всякого влияния последнего на мировоззрение писателя.

В книге Р. Левиты делается первая серьезная попытка научного и объективного решения этой проблемы. Представляется неслучайным, что попытка эта принадлежит не литературоведу, а экономисту.

Признавая общность взглядов Щедрина с народничеством, исследователь вовсе не показывает его правоверным, ортодоксальным народником, он раскрывает и то, в чем писатель оказался впереди народников, в чем расходился с ними.

Такая трактовка мировоззрения М. Е. Салтыкова-Щедрина — новый шаг в познании его творчества. Однако, на наш взгляд, этот шаг мог быть сделан более решительно и твердо.

Анализ экономических взглядов Салтыкова-Щедрина в их отношении к народничеству проводится автором глубоко и аргументированно. Но Р. Левита при этом почему-то ведет речь о народничестве в о б щ е, без какой-либо исторической и политической конкретизации этого понятия. Он как будто бы забывает, что народничество — громадная полоса русской общественной мысли от Герцена до Даниельсона, что в нем всегда существовали революционные и либеральные течения, что во взглядах тех народников, которые двигали «Отечественные записки», и тех, которые шли в народ, а затем вступили в политическую борьбу с самодержавием, были принципиальные отличия.

Р. Левита правильно говорит о сильных материалистических тенденциях в социологических взглядах М. Е. Салтыкова-Щедрина, делавших его последователем Н. Г. Чернышевского и отличавших от народников, в большинстве своем бывших субъективными идеалистами в области социологии.

Но вот утверждение об «антинароднической направленности» взглядов Щедрина на капитализм вызывает серьезные возражения (стр. 157).

Автор считает, что понимание Щедриным капитализма как «явления прогрессивного» было противоположно народнической его оценке как упадка, регресса.

Великий реалист Щедрин правильно понял неизбежность капитализма в России. Р. Левита прав, когда утверждает, что здесь писатель оказался значительно впереди народнических утопических представлений о случайности, наносности русского капитализма, о возможности приостановить его развитие.

Но что же означало в семидесятые — восьмидесятые годы XIX века в России понять прогрессивность капитализма? Это означало понять его историческую, революционную роль, понять значение созданных им производительных сил, роль пролетариата как его могильщика. Но, как справедливо отметил сам Р. Левита, «исторической роли капитализма» великий писатель не понял, да и не мог понять (стр. 165). Признание капитализма меньшей мерзостью, чем крепостничество, еще не есть признание, а тем более понимание его прогрессивной роли.

По мысли Р. Левиты, в своей оценке капитализма как шага вперед в развитии России Щедрин в отличие от народников исходит из сравнения его с крепостничеством. Но неужели автор полагает, будто среди революционеров-народников семидесятых — восьмидесятых годов были люди, считавшие, что крепостничество лучше капитализма! Другое дело, что в оценке капитализма они основывались прежде всего и главным образом на убеждении в особом укладе крестьянской жизни, в самобытном пути ее развития. Но свои социалистические идеалы были и у Салтыкова-Щедрина, и вряд ли они могли не оказать влияния на его подход к капитализму.

Однако надо иметь в виду и то, что среди революционного народничества были отдельные представители, также видевшие неизбежность развития капитализма в России. Но само по себе это еще не дает повода сомневаться в народническом характере их мировоззрения.

Специфической, определяющей чертой народнической идеологии была вера в возможность некапиталистического пути Рос-

сии к социализму, то есть какого-либо иного пути, чем путь классовой борьбы на почве и в пределах капиталистического общества. Думается, этой веры не совсем был чужд и социалист-утопист Щедрин. Ведь автор признает, что он почти до конца восьмидесятых годов верил в крестьянскую социалистическую революцию. Вспомним, как писатель, обращаясь к кулаку с угрозой, предсказывал: «Тебе, Разуваев, предстоит столповать в такое время, когда даже мелкоте приходит на ум: а что, ежели этот самый кус, который он к устам подносит, взять, да вырвать у него? И вырвут — не сомневайся, а тебя произведут в пропащие люди».

Надежда на то, что именно «мелкота», «меньшая братия», то есть крестьянство, справится с Разуваевыми и Колупаевыми, на наш взгляд, сближает Щедрина с крестьянскими революционерами-народниками.

Далее Р. Левита считает, что Салтыкова-Щедрина отличало отсутствие боязни развития капитализма, столь характерной для народничества. Действительно, всей силой своего разума Щедрин верил в поступательный характер развития человечества. Но в его произведениях мы зачастую сталкиваемся не только с нотками «раздумья над последствиями капиталистического развития для народа» (стр. 159), а и с поистине страшными картинами капиталистического владычества в России, несущего «оскудение», «оголение» жизни. Сам художественный образ капитализма у Щедрина прежде всего страшен, он действует подавляюще: «Идет чумазый, идет... Идет с фальшивую мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...»

Подобных страниц у Щедрина немало, и вряд ли можно увидеть здесь лишь «намеренное сгущение красок» (стр. 159). Правильнее признать, что жизнеутверждающее в своей основе творчество писателя, верившего в народ, в крестьянскую революцию, отразило противоречия пореформенного развития России.

Да и мог ли Щедрин, по словам Р. Левиты встречавший «капитализм с точки зрения класса мелких производителей» (стр. 194) — класса, у которого не было будущего, — с уверенностью смотреть в это будущее? Мог ли он не передать этот страх, это отчаяние

крестьянина, порождаемые капиталистическим развитием? Думается, в этом случае он не был бы ни крестьянским демократом, ни великим художником.

По всему по этому нельзя согласиться с категоричным заявлением Р. Левиты, что «Щедрин не солидаризировался с народническим представлением о капитализме как регрессе во всех разновидностях этого тезиса» (стр. 165).

Не во всем, на наш взгляд, прав исследователь в своем сравнительном анализе взглядов Щедрина и народников на крестьянскую поземельную общину. «Народники — современники Щедрина, — пишет Р. Левита, — уповали на общину как на готовую форму социализма, когда уже выявился процесс ее распада» (стр. 218). В противоположность им Щедрин, по словам автора, видел, что современная община не защищает крестьянина ни от кулака, ни от обезземеливания. Он показывал, что современная община стала удобным средством для сбора податей.

Но достаточно обратиться к нелегальной народнической журналистике, чтобы понять, как далеки были от подобного взгляда на современную им общину революционеры-народники. «Приниженный, забитый, обезличенный мир, — писала в 1880 году газета «Народная воля», — часто не способен дать даже нравственную поддержку» в борьбе крестьянина с кулаком, и кулак «совершенно искренне и глубоко презирает мир за его бессилие». Газета писала, что государство превратило общину в орган для поставки рекрутов, собрания податей, взыскания недоимок. Эти строки народовольческой публицистики созвучны тому, что писал об общине Щедрин. Революционеры вовсе не считали общину «готовой формой социализма», но, признавая, что общинные принципы искажены, извращены, они верили в их возрождение после крестьянской революции. Так же смотрел на общину и Щедрин, считая в будущем общинное землевладение «необходимым» (стр. 170—171).

Нельзя согласиться с тем, что Щедрин подходил к общине с «совершенно иных методологических позиций», чем народники (стр. 183), что в «оценке общины Щедрин коренным образом расходился с общей линией возглавляемого им журнала «Отечественные записки» (стр. 188).

Нам кажется, что и в оценке классового антагонизма в деревне Щедрина был ближе к народничеству, чем это представляет себе автор. Народники ограничивали этот антагонизм отношениями между кулаком-мироедом — как явлением чужеродным общине — и крестьянским миром, противостоящим кулаку как единое целое.

Такому пониманию близок и Щедрина, также не видевший диалектической связи между мелким крестьянским и кулацким хозяйствами.

По мысли Щедрина, истинный мироед хотя и «зачался одновременно с упразднением крепостного права, но настоящим образом он оперился, оформился и расцвел благодаря сивушной реформе». Кто такие «мироедских дел мастера» в изображении писателя? Кабатчики, менялы, процентщики, подрядчики и т. д., если и выходцы из крестьян, то уже порвавшие с сельским трудом.

И вот этим-то мироедам — внутренним или наезжим — противостоит община, воспринимаемая Щедриным как единое целое и даже в какой-то мере как их антипод. Крестьянин, как его показывает Щедрина, по своей природе чужд хищничества, стяжательства. Писатель убежден, что «чем беднее эта меньшая братия, тем слабее в ней развиты всякого рода промышленные и цивилизующие поползновения, тем менее оказывается и чувства *savoir vivre*».

Вспомним «хозяйственного мужичка» из «Мелочей жизни», которого не только «не тянет к мироедству», но он и «способностей к нему не имеет». Своими трудами и лишениями достигает он полного довольства и даже избытка в хозяйстве. «В таком положении до мироедства — один только шаг», — говорит писатель и, казалось бы, подходит к очень важному социальному выводу — но не делает его. В его понимании «хозяйственный мужичок» — средний крестьянин — «от природы чужд кровопивства». Он продолжает вести прежний, трудовой образ жизни: «Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой».

Вряд ли правомерно утверждение Р. Левиты, что М. Е. Салтыков-Щедрина видел пролетаризацию крестьянства, отделял «пролетариев от крестьян по положению в системе общественного производства», хотя

и не отделял их «по задачам в общественной борьбе» (стр. 229).

Для Щедрина пролетарии — «массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вовсе вопроса о материальных удобствах». Раскрестьянивание осознавалось писателем главным образом как разорение, обнищание крестьянства. Пролетариат для него — наибеднейшая часть крестьянства, составляющая с ним одно целое, не имеющая ни своего «положения в системе общественного производства», ни своих особых нужд и задач.

Р. Левита верно усматривает общность М. Е. Салтыкова-Щедрина с народничеством во взгляде на крестьянство как на основную силу будущей социальной революции. Однако эту веру в мужика как человека будущего автор объясняет несколько примитивно — тем, что «в России того времени большинство трудящихся составляло крестьянство» (стр. 230). Думается, ответ на это надо искать прежде всего в представлениях Щедрина о русском крестьянине.

Возьмем, например, образ крестьянина Моисеича из рассказа «Сон в летнюю ночь» — образ безусловно собирательный. Моисеич пятьдесят лет сряду неутомимо обрабатывал землю, выплачивал подати, был бит, сидел три раза в тюрьме, пять раз замерзал, тонул, однажды был совсем задавлен — «и за всем тем — отдышался».

Вот эта-то жизнеспособность, стойкость, терпение, отношение к труду как к естественной потребности возвышали крестьянина в глазах Щедрина над всеми другими классами общества — посколькy рабочего класса в России он не видел.

В то же время великий художник избегал идеализации крестьянства. Даже революционные народники, жадно стремясь отыскать «светлые стороны» крестьянской жизни, зачастую принимали желаемое за действительность. Что же касается легальной народнической журналистики, то здесь сплошь и рядом наблюдается искажение действительности в угоду народническим утопиям. Щедрина не закрывал глаза на дикость и невежество крестьян, на самые темные проявления их жизни.

В признании общих классовых основ мировоззрения М. Е. Салтыкова-Щедрина

и революционных народников автор не остался последовательным. Он пытается обосновать особую точку зрения Щедрина. По его словам, «правоверное народничество выдвигало на первый план интересы и требования крестьян как собственников. Щедрин же защищал и отражал в своем творчестве прежде всего интересы крестьянина как труженика» (стр. 194). Отсюда следует вывод, что в процессе эволюции «правоверное народничество скатилось на позиции кулацкой апологетики. Щедрин же пошел по иному пути — он открыто выступил как идеолог крестьянской бедноты» (стр. 195).

Но классическое народничество шестидесятых — семидесятых годов, которое В. И. Ленин называл «старым», выражало точку зрения крестьянина — мелкого производителя, со всеми его противоречиями. Щед-

рин, близкий именно к этому народничеству, также являлся выразителем настроений не только «гольтепы», но и вообще крестьянства. Вместе с расколом деревни раскололся и старый русский социализм. Интересы бедноты — сельского пролетариата — стал выражать «рабочий социализм», от которого Щедрин и в конце восьмидесятых годов еще был далек.

Не ставя своей целью дать исчерпывающий критический разбор ценной работы Р. Левиты, мы попытались поспорить с отдельными положениями автора, имеющими, на наш взгляд, общий интерес.

В заключение еще раз отметим заслугу Р. Левиты в выяснении экономических взглядов Щедрина, творческий характер исследования.

**В. ТВАРДОВСКАЯ.**

★

## КНИГА БОРЦА ЗА СВОБОДУ

*Patrice Lumumba. Le Congo terre d'avenir. Est-il menacé? Office de publicité. Bruxelles. 1961*  
(Патрис Лумумба. Конго—земля будущего. Угрожают ли ей? Оффис де публиците. Брюссель. 1961)

Книга в яркой обложке, с которой на вас смотрит знакомое, ставшее очень дорогим лицо Патриса Лумумбы, — «Конго — земля будущего. Угрожают ли ей?» была написана Лумумбой еще в 1956 году и тогда же послана в одно из крупных бельгийских издательств. Это было за два года до того, как мощный подъем национально-освободительного движения привел к бурному развитию событий в Конго. Национальные политические партии еще не были разрешены бельгийскими властями; они были вынуждены пойти на эту уступку под давлением масс конголезского народа.

Патрис Лумумба уже тогда понимал, какая грозная опасность полного порабощения, беспощадного подавления всякой свободной мысли нависла над его родиной. Он работал над созданием первой независимой партии страны — Национальное движение Конго. Но он еще не знал всей меры жестокости бельгийских правителей, у него не было достаточного опыта политической борьбы, он еще надеялся, что бельгийцы посчитаются с тягой африканских народов к свободе и равенству, терпеливо разъяснял в своей книге колонизаторам необходимость

проведения реформ, необходимость уважать права народа.

Труд Патриса Лумумбы — это труд образованного и вдумчивого человека, не только знатока истории африканских народов, но и права, философии и экономических дисциплин — пролежал в издательском портфеле несколько лет. Лишь когда имя Лумумбы прогремело во всем мире, а его мученическая смерть вызвала сочувствие всех честных людей, издательство «Оффис де публиците» выпустило ее в свет. На суперобложке броским шрифтом напечатано сообщение, что эта книга издается впервые и все права сохранены за издательством.

Конечно, издавая книгу Патриса Лумумбы, издательство исходило не только из коммерческих соображений и уверенности, что она сразу же разоидется. Были другие, более глубокие причины. Известие о чудовищной расправе над Патрисом Лумумбой и его боевыми соратниками Жозефом Окито и Морисом Мполо вызвало гнев и возмущение мировой общественности. Заправила монополии «Юнион миньер дю О Катанга» поспешно опубликовали специальное коммюнике, в котором заверяли, что «ни руководители компании, ни ее агенты не играли

никакой роли в смерти Патриса Лумумбы». Бельгийские колонизаторы старались отмежеваться, уйти от ответственности за страшное преступление. И теперь буржуазное бельгийское издательство хочет создать впечатление, что в Бельгии объективно даже сочувственно относились к молодому конголезскому вождю. В предисловии, предосланном издательством к книге Лумумбы, есть такие строки: «Работа эта представляет исключительный интерес, и мы сочли своим долгом сделать достоянием истории этот неизданный документ. Мы публикуем его без всяких комментариев и цензуры».

Однако не случайно, поместив в книге переписку Патриса Лумумбы с издательством, составители не опубликовали более поздних документов, принадлежавших перу Лумумбы. А они были бы ценным дополнением, логическим развитием мыслей конголезского героя. Это письма Патриса Лумумбы из стэнливилльской тюрьмы, куда его бросили колонизаторы в конце 1959 — начале 1960 года, накануне официального провозглашения независимости Конго, опубликованные в прошлом году французским журналом «Эуроп». За этим, как известно, последовали кровавые события — прямой результат происков колонизаторов, стремившихся любой ценой удерживать в своих руках конголезские богатства. В письмах к друзьям — бельгийскому адвокату Жюлю Раскину и их общему другу Марселю — Лумумба предстает перед нами как пламенный патриот своей отчизны, негибимый борец против колонизаторов. «Мое тело в оковах, но дух мой свободен,— писал он в одном из писем в 1960 году.— С прежней энергией борюсь я против колониализма и его прислужников. Усилим нашу борьбу ради конечной победы: наше царство настанет, царство угнетенных. Сокрушим западноевропейский и международный империализм, хищнически грабящий наши богатства, расточающий наши силы. Конголезский народ поднялся во весь рост, ничего не остановит его движение вперед — ни ружья, ни автоматы!» И словно предвидя свою судьбу, он писал в другом письме: «Во все времена лучшие люди умели сражаться и умирать за свободу».

Читаешь книгу Лумумбы и вновь убеждаешься в том, как пророчески верны были ленинские слова о пробуждении, о росте сознания африканских народов. Лумумбе

было тридцать пять лет, когда рука наемного убийцы оборвала его жизнь. Он родился в бедной крестьянской семье и учился в миссионерской школе, откуда был исключен за вольнодумство. Благодаря своим способностям молодой конголезец, поступив на гражданскую службу, стал помощником начальника почтового отделения в Стэнливиле. По вечерам он изучал право и философию, историю Африки, работал над планами преобразований, которые могли бы улучшить положение конголезского народа.

Прежде чем написать свою книгу, Патрис Лумумба провел большую исследовательскую работу, ознакомился с жизнью различных племен, беседовал с вождями и простыми людьми.

«Я позволю себе сообщить вам,— писал он в издательство,— что занимаюсь на протяжении ряда лет проблемами эволюции моих братьев по крови... Мне пришлось неоднократно обсуждать и с колониальными властями и с конголезцами проблемы, затронутые в моей работе. Я их тщательно изучал, и мои выводы основаны на длительном опыте. Эта книга написана после терпеливого опроса представителей различных слоев конголезского населения. Честно говоря, будущее Конго омрачено грозвыми облаками. Моя книга призвана помочь рассеять тревоги и колебания, смятение и сомнения; она может исправить положение, ибо реформы, которые я предлагаю, могли бы разрешить многие трудности, встающие сейчас перед белыми и черными в Конго».

Вся книга проникнута заботой о народе, уверенностью в том, что конголезцы должны пользоваться равными правами с белыми. Патрис Лумумба пишет сухо, языком научного исследования, но сведения, которые он приводит о жизни и труде конголезцев, потрясают.

Первая глава книги посвящена условиям труда конголезцев. Мы узнаем, что местное население получало настолько низкую оплату за тяжелейшую работу на рудниках, на полях, принадлежавших белым поселенцам, что ее не хватало даже на полуголодное существование. Лумумба предлагал провести реформу оплаты труда, с тем чтобы она не только была повышена до уровня, отвечающего естественным запросам человека, но и была равной для всех, независимо от цвета кожи. «За равный труд — равную оплату», — пишет Лумумба. напоминая, что на словах бельгийцы не раз

утверждали, что они противники расового неравенства.

Патрис Лумумба хочет, чтобы его братья имели право сами решать свою судьбу. Он говорит об огромных сдвигах, которые происходят в сознании, культурном уровне конголезцев. Между тем вплоть до самого провозглашения независимости Конго африканцам не разрешалось занимать административные должности без свидетельства об окончании специальных учебных заведений, которые были недоступны для местного населения. «Разве для того, чтобы быть хорошим служащим, необходимо знать алгебру, тригонометрию, западную философию, римское право? — спрашивает он. — Это не значит, конечно, что эти знания не нужны африканцам. Я далек от такой мысли. Но мне кажется, что некоторые административные функции не требуют на практике глубоких знаний этих предметов... Хорошие профессиональные знания, зрелость ума, хорошее знание французского достаточны...»

Для того чтобы ограничить права, сохранить рабские условия для большинства населения, колонизаторы издевательски ввели в Конго специальные «почетные удостоверения гражданина». Только обладателям таких удостоверений, которые выдавались специальной комиссией из девяти — одиннадцати членов, предоставлялись самые куцые и ограниченные права, в частности разрешалось свободно передвигаться по стране. Чтобы стать таким «почетным гражданином», надо было доказать, что ты достиг определенного уровня цивилизации — получил образование, что быт твой соответствует быту европейцев, твое поведение и воспитание детей безупречны, что ты религиозен и послушен колониальным властям. Надо ли говорить, что в этом деле царил полный, неограниченный произвол!

Патрис Лумумба приводит потрясающие сведения: за восемь лет с момента введения таких удостоверений до конца 1955 года число конголезцев, получивших их, составило всего шестьсот семьдесят четыре на двенадцатимиллионное население Конго. Иными словами, подсчитывает Лумумба, при таких темпах выдачи (сто десять удостоверений в год) потребовалось бы десять веков, или тысяча лет, чтобы каждый конголезец мог получить эти далеко не полные права. «Когда же, — пишет с возмущением Лумумба, — в нашей стране не будет больше простых туземцев, обладателей удосто-

верений «почетного гражданина», европейцев, а будет просто граждане, пользующиеся равными правами и преимуществами без всякой дискриминации, что и бельгийцы?»

События, развернувшиеся в Конго за последние годы, дали недвусмысленный ответ на этот вопрос.

В книге Патриса Лумумбы рассказано об очень страшных вещах. Это особый кодекс о наказаниях для местного населения, особые законы для африканцев, специальный режим в тюрьмах. Малейшая провинность конголезца давала право колонизаторам пороть его плеткой — телесные наказания были узаконены. Местных жителей в тюрьмах морили голодом, истязали, забивали насмерть. Белый мог безнаказанно убить африканца — для него не существовало никаких законов, никаких наказаний. И Лумумба терпеливо разъяснял колонизаторам, что равенство перед законом необходимо для всех — конголезцев и бельгийцев, что телесные наказания должны быть запрещены, ибо они не только бесчеловечны и жестоки, но и унижительны и для тех, кто их применяет...

И с каждой страницы книги перед нами встает образ кристально чистого, мужественного человека, и еще более страшным и чудовищным кажется, что на него поднялась рука тех, кто называет себя «цивилизованными людьми»!

Патрис Лумумба рассказывает о том, как конголезцы были лишены права обрабатывать свою землю и гули спину на бельгийцев. Им доставались лишь непригодные, отдаленные земли. А когда, отчаявшись получить хоть скудный урожай, они пытались отправиться в город и найти другую работу, вступал в силу закон, по которому африканцы, за исключением «почетных граждан», не имели права передвигаться по своей стране и приближаться к индустриальным центрам. Туда пускали лишь квалифицированных рабочих. Конголезцы должны были работать за гроши на самых тяжелых работах, на катангских рудниках.

Последние главы книги посвящены проблемам народного образования, воспитания детей, правам женщин. В этих главах видны не только глубокое знание трактуемых проблем и ясный ум автора книги, но и безграничная любовь к своему народу, забота о его будущем. Патрис Лумумба настаивает на том, чтобы конголезцам было дано право

учиться, стать грамотными, говорит об огромной тяге народа к знаниям. Он требует, чтобы бельгийцы позаботились о создании системы здравоохранения, которая помогла бы сохранить жизнь и здоровье миллионов детей, погибающих из-за антисанитарных условий, вызванных низким уровнем жизни населения, от инфекционных болезней.

«Конго пробуждается,— писал Лумумба.— Его сыновья сбросили вековое оцепенение и ищут путь к солнцу... Надо быть африканцем, жить среди африканцев, чтобы отдавать себе в этом отчет. Не проходит дня, чтобы африканцы, собираясь, беседуя, делаясь мыслями, не говорили о будущем своей страны...»

И бесконечно горько читать последние строки книги: «В этом первом труде мы ограничились выражением чаяний, высказанных за последние годы конголезским общественным мнением. В своих строках мы передаем мысли подавляющего большинства конголезцев. В следующем труде мы рассмотрим вопрос о будущем африканской расы».

Замыслам Патриса Лумумбы не было суждено осуществиться. Но его соратники и друзья полны решимости завершить дело, во имя которого жил, боролся и погиб замечательный герой конголезского народа.

А. БЕЛЬСКАЯ.

★

## ПОВЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО О ТЕРМИТАХ

И. Х а л и ф м а н. Отступившие в подземелье. Редактор М. А. Зубнов.  
Детгиз. М. 1961. 224 стр.

Не так давно на страницах некоторых зарубежных журналов появились статьи под сенсационными заголовками вроде: «Великий революционер-ученый в тиши монастыря» и т. п. Если по этим заголовкам можно было предположить, что речь идет о настоятеле монастыря в Брюнне Грегоре Менделе, то названия других статей, сообщавших о тех же фактах — к примеру «Бекфестовские ульи против гороховых брюнных грядок», — убеждали в противном...

Речь же шла о том, что монах Бекфестовского аббатства на юге Англии «брат Адам» в результате более полувековой экспериментальной селекционной работы на монастырской пасеке, работы, тесно связанной с практическим пчеловодством, пришел к выводам, которые не укладывались в рамки «классической генетики» и перекликались со многими положениями мичуринской биологии. Путем скрещивания ему удалось вывести несколько продуктивных пород пчел с новыми устойчивыми признаками, которых не было у родительских пар, признаками, которые не исчезали в последующих поколениях и не «хотели» расшепаться, как им положено по Менделю, если бы открытые им закономерности имели всеобщее значение.

Среди этих выведенных пород одна была с желтой окраской... Однако, когда владелец самого северного питомника в Шотландии, президент союза пчеловодов, К. Уайг-

мен стал размножать новую породу, он обнаружил, что потомство бекфестовских желтых маток в семьях темных северных пчел неудержимо теряет желтую окраску...

Среди английских ученых-пчеловодов и практиков разгорелась дискуссия о том, почему желтые бекфестовские пчелы, воспитываясь в «темных семьях», гоже становятся темными. Почему и как изменяется наследственность в уже отложенных желтой маткой яйцках?

В это же время в Англии вышел перевод книги советского ученого-писателя И. Халифмана «Пчелы», где описывались опыты, проведенные автором ее под Москвой. Пчелы одной породы, выкормленные пчелами другой породы, неизменно получали ряд свойств, присущих «кормилицам». Причиной изменения наследственности было изменение типа обмена веществ. Видимо, то же самое происходило и с южными пчелами «брата Адама», расплод которых выкармливался на севере Шотландии. Английские пчеловоды, ознакомившись с опытами И. Халифмана в Горках Ленинских, вспомнили и свои сходные наблюдения.

Коллин Уайтмен, Кокс и другие повторили опыты и пришли к выводам, подтверждающим выводы советских ученых. Загадка бекфестовских пчел была решена.

В книге И. Халифмана, написанной так, что она захватывает читателя больше, чем многие «остросюжетные» романы, могли бы

найти ответ на некоторые неясные вопросы не только пчеловоды. И когда Коллин Уайтмен опубликовал в английской печати статьи о своих опытах и наблюдениях над пчелами, академик Т. Д. Лысенко написал ему, что эти наблюдения «представляют большой интерес не только для практического пчеловодства, но и для общебиологической теории. Я думаю,— писал он,— что если факты формообразующей роли воспитания известны были бы Чарльзу Дарвину, то он не мог бы считать, что пример медоносных пчел и других общественных насекомых представляет величайшее затруднение для его учения о естественном отборе...»

«Камнем преткновения» в теории Дарвина было то обстоятельство, что у общественных насекомых — таких, как пчелы, муравьи, термиты, — рабочие особи сильно отличаются от родителей и в то же время совершенно бесплодны, даже бесполо. Значит, они никак не могут передавать по наследству своему потомству приобретенных ими изменений строения или инстинкта. Как же подобные факты согласовать с теорией естественного отбора?

«Эти животные, не способные ничего передать потомству, однако изменялись в течение истории земли», — писал Вейсман. И это было важнейшим его доводом против возможности наследования свойств, приобретенных в процессе жизни.

Страстный пропагандист учения Дарвина Д. Писарев также признавал, что, «по-видимому, тут представляется для теории естественного выбора непреодолимое затруднение; по-видимому, тут не может быть постепенного улучшения или очищения породы, потому что отдельные поколения этой породы разобщены между собой, то есть не происходят друг от друга».

И научная заслуга книги И. Халифмана, в которой многие критики и читатели склонны были видеть только блестящее литературное произведение, заключается в том, что ему удалось убрать с дороги этот «камень преткновения», устранить то «величайшее» (как писал Дарвин) «непреодолимое» (как говорил Писарев) «затруднение».

Было экспериментально доказано, что рабочие пчелы, изменяя режим питания, состав пищи, могут регулировать те или иные наследственные свойства и формы своих

питомцев. Тем самым «разобщенные» между собой, не происходящие друг от друга «отдельные» поколения породы переставали быть разобщенными.

После «Пчел», с триумфом «облетевших» весь мир и переведенных на двадцать языков, вышла книга И. Халифмана «Пароль скрещенных антенн» — о муравьях. Ныне советский читатель получил его же книгу «Отступившие в подземелье» — исследование третьего вида общественных насекомых — термитов. Это первое, единственное оригинальное исследование на русском языке о термитах, знакомство с которыми у юного читателя началось с жюльверновского романа «Пятнадцатилетний капитан» и повести Майн-Рида «В джунглях Южной Африки, или Приключения Бура и его семьи».

Книга И. Халифмана, которая читается с увлечением, словно приключенческий роман, начинается описанием его поездки в пустыню под Ашхабадом, где под бесчисленными куполами глинистых холмиков, возвышающихся над землей самое большее сантиметров на сорок, кипит своеобразная, ни на что не похожая жизнь.

Под каждым таким холмиком поселение — семья термитов.

Вводя читателя в творческую лабораторию исследователя-энтомолога, делая его как бы соучастником поиска, а затем и единомышленником, И. Халифман доказывает, что у термитов, так же как у пчел и у муравьев, все разнообразие форм насекомых в одной семье — даже внешне не похожих друг от друга крупноголовых воинов, рабочих термитов, молодых крылатых самцов, неповоротливой матки-царицы и т. д. — происходит от состава пищи.

Так же как и семья муравьев и семья пчел, семья термитов предстает перед нами как целостный, единый, слаженный организм. Настолько слаженный, что возникает представление о семье общественных насекомых, как о моделированном явлении органической жизни, проливающим свет на многие проблемы биологии.

Так в жизни термитов автор находит еще одно новое подтверждение закономерностей, открытых им при исследовании жизни пчел и муравьев. Но он не подчиняет свою работу заранее принятой схеме. Поэтому и читатель каждый раз в новой книге вместе с ним открывает своеобразный, доселе не-

ведомый ему мир, удивительный, граничащий с фантастикой и вместе с тем реально существующий.

Термиты — эти маленькие слепые существа, живое чудо — встают перед нами как посланцы давних, доисторических времен, когда жизнь на земле была совсем иной.

Каждое поселение термитов, насчитывающее сотни тысяч особей, само создает для себя среду — обстановку, в которой оно может существовать.

Какие же условия создают себе термиты? Те, которые господствовали в доисторическую эру, когда влажность воздуха была значительно больше, чем сейчас, а насыщенность его углекислотой оказалась бы смертельной для ныне живущих видов?

Но условия эти изменились, и термиты должны были или приспособиться к новой обстановке, или погибнуть. Ни того, ни другого не произошло. Они ушли с поверхности земли туда, где своими усилиями могли восстанавливать необходимые им условия жизни, — «отступили в подземелье». Здесь они сумели поддерживать и нужные им постоянную относительно высокую температуру и влажность воздуха, его насыщенность углекислотой.

На поверхности земли они были зрячим, в подземелье, приобретя многие новые свойства, утратили зрение. О нем напоминают лишь темные гочки на тех местах, где полагается быть глазам. Крылья у молодых самцов и самок были приспособлены для полета в атмосфере более плотной, и поэтому на них сейчас, как говорится, «далеко не улетишь». Не развиваясь в подземелье, крылья остались такими, какими были сотни миллионов лет назад.

И разве не главой из фантастического романа покажется рассказ о том, что термиты научились кондиционировать воздух? Чтобы в подземелье создать нужную влажность (не затхлую сырость), каждая семья обзаводится (а может быть, вывела и с давних пор сохранила) грибом, который можно найти только у термитов. Регулируя жизнедеятельность этих влагособирающих грибов, термиты кондиционируют воздух...

Мне довелось видеть «колонию» термитов в Москве, привезенную сюда исследователем для каждодневных наблюдений, — плоское стеклянное гнездо. И я представляю себе, какой одержимостью, настойчивостью, изобретательностью, наблюдательностью и талантом нужно было обладать,

чтобы в живой мешанине «гнезда» изучить такой, казалось бы всем понятный процесс питания, который у термитов протекает совсем иначе, чем у других «тварей».

Конкуренты оттеснили термитов от всех питательных, хорошо усваиваемых кормов и оставили им практически никем не потребляемую клетчатку, не просто постную, а несъедобную древесину — целлюлозу. Только минералы еще менее съедобны, чем она...

Это было поражением термитов, но именно оно и вооружило их неоценимым преимуществом. Проиграв в качестве, они выиграли в количестве, приспособившись к корму, который природа производит в неисчерпаемых размерах.

Но сами термиты все же не могут непосредственно питаться клетчаткой. Без поселившихся в их «чреве» бактерий, которые перерабатывают целлюлозу в годную для них пищу, термиты погибли бы с голоду. Этих бактерий нигде, кроме как в термитах, не найдешь.

В этом отношении система питания термитов сходна с открытой мичуринцами системой почвенного питания растений. Но это только одно из звеньев в сложной цепочке питания термитов, о которой во всей ее неожиданности, просто, доступно повествуется в книге И. Халифмана.

То, что пищей термитов стала древесина, делает их врагами человека, так как они изнутри, никем не видимые, съедают деревья, оставляя снаружи их будто бы нетронутыми, уничтожают целые леса, телеграфные столбы, деревянные балки перекрытий, полы, опоры, и в результате при малейшем сотрясении или толчке падают дома, разрушаются города.

Глава о том, как в ашхабадской катастрофе с такими величественными силами природы, как землетрясение, «взаимодействовали» крошечные насекомые, станет, по моему, хрестоматийной.

И в новой книге И. Халифмана, как и в предыдущих, мастерство изложения, его занимательность сочетаются с насыщенностью научным фактическим материалом, смелые, но обоснованные гипотезы — с конкретными советами. В данном случае это рекомендации, как сделать, чтобы беды, принесящие в Средней Азии землетрясения, не увеличивались из-за «подпольной работы» термитов.

В книге «Отступившие в подземелье» сказано очень много занятных историй. И о том, как «волшебным» способом на острове св. Елены, известном главным образом как место ссылки Наполеона, был уничтожен город Джемстаун, о том, как знаменитый борец против атомной бомбы доктор Альберт Швейцер под небом Африки играет на рояле, закованном в цинк, о том, как, повредив изоляцию проводки, термиты вывели из строя кибернетическую машину, и т. д. и т. д.

Но все эти разнообразнейшие истории приведены автором не для того, чтобы «расцветить скучную материю». Нет, они

подчинены единому замыслу, возникшему после изучения фактов, буквально необозримых. Достаточно напомнить, что сейчас существует две с половиной тысячи разновидностей термитов.

И тот, кто прочитает эту книгу, не только узнает уйму ранее неизвестных ему, очень любопытных сведений, но испытает огромное удовольствие от самого процесса познания, как будто он, стоя рядом с ученым, вместе с ним распутывал клубок, находил ответы, постигал истину.

И в этом уже заслуга Халифмана-писателя.

**Геннадий ФИШ.**



# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЬЕСЫ

Широко известна неутомимая забота Алексея Максимовича Горького о начинающих писателях — поэтах, прозаиках, драматургах. Многие и многие таланты советской литературы вошли в большую творческую жизнь с помощью Горького. Заметить и разбудить искру художнического дара было для Горького естественным стремлением гуманиста и профессиональным долгом мастера культуры.

Человеческая и писательская отзывчивость А. М. Горького проявлялась также и в том, что он открыто и честно (подчас резко и сурово) говорил горькую правду авторам, напрасно взявшимся за перо, которым нечего сказать, которые глухи к жизни.

Публикуемые ниже документы из Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства — еще одно свидетельство внимания великого писателя к начинающим авторам и пример его взыскательности, требовательности и большой заботы о судьбах советского искусства.

Но прежде всего эти документы нам дороги тем, что они отображают содружество Горького и Ленина, дополняют наше представление об этом содружестве новым примечательным штрихом.

В начале 1921 года Л. М. Белкина — старый член партии, работник художественной студии Тульского Пролеткульта — послала на заключение Владимиру Ильичу свою пьесу из жизни шахтеров — «Черный Прометей». Она считала, что ее работа является творческим откликом на лозунг партии о производственной пропаганде.

До последнего времени были известны лишь два случая непосредственного обращения драматургов по поводу своих произведений к В. И. Ленину. Это были просьбы начинающих драматургов о содействии. В апреле 1919 года В. И. Ленину присылал рукопись своей пьесы «Красная правда» А. А. Вермишев. В марте 1922 года П. И. Воеводин просил Председателя Совнаркома дать заключение на историко-революционный сценарий «Владимир Ильич Ленин».

Владимир Ильич с большим вниманием отнесся к просьбам своих корреспондентов и, не имея возможности прочитать рукописи, поручал дать заключения на присланные работы квалифицированным и авторитетным деятелям культуры. Так, отзыв на сценарий П. И. Воеводина был дан Н. К. Крупской. По поручению В. И. Ленина основной вывод Надежды Константиновны был сообщен автору секретарем Совнаркома.

Владимир Ильич высказывал желание привлечь к просмотру рукописи пьесы «Красная правда» В. Воровского и Д. Бедного. В. Воровский по занятости не смог принять участия в рецензировании пьесы А. А. Вермишева. Д. Бедный прочитал пьесу, и его оценка совпала с мнением других рецензентов. По поручению В. И. Ленина отзыв трех литераторов-редакторов был сообщен автору.

Публикуемые документы говорят еще об одном факте обращения начинающего драматурга к главе Советского правительства<sup>1</sup>. Хронологически это был второй случай непосредственной присылки драматургического произведения лично В. И. Ленину.

<sup>1</sup> Этот факт не учтен еще горьковедцами и биографами А. М. Горького и не зарегистрирован в важнейших научных изданиях («В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы», «Летопись жизни и творчества А. М. Горького»).

Л. М. Белкина писала В. И. Ленину, что, находясь под впечатлением решений VIII съезда Советов о задачах хозяйственного строительства, электрификации страны, она считает необходимым воплотить лозунг партии о развертывании производственной пропаганды в художественном произведении. По мнению Л. М. Белкиной, важность темы «позволяет посвятить ее пьесу В. И. Ленину. К рукописи прилагались изготовленные самим автором эскизы оформления спектакля. Для более подробного ознакомления с опытом своего художественного творчества автор прилагал брошюру революционных стихов, написанных и изданных до революции.

В чрезвычайно многословных и местами весьма сбивчивых письмах к Владимиру Ильичу, присланных вместе с пьесой и немного позже, Л. М. Белкина затрагивала общие вопросы положения дел на фронте культурного строительства в Советской России и критиковала Наркомпрос по существу с пролеткультовских позиций.

Как и в случае с А. А. Вермишевым, Владимир Ильич проявил большое внимание к просьбе Л. М. Белкиной. В напряженнейшее время подготовки к X съезду партии В. И. Ленин заслушал сообщение управляющего делами Н. П. Горбунова о письме начинающего драматурга, просмотрел все присланные материалы и поручил обратиться от его имени к А. М. Горькому с просьбой ознакомиться с творчеством Л. М. Белкиной. Первого марта 1921 года Н. П. Горбунов от имени В. И. Ленина направил в Петроград А. М. Горькому «две папки трудов» Л. М. Белкиной (документ № 1) и поставил об этом в известность автора (документ № 2).

Алексей Максимович живо откликнулся на просьбу Владимира Ильича и внимательно прочитал все присланные материалы. Письма Л. М. Белкиной, не менее чем сама пьеса, позволили А. М. Горькому составить суждение о замыслах автора, его творческих заботах, занимавших его идеях. Он усмотрел в просьбах начинающего драматурга стремление гарантировать успех своего произведения посвящением вождю революции. Горького заделли ноты грубой лести, оставляющие неприятное впечатление от писем Л. М. Белкиной. Алексей Максимович заметил также глубоко ошибочные пролеткультовские тенденции автора пьесы во взглядах на положение дел в области культурного строительства. Художественные качества пьесы Л. М. Белкиной были расценены А. М. Горьким весьма невысоко. Обо всем этом с присущей ему ясностью и определенностью А. М. Горький написал через две недели Н. П. Горбунову (документ № 3).

Основное заключение А. М. Горького на письма и пьесу Л. М. Белкиной управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов сообщил автору (документ № 4).

## 1

Максиму Горькому

По просьбе тов. Ленина посылаю Вам при этом две папки трудов и писем Любови Михайловны Белкиной для отзыва.

1/III Управдел Совнаркома

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, ед. хр. 1024.

## 2

Тула, Пушкинская 10

Любови Михайловне Белкиной

Владимир Ильич просмотрел Ваши работы и послал их для отзыва Максиму Горькому.

Управдел Совнаркома

Секретарь

Там же, л. 27.

## 3

тов. Горбунову

Уважаемый товарищ!

Я прочитал присланные Вами письма Белкиной и ее пьесу «Черный Прометей».

В письме к Вл. И. Белкина предлагает «вырвать просвещение и — прежде всего — искусство из когтей эпигонов капитализма».

Для этого необходимо:

«Дать организационный план культфронту.

Дать ему план работы

» » тактическую программу

» » главнокомандующего».

Все это должен устроить Ленин.

Письма — восторженные, местами — до истерики, а порой производят впечатление прубой лести. Может быть, это от неумения писать. В общем — все рассуждения, изложенные в письмах, кажутся мне порядочной чепухой, сочиненной хотя и правоверной, но не очень умной коммунисткой, видимо весьма честолюбивой, чем-то раздраженной, а может быть, просто измученной усталостью до некоторого озлобления.

Пьеса ее принадлежит к числу тех пьес, которые ныне пишутся десятками людей и в которых очень много добрых намерений, но — мало таланта и знания жизни. Литературно — вещь слабая, но агитационное значение имеет, и немалое. Такие пьесы пишут, ставят и разыгрывают провинциальные «рабочие студии».

Я думаю, что Вл. Ил—ч не получит особенного удовольствия, если пьеса будет посвящена ему, о чем усиленно хлопочет автор. Главная суть писания Белкиной — «разрешение посвятить Вам пьесу мою, что талантливая вещь и написана на тему — «электрификация».

Вот и все.

В общем же — пустяки.

Будьте здоровы

А. Пешков.

17. III. 21.

Там же, л. 236, 236 об.

#### 4

#### г. Белкиной

Сообщаю Вам отзыв Максима Горького о Ваших письмах г. Ленину и пьесе «Черный Прометей».

«Автор этих писем, видимо, весьма честолюбивый, чем-то раздраженный, а может быть, просто измученный усталостью до некоторого озлобления товарищ.

Пьеса Белкиной принадлежит к числу тех пьес, которые ныне пишутся десятками людей и в которых много добрых намерений, но — мало таланта и знания жизни. Литературно — вещь слабая, но агитационное значение имеет, и немалое. Такие пьесы пишут, ставят и разыгрывают провинциальные «рабочие студии».

Я думаю, что Вл. Ил—ч не получит особенного удовольствия, если пьеса будет посвящена ему, о чем усиленно хлопочет автор».

г. Дымдина

Напечатать и дать мне на подпись. Н. Г[орбунов].  
23/III—21 г.

Там же, л. 24, 24 об.

*Публикация и предисловие*  
**И. Смирнова.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ИЗМЕНЕНИЯ В ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ СОВЕТСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА.** Сборник статей. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 372 стр. Цена 1 р. 36 к.

Этот сборник показывает, как за годы советской власти численно рос рабочий класс — основная производительная сила страны, как менялся его облик.

Вслед за обстоятельной статьей А. Рашина о динамике промышленных кадров СССР за сорок лет следуют статьи А. Матюгина, М. Гольцмана и других авторов, анализирующие перемены в составе рабочего класса в отдельные периоды социалистического строительства. Статья А. Смирнова характеризует состав рабочих заводов тяжелого машиностроения в послевоенные годы. Предисловие академика С. Струмилина — зачинателя советской статистики труда — помогает читателю ощутить за колонками цифр дыхание жизни, увидеть бурный рост экономического потенциала страны.

В книге много интересных сопоставлений.

В 1949 году в советской промышленности было занято 12,9 миллиона человек, а в американской — 15,1 миллиона. В 1959 году картина резко изменилась. Численность рабочих и служащих в СССР составила 20,2 миллиона человек, а в индустрии США — 16,8 миллиона. Важно, что в нашей стране наибольший рост рабочего класса приходится на долю наиболее «квалифицированных» отраслей производства — металлообработки и машиностроения. Производительность труда за 1949—1959 годы в СССР росла вдвое быстрее, чем в США.

Сборник о рабочем классе СССР создан совместным трудом историков и статистиков. Удачное содружество! Надо полагать, что коллективное творчество работников исторической и статистической наук обогащает литературу новыми исследованиями, отражающими достижения миллионов строителей коммунизма.

М. Цуц.

★

**ГОРОДА-СПУТНИКИ.** Сборник статей. Географгиз. М. 1961. 196 стр. Цена 84 к.

Ученым и градостроителям приходится решать сложную задачу — ограничить рост

крупных городов, так как чрезмерно большие их размеры ухудшают условия жизни людей. Практика показала, что решение задачи заключается в строительстве новых городов-спутников.

Слово «спутник» в сочетании со словом «город» точно характеризует особенности таких поселений. Уже сейчас в живописных местах вокруг Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других промышленных центров быстро растут благоустроенные города-спутники. С перспективами их развития читателя знакомят статьи: Г. Мищенко «Города и поселки-спутники Москвы», Е. Лопатиной «Формирование поселений-спутников Ленинграда», Б. Хорева «Города и поселки-спутники Горького» и другие.

В сборнике помещены также статьи о строительстве городов-спутников в зарубежных странах. Убедительные факты и цифры показывают основное неодолимое противоречие, на которое наталкивается в капиталистических странах научное решение проблемы, — отсутствие планового хозяйства.

В книге много интересных карт, схем и таблиц. Жаль только, что некоторые статьи написаны сухо, избытуют специальной терминологией. Книга на столь актуальную тему нужна и представляет немалый интерес для массового читателя.

Е. Р.

★

**М. РАХМАТОВ.** Африка идет к свободе. Госполитиздат. М. 1961. 87 стр. Цена 10 к.

В 1960 году, который вошел в историю как «год Африки», заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Мирзо Рахматов побывал в пяти странах: Гане, Гвинее, Марокко, Конго и Того. Своими путевыми впечатлениями М. Рахматов делится на страницах книжки «Африка идет к свободе».

Вспоминая историю колонизации Конго бельгийцами, автор очень кстати приводит выдержки из памфлета Марка Твена «Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в Конго»: «Если бы кровью невинных жертв, пролитой королем Леопольдом в государстве Конго, наполнить ведра и эти ведра поставить в ряд, то они протянулись бы на две тысячи миль; если бы

скелеты десяти миллионов убитых и умерших от голода туземцев могли встать и двинуться гуськом, то для того, чтобы всем им пройти одну определенную точку, понадобилось бы семь месяцев и четыре дня; если бы все эти скелеты сложить вместе, они заняли бы большую площадь, чем занимает город Сант-Луис вместе с территорией Всемирной выставки, и если бы эти скелеты разом хлопнули в ладоши, то ледяной душу треск был бы услышан на расстоянии в...»

Ряд ярких примеров, приведенных в брошюре, показывает, как колониальные державы стремятся по-прежнему распоряжаться в бывших колониях, как в своих вотчинах. Характерно высказывание западно-германской газеты «Дер таг», приведенное в брошюре: «Руководители вновь родившихся свободных государств Африки, не умеющие ходить по паркету дипломатических салонов, не доросли до того, чтобы делать собственную политику...»

Как говорится, комментарии излишни...

В. Молчанов.

★

**В. МУХИНА-ПЕТРИНСКАЯ.** Смотриаше вперед. Повесть. Книга I. Саратовское книжное издательство. 1961. 199 стр. Цена 55 к.

«Жизнь есть борьба. Выбирай против чего будешь бороться — с природой, стихиями или против вот таких людей, которые тоже вроде злой стихии», — говорит юный герой этой приключенческой повести Янька Ефремов. И на собственном опыте он познает, насколько искусственно такое разделение. Яньке, избравшему «романтику знаменем своей жизни», пришлось сразиться — в меру мальчишеских сил — с изменчивым суровым Каспийским морем и с людьми фальшивыми и эгонистичными.

Как и в предыдущих своих книгах «Если есть верный друг», «Гавриш из Катарей», автор показывает героев в острых ситуациях, в преодолении трудностей. Юного читателя, к которому прежде всего обращается В. Мухина-Петринская, книга заставит задуматься о призвании, о позиции в жизни. В его сердце, быть может, заронится мечта стать одним из «смотрящих вперед», одним из тех мужественных людей, которые всегда на линии огня, всегда в борьбе за народное счастье.

Кое-где в книге чувствуются просчеты и недоработки, порой нарушается логика характеров, появляются скучные, назидательные нотки.

Это тем более досадно, что книга в целом, как уже говорилось, написана интересно и воспитывает добрые чувства.

М. Хейфец.

★

**ЛЕВ ОЗЕРОВ.** Светотень. Книга стихов. «Советский писатель». 1961. 188 стр. Цена 15 к.

«Светотень» — четвертая по счету книга стихов Л. Озерова.

У автора этой книги не очень громкий голос, но это — его голос, и он не пытается усилить его ни криком, ни с помощью микрофона. Поэт естествен и везде остается самим собой. Он делится тем, что его занимает, откровенно, искренне, просто. У него внимательный и сосредоточенный взгляд, и его останавливает то, мимо чего равнодушно пройдет человек ленивый и любопытный. И поэтому он видит не только контуры картин природы, но и едва уловимые детали, из которых эти картины складываются. И чувствует он природу всем существом своим, и каждая подробность ее ему по-настоящему дорога.

В одном из стихотворений поэт говорит о том, что он не хотел бы умереть во время весеннего пробуждения природы, что ему не по душе умирать в разгар лета, что ему было бы жаль покидать мир осенью, во время собирания плодов.

Уйти зимой? Что может быть грустней!  
Да это было бы и впрямь жестоко:  
Родных заставить мерзнуть и друзей,  
К тому же до весны так недалеко...

В каждой строке этого стихотворения — страстная привязанность к жизни. И оттого, что поэту дорога жизнь, оттого, что из памяти его не изгладилась минувшая война, он беспокоится думает о судьбе человечества, над которым нависла угроза ядерного уничтожения. В этом сборнике почти нет непосредственных откликов на события дня, но строй мыслей и чувств поэта рожден тревогами и надеждами нашего времени.

Не все в книге Л. Озерова равноценно. Есть в ней стихи сильные и слабые, удачные находки соседствуют порой с приблизительными строками, но нет стихов пустых.

Л. Левицкий.

★

**В. ТЕЛЬПУГОВ.** Николай Ушаков. Критико-биографический очерк. «Советский писатель». М. 1961. 132 стр. Цена 17 к.

Эпиграфом к этому очерку служат строки из стихотворения Николая Ушакова:

Слишком часто мы не знаем сами,  
Как прекрасны наши голоса...

Поэт написал эти строки, несколько не думая о себе. Автор очерка намекает, что эти строчки могут быть отнесены и к самому поэту. Но, право, и без намека мы знаем Николая Ушакова как поэта отличного, со своим «прекрасным голосом». Он иногда может показаться рассудочным, прямолинейным, даже строфика его стихов выйдут порой как четкий чертеж, но за этой сдержанностью скорее видна благородная дисциплина стиха, которая совсем не спорит с силой чувства.

А иногда это чувство выливается так просто и непосредственно, что стихи могут представлять почти юношескими.

В синеве каштаны,  
липы, клены.  
Лист каймой

очерчен золотой.  
Киев, Киев,  
город наш зеленый,  
тронутый  
осенней краснотой.  
Осень в Киеве  
у нас такая,  
что ее не описать пером.  
Тридцать лет  
я эту осень знаю,  
с нею я знаком,  
и как знаком!..

Этот нечастый сплав ума и чувства сообщает стихам Николая Ушакова особое обаяние. Автор критического очерка стремится передать это ощущение от поэзии Н. Ушакова. И, разумеется, впечатлением от этой поэзии продиктованы заключительные строки книги: «...мы мечтаем, чтоб побольше было у нас поэтов, которые с годами не утрачивают молодости голоса, чтобы они завтра пели еще удивительнее, чем сегодня!»

В. С.

★

**С. В. ШЕРВИНСКИЙ.** Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 272 стр. Цена 79 к.

Специфика этого примечательного исследования четко сформулирована в его главнии. Автор подошел к богатейшему ритмическому разнообразию пушкинской поэзии с точки зрения художественного, смыслового оправдания любых явлений ритма. Уверенность исследователя в том, что в истинной поэзии никакие формальные явления не могут возникать «без внутренних, смысловых оснований», блестяще подтверждается его тонким, осторожным и убедительным анализом пушкинских стихотворений «Анчар», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Заклинание», «Арион», отрывков из поэмы «Цыганы», из драмы «Борис Годунов» и других.

С. Шервинский показывает на многих примерах, как пропуски метрического ударения влекут за собой замедление темпа данного стиха, всякий раз находящее себе художественное оправдание в образе, мысли, эмоции, заключенных в этом стихе.

Особенно интересен обстоятельный разбор драмы «Скупой рыцарь», где тонкость частных наблюдений над стихом сочетается с глубиной общих выводов о своеобразии драм Пушкина.

Говоря словами автора, «метод, примененный в данной работе, не совсем обычен: он основан на изучении произнесенного стиха». Эти наблюдения над живым звучанием стиха и вдумчивые авторские рекомендации к исполнению пушкинских произведений выделяют исследование С. Шервинского в ряде многих стиховедческих работ.

Так как автор основывался только на «самослушании, самонаблюдении», он не раз оговаривает, что здесь возможны элементы субъективности, невольной предвзя-

тости. Отраднo видеть, что этого не происходит. Исследователь устанавливает, на наш взгляд, многие вполне объективные закономерности читательского восприятия пушкинского стиха: речь идет, конечно, о чтении осмысленном, столь же добросовестном и внимательном, как чтение самого автора работы.

Книга адресована обширному кругу читателей. Она заинтересует не только стиховедов, но исследователей драматургии, режиссеров, мастеров художественного слова.

А кроме того, она, конечно, заинтересует всех, кто любит поэзию, для кого живо бессмертное имя Пушкина.

М. Чудакова.

★

**Н. САЦ.** Дети приходят в театр. «Искусство». М. 1961. 318 стр. Цена 1 р. 02 к.

Наталии Сац было шестнадцать лет, когда она впервые пришла в детский театр. Он только что открылся. Н. И. Сац стала его директором.

До революции детских театров не было. Так же как в тридцатые годы строили на Дальнем Востоке города, начинать надо было на пустом месте. В бывшем Театре миниатюр (потом помещение ТЮЗа), где первое время работала «тетя Наташа», в одном помещении находилось четыре театра: театр теней, театр марионеток, театр кукол и театр живых актеров. Какое из направлений окажется больше по вкусу детям?

Книга Наталии Сац — это книга о поисках, книга о проблемах, в чем-то решенных, в чем-то решаемых.

С Московским театром для детей связаны первые шаги в искусстве многих больших мастеров. На страницах книги читатель встретит увлекающегося и увлекающего других обаятельного юношу — Алексея Денисовича Динко, впоследствии Народного артиста СССР, вдумчивого и тонкого художника Веснина (здания, построенные впоследствии по его проектам, хорошо знают москвичи) и многих, многих других. И конечно, читатели снова увидятся с «тетей Наташей»: ведь книга Наталии Сац — это не только книга о борьбе за театр, о поисках, о людях, это книга воспоминаний, книга о себе.

Жаль, пожалуй, что из воспоминаний Наталии Сац выпала работа второго Московского театра для детей — ТЮЗа. Ведь достижения и ошибки этого театра, вероятно, давали в свое время автору материал для размышлений.

Но, независимо от этого, «Дети приходят в театр» — это живые страницы истории истории, интересной не только театроведам. Как и всякая хорошая книга об искусстве, это книга «о времени и о себе».

Ю. Айхенвальд.

**Б. Д. ЛЕТОВ. В. Г. Короленко-редактор.** Издательство Ленинградского университета. 1961. 218 стр. Цена 70 к.

Эта книга — результат большого и любовного труда. Автор тщательно изучил материалы редакторской деятельности Короленко — тетради, в которых писатель отмечал содержание прочитанных рукописей и давал им оценку (таких записей около пяти тысяч!), рукописи с правкой Короленко, его переписку с авторами. Этот обширный материал, преимущественно неопубликованный, Б. Летов систематизировал и подверг анализу.

В книге изложен «редакторский кодекс» Короленко по разделам: вопросы разработки темы, трактовка образов героев, сюжет и композиция, изложение и стиль. Этим конкретным вопросам литературной техники предшествует очерк общественной и редакторской деятельности Короленко, его эстетических взглядов, принципов воспитательной работы с авторами.

По словам Горького, Короленко-редактор «отлично воспитывал молодежь». Школу Короленко прошли Горький, Подъячев, Серафимович, Чапыгин, Неверов и многие другие литераторы. Редакторский опыт Короленко интересен и поучителен для современных литераторов и редакторов.

Б. Летов написал добротную, полезную книгу. К сожалению, она имеет существенный недостаток — сухость изложения; к ней применимы слова Короленко, сказанные одному автору: «...Слог Ваш несколько вял, добросовестно обстоятелен и холодноват. В нем нет энергии, сжатости, нервности в соответствующих местах и силы».

★ **А. Храбровицкий.**

**АЛЕКСАНДР РАСКИН.** Как папа был маленьким. Издательство «Советская Россия». 1961. 56 стр. Цена 19 к.

Замечательный писатель Борис Житков издевался над теми литераторами, которые прикрывают свою маломощность званием «детский»:

«— У вас есть пистолет?» — «Да, только детский». — «Вы писатель?» — «Да, только...»

Эти слова живы, потому что жив тот тип литератора, о котором они сказаны.

Но вот первую свою книжку для детей выпустил вполне «взрослый» писатель, известный сатирик Александр Раскин. Называется она «Как папа был маленьким». И придумана она была сначала только для дочки Саши.

Это четырнадцать маленьких историй, неизменно начинающихся одними и теми же словами: «Когда папа был маленьким...» Они рассказывают о незамысловатых событиях в жизни маленького мальчика: о том, как он учился писать, как учился музыке, как выбирал себе профессию, и т. д. и т. п. А впрочем, верно ли это: «незамысловатые»? Вот одна из историй — «Как папа бросил хлеб».

«Когда папа был маленьким, он очень любил все вкусное. Он любил колбасу. Он

любил сыр. Он любил котлеты. А хлеб он не любил, потому что ему все время говорили: «Ешь с хлебом!»

И дальше рассказывается о том, как маленький папа однажды закапризничал и бросил хлеб на пол. И как няня, крестьянская женщина, придумала ему наказание. И о том, как папе было стыдно.

Для нас, взрослых, это просто забавная, хорошо рассказанная история. Мы посмеемся над ней или улыбнемся (в зависимости от темперамента). Но ребенок воспримет эту историю с несравненно большей остротой и серьезностью. Он будет горячо «сопереживать» маленькому герою рассказа, будет волноваться и радоваться. И вынесет из урока совершенно определенную пользу, потому что урок преподан ему в художественной форме.

Это неперенное качество всякой хорошей детской книжки — она должна быть «двух-адресной». А точнее — должна быть просто настоящей. Недаром говорят: хороша только та детская книжка, которую интересно читать и взрослому.

Книжка Раскина (кстати, она очень хорошо оформлена художником Л. Токмаковым) интересна всем возрастам.

Впрочем, может быть, кто-то из суровых педагогов скажет: «Позвольте, а правильно ли это изображать в смешном положении отца — непрекаемый педагогический авторитет?» И на это отвечает сам автор. Оказывается, его дочка «понравилось, что папа тоже был маленьким, тоже шалил и не слушался и его тоже наказывали». И отчасти поэтому многие маленькие читатели — как и дочка автора — отлично поймут, «что такое хорошо и что такое плохо».

★ **Ст. Рассадин.**

**ПОЛА ГОЯВИЧИНСКАЯ.** Девочки с Новолипок. Райская яблоня. Перевод с польского. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 663 стр. Цена 1 р. 96 к.

Когда три года назад в Польше начали выпускать «Всеобщую библиотеку», то в числе первых книг этой серии, рассчитанной на самого широкого читателя, оказался роман-диалогия Поля Гоявичинской «Девочки с Новолипок», «Райская яблоня». Обе книги, вышедшие впервые еще в середине тридцатых годов, до сих пор очень популярны в Польше. Вполне закономерно появление в русском переводе (перевод этот очень хорош) романов Гоявичинской, знакомящих советского читателя с мало известной ему жизнью и бытом обитателей предместий старой Варшавы первой четверти нашего века — с миром мелких служащих, торговцев, ремесленников, городской бедноты.

Точно, выразительно, с мельчайшими подробностями и деталями воспроизводит писательница саму атмосферу этих улиц — Новолипок, Повонзок, Налевок — с их характерным неистребимым запахом «гниющих овощей, жареного лука, гошнотвор-

ного, осклизлого мяса», улиц, где прочно поселились нищета, бедность.

П. Гоявичинская не дает в своей диалогичности широкого социального полотна. Гул больших революционных событий, связанных с забастовками варшавского пролетариата, лишь изредка врывается на страницы ее книг. Писательница, однако, правдиво воспроизводит всю удручающую обстановку, которая окружает и подавляет человека в мире социального неравенства, не позволяет развернуться и расцвести его природным талантам.

Вот почему сегодня, «когда уже совсем по-иному выглядит действительность Польши, строящей социализм,— отмечает в послесловии к советскому изданию романов Гоявичинской Б. Стахеев,— они сохранили познавательное и художественное значение, как правдивая картина недавнего прошлого, в сравнении с которой мы глубже и полнее понимаем сегодняшшний день».

С. Ларин.

★

**Ф. ФАБИАН. В стране марабу. Сокращенный перевод с немецкого. Детгиз. Л. 1961. 102 стр. Цена 26 к.**

Все мы читали или хотя бы перелистывали «Жизнь животных» Брема, но мало кто знаком с жизнью этого ученого, автора всемирно прославленного труда. И вот теперь в русском переводе появилась книга Ф. Фабиана «В стране марабу» — документальная повесть об Альфреде Бреме, вернее, о пяти годах его жизни, которые стали для Брема решающими и определили всю его дальнейшую судьбу.

Замысел замечательной энциклопедии животного мира, принесшей впоследствии Брему всемирную известность, родился не в кабинетной тиши, а в девственных лесах Африки. На маленькой барке, плывущей по

Голубому Нилу, лежит измученный лихорадкой Брем и говорит своему спутнику: «Знаете, доктор, какие мысли не дают мне покоя? Я часто думаю над тем, что хорошо было бы написать книгу о жизни животных. Это должна быть необычная книга... популярный труд, доступный всем и в то же время, отвечающий требованиям науки».

Брему было в то время всего двадцать лет и он возглавлял экспедицию, направлявшуюся в самое сердце Африки, где, помимо охотников за рабами, еще не ступала нога белого человека. День за днем прослеживает Ф. Фабиан путь Брема. Опасности, лишения, голод, жажда подстерегали путешественников на каждом шагу.

Легко и приятно изучать жизнь животных по Брему, но сам Брем добывал свои знания на чужой и опасной территории джунглей. Впрочем, он не видел врагов в животном мире африканского леса; он даже, если можно так сказать, умел находить с новыми знакомыми общий язык. Чтобы сохранить собранные коллекции и вывезти из Африки своих животных, Брем вынужден был влезть в долги, продать всю свою одежду, белье, книги и даже часы...

Путешествуя по Африке, Брем наблюдал не только жизнь животных. На его пути не раз встречались работорговцы и охотники за неграми. В этой среде царили нравы куда более жестокие и хищнические, чем в мире зверей. Брем искренне сочувствовал бесправным неграм и мечтал о том времени, когда они обретут свободу. Как всякий истинный ученый, он был гуманистом.

Книга Ф. Фабиана написана легко и живо. Быть может, в ней нет строго научного подхода к материалу и особой глубины, но она и не претендует на это: Она просто знакомит нас с Бремом, и мы рады тому, что такое знакомство у нас состоялось.

А. Злобин.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Ленин — товарищ, человек. Сборник документов и воспоминаний. 192 стр. Цена 21 к.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. Устав Коммунистической партии Советского Союза. 288 стр. Цена 34 к.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17—31 октября 1961 года. Стенографический отчет. Том III. 592 стр. Цена 1 р. 15 к.

XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Материалы Всесоюзного совещания по вопросам идеологической работы. 25—28 декабря 1961 года. 464 стр. Цена 80 к.

Н. С. Хрущев. Современный этап коммунистического строительства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством. Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК КПСС 5—9 марта 1962 года. 152 стр. Цена 18 к.

Современный этап коммунистического строительства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством. Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 9 марта 1962 года. 20 стр. Цена 2 к.

Дело всей партии, всего народа — добиться мощного подъема сельского хозяйства! Обращение Центрального Комитета КПСС к колхозникам и колхозницам, рабочим и работникам совхозов, специалистам сельского хозяйства, ученым, работникам промышленности, к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся Советского Союза. 16 стр. Цена 1 к.

Африка сегодня. Краткий политико-экономический справочник. 328 стр. Цена 61 к.

VIII Национальный съезд Народно-социалистической партии Кубы (Гавана, 16—21 августа 1960 года). 292 стр. Цена 55 к.

XVIII съезд Коммунистической партии Австрии (Вена, 1—3 апреля 1961 года). 108 стр. Цена 12 к.

XXVII Национальный съезд Коммунистической партии Великобритании (Лондон, 30 марта—3 апреля 1961 года). 124 стр. Цена 14 к.

Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 годы). Документы и материалы. 680 стр. Цена 1 р. 20 к.

### СОЦЭКГИЗ

Л. Ватолина. Экономика Объединенной Арабской Республики. 78 стр. Цена 12 к.

Г. Жуikov. Группа «Освобождение труда». 166 стр. Цена 21 к.

А. Г. Ивaньюв. Ленин в сибирской ссылке. 1897—1900. 399 стр. Цена 40 к.

Ю. И. Ивaньюв. Радиоэлектроника на службе военных монополий США. 126 стр. Цена 20 к.

В. М. Косачев. Социалистическое соревнование и производительность труда. 155 стр. Цена 20 к.

Объединение Италии в оценке русских современников. К столетию объединения Италии. Сборник документов и материалов. 326 стр. Цена 60 к.

Хрестоматия по новейшей истории. Том III. 1945—1961. Часть 1. Документы и материалы. 799 стр. Цена 1 р. 15 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Алигер. Несколько шагов. Новые стихи. 1956—1960. 140 стр. Цена 28 к.

В. Бжезовский. Повесть о первых звездах. 280 стр. Цена 50 к.

А. Головки. Артем Гармаш. Роман. В двух книгах. Перевод с украинского. 520 стр. Цена 86 к.

Б. Дайреджиев. О «Тихом Доне». 292 стр. Цена 52 к.

Т. Джатиев. Горная звезда. Роман. Перевод с осетинского. 304 стр. Цена 53 к.

М. Дудин. Останется любовь. Лирика. 84 стр. Цена 10 к.

А. Кафанов. Ранний час. Стихи. 84 стр. Цена 10 к.

Ф. Колунцев. У Никитских ворот. Роман. 388 стр. Цена 66 к.

М. Львов. Капля океана. Стихи. 112 стр. Цена 12 к.

С. Марвич. Завтра стоит у порога. Роман. 548 стр. Цена 87 к.

П. Ойфа. Время любви. Лирика. 76 стр. Цена 8 к.

Н. Полякова. Июль. Стихи. 116 стр. Цена 13 к.

А. Розен. Времена и люди. Роман. 388 стр. Цена 78 к.

Север поет. Сборник. Стихи поэтов Крайнего Севера. 340 стр. Цена 55 к.

Э. Шим. Мартовский снег. Рассказы. 184 стр. Цена 40 к.

И. Шрайбман. Рассказы. Переводы с еврейского. 272 стр. Цена 30 к.

М. Эдель. Срочная телеграмма. Роман-фельетон. 252 стр. Цена 45 к.

Н. Яворская. Здесь мое счастье. Стихи. 108 стр. Цена 11 к.

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

Венесуэльские рассказы. Перевод с испанского. 199 стр. Цена 30 к.

Альберт Мальц. Человек на дороге. Рассказы. Перевод с английского. 184 стр. Цена 29 к.

Натарина Сусанна Причард. Измена. Рассказы. Переводы с английского. 175 стр. Цена 26 к.

Проделки дядюшки Дэнба. Тибетское народное творчество. Перевод с китайского. 108 стр. Цена 12 к.

Андрей Улит. Причины и следствия. Веселые и невеселые рассказы. Перевод с латышского. 183 стр. Цена 27 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Адабашев. Разум против стихии. 272 стр. Цена 55 к.

Кубаныч Акаев. Разговор о жизни. Стихи. Перевод с киргизского. 143 стр. Цена 33 к.

В. Ампилов, В. Смирнов. В маленьком городе Лиде... 104 стр. Цена 14 к.

**Влад. Владимиров.** Преступление не должно совершиться. 152 стр. Цена 17 к.  
**Илья Зверев.** Жизнь молодая. Рассказы о настоящих людях. 160 стр. Цена 23 к.  
**Мих. Златогоров.** Кто стоит рядом. Повесть. 128 стр. Цена 19 к.  
**Н. Колесникова, А. Кривопапов, П. Михалев.** Юность обдумывает жизнь. Очерки. 143 стр. Цена 17 к.  
**Федор Макивчук.** Репортаж с того света. 160 стр. Цена 24 к.  
**В. Малюгин.** Жизнь такая, как надо. Повесть об Аркадии Гайдаре. 191 стр. Цена 46 к.  
**Семь цветов радуги.** Сборник стихов. 112 стр. Цена 40 к.  
**Карл Сэндберг.** Линкольн. Перевод с английского. 704 стр. Цена 1 р. 22 к.  
**Альберт Усольцев.** Вкус хлеба. Повесть. 127 стр. Цена 18 к.  
**А. Хазанов.** Это случилось в Аянже. 120 стр. Цена 10 к.

## ДЕТГИЗ

**Ал. Алтаев.** Пасынки академии. Исторический роман. 184 стр. Цена 49 к.  
**Г. Альтов.** Легенды о звездных капитанах. Рассказы. 120 стр. Цена 27 к.  
**Ю. Давыдов.** Новое небо. Повесть. 192 стр. Цена 39 к.  
**М. Дель Кастильо.** Танги. Роман. Перевод с французского. 190 стр. Цена 41 к.  
**М. Лященко.** Человек-луч. Фантастический роман. 288 стр. Цена 70 к.  
**С. Мединский.** Самая восточная... Рассказы. 128 стр. Цена 37 к.  
**Ж. Монтейру Лобату.** Орден Желтого Дятла. В пересказе с португальского И. Тын्यानовой. 288 стр. Цена 69 к.  
**Б. Прилежаева-Барская.** Ушкуйники. Историческая повесть. 96 стр. Цена 25 к.  
**К. Рождественская.** Семья Жигулевых. Повесть. 192 стр. Цена 42 к.  
**Б. Степанов.** Рассказы о больших молекулах. 104 стр. Цена 25 к.  
**В. Ширяев.** В новом поселке. Повесть. Перевод с коми. 176 стр. Цена 33 к.  
**К. Черный.** Молодчина Гонда. Повесть. Перевод с чешского. 144 стр. Цена 32 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Ш. Б. Батыров.** Формирование и развитие социалистических наций в СССР. 368 стр. Цена 1 р. 33 к.

**Ежегодник Института истории искусств.** 1960 г. Архитектура и живопись. 388 стр. Цена 3 р. 10 к.  
**История римской литературы.** Том II. 484 стр. Цена 1 р. 83 к.  
**Материалы и исследования по истории русского литературного языка.** Том V. 224 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**И. Н. Мельников.** Классовая борьба в Чехословакии в 1924—1929 гг. 442 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**Теоретические вопросы экономического районирования.** 160 стр. Цена 58 к.  
**М. Г. Файерштейн.** История учения о молекуле в химии (до 1860 г.). 368 стр. Цена 1 р. 80 к.  
**Философские вопросы современной формальной логики.** 364 стр. Цена 1 р. 63 к.  
**Е. Б. Черняк.** Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII—начале XIX в. 720 стр. Цена 2 р. 55 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Абул Калам Азад.** Индия добывается свободы. Автобиографический очерк. Перевод с английского. 346 стр. Цена 1 р. 25 к.  
**Иоганнес Р. Бехер.** Избранные сочинения. Перевод с немецкого. 806 стр. Цена 2 р. 40 к.  
**Вольфганг Борхерт.** Рассказы. Перевод с немецкого. 134 стр. Цена 34 к.  
**Никифорос Вреттанос.** Лирика. Перевод с новогреческого. 95 стр. Цена 14 к.  
**Ламар.** Стихи. Перевод с болгарского. 112 стр. Цена 19 к.  
**Д. Латифи.** Индия и помощь США. Перевод с английского. 157 стр. Цена 29 к.  
**Ли Ин-жу.** Весенний ветер над древним городом. Роман. Перевод с китайского. 503 стр. Цена 1 р. 49 к.  
**Амритлал Нагар.** Капля и океан. Роман. Перевод с хинди. 653 стр. Цена 1 р. 96 к.  
**Александр Парадисис.** Жизнь и деятельность Балтазара Коссы. Папа Иоанн XXIII. Исторический роман. Перевод с новогреческого. 280 стр. Цена 81 к.  
**Иржи Тауфер.** Летопись. Стихи. Перевод с чешского. 183 стр. Цена 44 к.  
**Джек Уоддис.** Африка. Причины взрыва. Перевод с английского. 349 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Марчелла и Маурицио Феррара.** Очерки итальянской политической жизни. 1943—1958. Перевод с итальянского. 512 стр. Цена 1 р. 24 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 26/II 1962 г.

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

А 02066

Объем 18 п. л.

Зак 412.

Подписано к печати 24/III 1962 г.

9 бум. л. — 24,66 печ. л.

Тираж 93 400.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.